

Н О В Ы Й М И Р

К Н И Г А
С Е Д Ъ М А Я

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ:

БОР. ПАСТЕРНАК
МИХ. ПРИШВИН
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ
СЕРГЕЙ МАРКОВ

СТИХИ:

НИК. АСЕЕВ
ЕВГ. ЗАБЕЛИН
ОСИП КОЛЫЧЕВ
ДМ. СЕМЕНОВСКИЙ

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

ВАСИЛИЙ РЯХОВСКИЙ
М. КАЗАС
С. ОБРУЧЕВ

ЗА РУБЕЖОМ:

ЭГОН ЭРВИН КИШ
С. ГАЛЬПЕРИН

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

А. ДЕРМАН
ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ
А. БЕК и Л. ТООМ
Д. ГОРБОВ

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

Н. ЗАМОШКИН, НИК. БОГО-
СЛОВСКИЙ, МИХ. РУДЕРМАН,
АРК. ГЛАГОЛЕВ, БОРИС
ГРОССМАН, ВИКТОР ГОЛЬ-
ЦЕВ, И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ,
Я. ФРИД, И. СЕРГИЕВСКИЙ,
М. КЛЕВЕНСКИЙ.

М О С К В А
4 . 9 . 2 . 9

5 Год
ИЗДАНИЯ

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на АВГУСТ и до конца 1929 г.
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВ. и ОБЩЕСТВ.-ПОЛИТИЧЕСК. ЖУРНАЛ

5 Год
ИЗДАНИЯ

Н О В Ы Й М И Р

под редакцией А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, А. Г. МАЛЫШКИНА,
В. П. ПОЛОНСКОГО и В. И. СОЛОВЬЕВА.

В 1929 году журнал „НОВЫЙ МИР“ выходит С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ.

В ВЫШЕДШИХ ПЯТИ КНИГАХ НАПЕЧАТАНО:

Я Н В А Р Ь

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, СТИХИ:

А. МАЛЫШКИН. — Севастополь, повесть. Л. СЕЙФУЛЛИНА. — Выхваль, рассказ. М. СВЕТЛОВ. — Три стихотворения. ВЛ. ЛИДИН. — Искатели, роман. БОР. ПАСТЕРНАК. — Два стихотворения. Б. ЛАВРЕНЕВ. — Белая гибель, повесть. ПЕТР ШИРЯЕВ. — Двое, рассказ. Г. ФИШ. — В Уфе, стихотворение. И. САДОФЬЕВ. — Встреча, стихотворение.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ:

А. ВОРОНСКИЙ. — За живой и мертвой водой (воспоминания). В. БОНЧ-БРУЕВИЧ. — Из воспоминаний о В. И. Ленине. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. — Очерки современной литературы (о творчестве Вс. Иванова). НИК. СМИРНОВ. — Александр Малышкин. Б. ПЕСИС. — Франция и Толстой. Н. ЗАМОПКИН. — О третьем альманахе «ЗИФ». Ф. РОГИНСКАЯ. — Бытовая художественная культура. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (международный обзор). В. КУШНЕР. — Южное сияние, очерк. КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

Ф Е В Р А Л Ь

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, СТИХИ:

А. МАЛЫШКИН. — Севастополь, повесть (продолжение). М. ГОЛОДНЫЙ. — Два стихотворения. В. САЯНОВ. — Полус, стихотворение. И. НИКАНДРОВ. — Лесесека, рассказ. В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ. — Карусель, стихотворение. ВЛ. ЛИДИН. — Искатели, роман (продолжение). М. ЗЕНКЕВИЧ. — Перелет Москва — Армавир, стихотворение. П. СЛЕТОВ. — Листья, рассказ. О. КОЛЫЧЕВ. — Ночь на катке, стихотворение. О. ФОРШ. — Последняя Роза, рассказ.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ:

В. МАЙЗЕЛЬ. — Средиземноморская проблема. Н. СМИРНОВ. — Неотразимый образ (Л. Рейснер). ИС. ТРОЦКИЙ. — Первый провокатор-профессионал. С. ДИНАМОВ. — Идеология научной и технической интеллигенции. ПОГРАНИЧНИК. — Горная страна Памир (с иллюстрациями). ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. — Листки из блокнота. А. ШЕСТАКОВ. — На историческом фронте. Б. СКВОРЦОВ. — Слушница Л. Толстого. Я. ФРИД. — Миссионер призывает к оружию. В. ЛЕВИН. — Деревенские очерки. Е. КОКШЕВА. — По горной Осетии, очерк. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (международный обзор). КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

М А Р Т

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, СТИХИ:

А. МАЛЫШКИН. — Севастополь, повесть (конец 1 ч.). Д. ЕРЕМИН. — Соседи, рассказ. Н. ДЕМЕНТЬЕВ. — Лирическая экскурсия, стихотворение. ВЛ. ЛИДИН. — Искатели, роман (продолжение). БОР. ПИЛЬНЯК. — Двадцать восемь тысяч печатных знаков, рассказ. АДАЛИС. — Ребят, стихотворение. В. КИРИЛЛОВ. — Критику, стихотворение. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Дни, рассказ. И. ПРИВЛУДНЫЙ. — Случай в Моисале, стихотворение.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ:

Ф. НОТОВИЧ. — Ремонтный узел. Н. ПИСАНОВ. — Грибоедов-мастер. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. — Дневник журналиста. Л. ТИМОФЕЕВ. — Современная украинская литература. АРК. ГЛАГОЛЕВ. — «Атаманщина». М.х. Алексеева. Б. ПЕСИС. — Жан Жироду. А. СТАРЧАКОВ. — Поход на Москву. И. ИЛЬИНСКИЙ. — Заметки о высшей школе. Е. ВИХРЕВ. — Цалех, очерк (с иллюстрациями). Л. НИТОВУРГ. — Новая губерния, очерк. В. КУШНЕР. — «Коммунистический Маяк», очерк. Л. ГАМИЛЬТОН. — Письмо из Японии, очерк. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (международный обзор). КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

А П Р Е Л Ь

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, СТИХИ:

М. ПРИШВИН. — Журавлиная родина, повесть. Г. НИКИФОРОВ. — О Майдаке, слобном пироге и женщине (рассказ бригадир). О. МАНДЕЛЬШТАМ. — А небо будущих беременно... стихотв. Г. ШТОРМ. — Повесть о Болотникове. Е. ЗАВЕЛИН. — В тайге, стихотв. С. МАРКОВ. — Путешествие в Пшизек, стихотв. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Дороги, рассказ. АДАЛИС. — Два стихотворения. ВЛ. ЛИДИН. — Искатели, роман (окончание). И. САДОФЬЕВ. — Песня, стихотв.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ:

М. И. КАЛИНИН. — К У С'езду Советов СССР. БЕЛА САНТО. — Из воспоминаний о советской власти в Венгрии. Э. Э. КИШ. — За кулисами статуи Свободы. Г. СЕРВБРЯКОВА. — Клара Лаконб, соавница «бешеных». А. ЛЕЖНЕВ. — Братина «кратиков». Н.к. Смирнов. — Художественное творчество рабкоров. С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — Заметки недоуменные. С. ОБУЧЕВ. — Анатолий Франс в калате и без... В. КУШНЕР. — Араги, очерк. АДАЛИС. — По Туркмени, очерк. С. ГАЛЬПЕРИН. — По всему свету (очерки международной политики). КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

(Продолжение см. на 3-й стр. обложки).

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

С Е Д Ь М А Я

И Ю Л Ь

М О С К В А
4 . 9 . 2 . 9

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Бор. ПАСТЕРНАК.— Повесть	5
2. Ник. АСЕЕВ.— Мальчик большоголовый, <i>стихотворение</i>	44
3. Мих. ПРИШВИН.—Журавлиная родина, <i>повесть</i> , продолжение	45
4. Евг. ЗАБЕЛИН.—Казакстан, <i>стихотворение</i>	55
5. Алексей ТОЛСТОЙ.—Петр Первый, <i>повесть</i>	67
6. Сергей МАРКОВ.—Встреча, <i>рассказ</i>	104
7. Осип КОЛЫЧЕВ.—Лето, <i>стихотворение</i>	121
8. Дм. СЕМЕНОВСКИЙ.—Стихотворение	122

Л Ю Д И И Ф А К Т Ы

9. Василий РЯХОВСКИЙ.—Колдун, <i>очерк</i>	123
10. М. КАЗАС.—Кашгарские очерки	137
11. С. ОБРУЧЕВ.—С аэроплана на оленей (перелет Иркутск— Якутск), <i>очерк</i>	147

З А Р У Б Е Ж О М

12. ЭГОН ЭРВИН КИШ.— За кулисами статуи Свободы, про- должение	152
13. С. ГАЛЬПЕРИН.— По всему свету (очерки международной политики).	162

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

14. А. ДЕРМАН.—Одна из Чеховских магистралей	173
15. Вяч. ПОЛОНСКИЙ.—Очерки современной литературы. О Фа- дееве	190
16. А. БЕК и Л. ТООМ.—О психологизме и «столбовой дороге»	207
17. Д. ГОРБОВ.—Исторический пробег гр-на Адуева	225

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
Н. ЗАМОШКИН.—Ив. Соколов-Микитов «Повести и рассказы»	233
Ник. БОГОСЛОВСКИЙ.—Иван Евдокимов «Заозерье», кн. 1 и 2	234
Мих. РУДЕРМАН.—Леонид Грабарь «Семейная хроника»	235
Арк. ГЛАГОЛЕВ.—Александр Дроздов «На мосту»	236
Борис ГРОССМАН.—М. Ушаков «Борьба»	236
Виктор ГОЛЬЦЕВ.—Борис Лапин «Повесть о стране Памир»	237
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ.—А. Пестюхин «Тундра»	238
Я. ФРИД.—Линард Лайцен «Взывающие корпуса»	238
И. СЕРГИЕВСКИЙ.—Леонид Гроссман «Достоевский на жизнен- ном пути»	239
М. КЛЕВЕНСКИЙ.—И. М. Красноперов «Записки разночинца»	240

Повесть

БОР. ПАСТЕРНАК

1

В начале 1916 года Сережа приехал к сестре в Соликамск. Вот уже десять лет передо мною носятся разрозненные части этой повести, и в начале революции кое-что попало в печать.

Но читателю лучше забыть об этих версиях, а то он запутается в том, кому из лиц какая, в окончательном розыгрыше, досталась доля. Часть их я переименовал, что же касается самих судеб, то, как я нашел их в те годы на снегу под деревьями, так они теперь и останутся, и между романом в стихах под названием «Спекторский», начатым позднее, и предлагаемой прозой разноречья не будет, — это одна жизнь.

Собственно, приехал он не в Соликамск, а в Усолье. Соликамск белел и грудился на другом берегу, и с заводского берега, из кухни заново отремонтированной докторовой квартиры с первого же дня очень легко было понять, чем стоит Соликамск и для чего и с какой стати. Крутой торговый камень собора и казенных зданий мерцал и плася, шарахнутый врассыпную подрывными припасами сытости, пороховом довольства. Сводя в опрятные квадраты это заречное зрелище руки Грозного и Строгановых, оконца у доктора сияли так, точно именно в честь этой дали было сбито и мешочками сливочной пенки развезено по дереву свежее масло малярных белил. Так оно, впрочем, и было, — с худых прорешливых палисадников конторской слободы нечего было взять.

По кустам, воронам в подмогу, ковырялась оттепель. В воде черных загор стояли одинокие звуки. Свистки маневренного паровика на Веретье сменялись голосами игравших детей. Таратор топоров с ближайшего эксплуатационного квартала мешал вслушаться в смутную органную возню далекого завода. Она скорее воображалась, внушенная видом его пятидымовых шапок, нежели действительно могла быть слышима. Ржали лошади, лаяли собаки. Щепотинкой на нитке повисал, оборвавшись, крик сиплого петушка. А с далекого притока, где из-под сугробов торчали сонные усы спеленутого лозняка, испод-

воль набегала задорная скоропалка динамомашини. Звуки были скудны и казались пьяными, потому что плавали по колеям. Между ними торжественно и разгульно резверзались умолчанья зимней равнины. Она таила где-то невдалеке и, по здешним уверениям, чуть ли не в соседней деревне, первые отроги Урала. Она их прятала, как дезертиров.

Брат столкнулся с сестрой на ее выходе, — она собралась куда-то по хозяйству. Позади нее стояла рыластая девочка в кривостянутом полушубке. Сестра швырнула кошёлку на подоконник, и, пока они обнимались и шумели, девочка, с чемоданом вподхват, болтая вихлявыми валенками, вихрем понеслась вглубь комнат, на крену, как пущенный обруч, обегая стол в столовой. Скоро под градом сестриных расспросов Сережа стал казанским мылом неловко и отвычно отмывать грязные следы двухсуточной бессонницы, и тут, с полотенцем на плече, сестра увидела, как он вырос и исхудал. Потом он побрился. Самого Калязина в этот служебный час дома не было, а его бритвенница, принесенная Наташей из спальни, смутила Сережу полнотою набора. В светлой столовой благодатно пахло колбасой. В черный лак фортепьян разъяренно протягивались кулачки тринадцатипалой пальмы, и ломилась, грозя высадить доску; медная ярь привинченных подсвечников. Поймав взгляд Сережи, скользнувший по туалетно-молочным отливкам клеенки, Наташа сказала:

— Это от Пашина предшественника. Обстановка вся казенная. — Потом, замаявшись, прибавила: — Страшно интересно, как ты найдешь детей. Ты ведь их знаешь только по карточкам.

Их с минуты на минуту ждали с гулянья.

Он принялся за чай, и, подчиняясь Наташе, выложил ей, что смерть матери потрясла его полной неожиданностью. Скорей он ее страшился тем летом, когда, как он выразился, она действительно была при смерти, и он туда ездил.

— Как же, перед экзаменами мне писали, — вставила Наташа.

— Ах, да! — подхватил он, чуть не поперхнувшись, — ведь я и в самом деле их сдавал! Чего стоило их сдать, а ведь университет как тряпкой стерло.

Продолжая уминать клеклый мякиш калача и отхлебывая из стакана, он рассказал, как приступил было к подготовке весной, вскоре после ее московского гощенья, но пришлось бросить: болезнь матери, поездка в Питер и много еще чего (тут он снова все это перечислил). Но потом за месяц до зимней сессии одумался, и всего труднее было с постоянными отвлечениями, с детства вошедшими в навык. Его обидело, что в словах о «десяти талантах, что хуже одного, да верного», сестра не признала поговорки, пущенной по семье покойным отцом, и нарочно про него.

— Ну как же? — спеша замаять неловкость, спросила Наташа.

— Чего как же? Гнал день и ночь, вот и все, — и он стал уверять, что никакое наслаждение не сравнится с такой гонкой, при чем назвал

ее экзальтацией недосуга. По его словам, только мозговой этот спорт и помог ему справиться с прирожденными искушениями, главное же с музыкой этой, которая с тех пор и в загоне. И чтобы сестра не успела опять чего вставить, он быстро и без видимого перехода сообщил, что Москва встретила войну в разгаре строительной горячки, и сперва работы продолжались, а теперь кое-где и вовсе приостановлены, так что много домов останется навсегда недостроенными.

— Отчего же навсегда. — Возразила она. — Разве ты ей конца не чаешь? — Но он отмолчался, полагая, что тут, как и везде, разговор о войне, т. е. о полной непредставимости мира будет не однажды, и Калязин, вероятно, главным по этой части развивальщиком.

Вдруг ей бросилась в глаза нездоровая догадливость, с которой Сережа все чаще и удачнее стал предупреждать ее любопытство. Тогда она поняла, как он измучен, и, бессознательно спасаясь от этого чтенья в мыслях, предложила ему раздеться и соснуть. Тут им неожиданно помешали. Раздалось сладенькое дребезжанье звонка. Полагая, то это дети, Сережа сунулся было за сестрой, но, отмахиваясь и что-то бормоча, Наташа скрылась в спальню. Сережа подошел к окну и, заложив руки за спину, уставился глазами в пространство.

В состоянии победоносной рассеянности он пропустил мимо ушей неистовства, начавшиеся рядом. Надрываясь из последних сил и приложив руку к трубке, Наташа вдалбливала какие-то любезности в те самые просторы, что стлались перед братом. К бесконечному забору, тянувшемуся в конце слободы, равномерно и увесисто уходил человек, замечательный лишь тем, что кругом не было ни души и никто ему не попадался навстречу. Следя без смысла за удалявшимся, Сережа мысленно увидел лесистый кусок недавно совершенного пути. Он увидал станцию, пустой буфет с досками на козлах вместо стойки, горы за семафором и прохаживающихся, бегающих взапуски и борющихся на той бугристой снеговине, что отделяла холодные вагоны от горячих пирогов. В это время шагавший миновал забор, и, свернув за него, пропал из виду.

Между тем, в спальне произошли перемены. Крик по телефону кончился. Облегченно откашливаясь, Наташа осведомлялась, когда будет готова кофточка, и объясняла, как ее шить.

— Ты догадался? — сказала она, войдя и уловив внимательность братнина взгляда. — Это — Лемох. Он тут по делам своего завода и вечером собирается к нам.

— Какой Лемох? Зачем ты кричишь? — вполголоса перебил ее Сережа. — Можно было предупредить. Когда громко празднословишь, точно один в квартире, а за дверью человек работает, ему обидно. Надо было сказать, что у тебя портниха.

Недоразуменье сперва пошло в рост, а потом сполна разъяснилось. Оказалось, что никого в спальне нет, а когда Наташу раз'единили с собеседником, еще более отдаленным, она разговорилась с те-

лефонисткой, выключившей линию и сидевшей далеко в конторе на другом конце поселка.

— Милейшая девушка, — прибавила Наташа. — Между прочим шьет, жалованья нехватает. Она тоже будет. Хотя неизвестно, — к ней с фронта приехали.

— Знаешь, — неожиданно объявил Сергей, — я, пожалуй, и правда прилягу.

— Вот и хорошо, — быстро согласилась сестра и повела его в комнату, с самого Сережина письма для него приготовленную. — Удивительно, как тебя освободили, — заметила она на ходу, вполоборота оглядывая брата, — ведь ты нисколько не хромаешь.

— Вот представь, и ведь без возражений, всей комиссией. Что ты делаешь? — воскликнул он, увидев, что сестра собирается ему стлать и стягивает с кровати покрывало. — Оставь, я — одевшись. Не надо.

— Ну, как знаешь, — уступила она и, оглядев по-хозяйски комнату, сказала с порога: — Спи вволю и не стесняй себя; я позабочусь, чтобы не шумели; в крайности мы пообедаем одни, а тебе согреют; а вот что ты Лемоха забыл, так это с твоей стороны непростительно; очень, очень интересный человек и достойный, и очень тепло и правильно о тебе отзывался.

— Но что же мне делать? — взмолился Сергей. — Никогда не видал и в первый раз слышу.

Ему показалось, что и дверь за сестрой затворилась с тихой укоризной. Он отстегнул помочи и, присев на кровать, стал распускать шнурки на ботинках.

С тем же поездом на короткую побывку в Веретье приехал отпускной матрос с миноносца «Новик». Звали его Фардыбасов. Он отнес прямо со станции свой сундучок в контору, чмокнулся с родственницей, там служившей, и тут же, круша лед и разбрасывая воду, крупным шагом направился к Механическому. Тут он произвел фурор своим появлением. Однако, не найдя в обступившей его толпе того, кого шел добывать, и узнав, что Отрыганьев теперь работает на одном из новых, недавно поставленных производств, он тем же шагом повалил на второй, подсобный, который вскоре и отыскался за складскими заборами, в вилке узкоколейки. Она гаденькой каемкой ползла по краям срывчатой низины и пугала своей видимой беззащитностью, потому что у лесной опушки вдоль нее похаживал часовой с ружьем. Сбежав с дороги, Фардыбасов полетел полем вниз, перемахивая с бугра на бугор и скрываясь в завялых яминах летнего происхождения. Потом он стал подыматься на изволок, где стоял деревянный барак, отличавшийся от обыкновенного сарая только тем, что забрасывал частыми паровыми пышками, как снежками, тишину, здесь царившую.

— Отырганьев! — подбежав к порогу и хлопнув ладонью по вее, гаркнул отпускной в глубину строения где несколько мужиков переволакивали с места на место какие-то кули, и бушевал, одним лишь этим тесом, как чехлом, охраненный от поля, здоровенный двигатель с застывшим в молниеносном полете маховиком. Под ним плясал, чмякал стержнями и приседал, проваливался под пол и выбрасывал назад вывихнутую голяшку сумасшедший рычаг шатуна, одной этой дрыготней державший в страхе все сооруженье.— Каких соков дерьмо гонишь? — с первого же приветствия спросил приезжий колченого увальня, который вырос у двери, в привалку с сухой ноги на здоровую приковыляв от машины.

— Еремка, — только и успел выпалить подошедший, сразу хваченный приступом горького, крупной крошки, махорочного кашля. — Хролофор, — пропитым до чахотки голосом прогорланил он и только мотнул рукой, зайдясь пароксизмом нового скрипучего удушья.

— Смолосады, подумашь! — любовно усмехнулся матрос, дожидаясь конца приступа, но не дождался, потому что в это время двое из татар, отделившись от остальных, быстро вскарабкались друг за другом по приставной лестнице наверх и стали сыпать известь в мешалку, отчего поднялся невообразимый грохот, и все помещенье заволкло клубами белой, раскраивающейся пыли. И вот в этом облаке Фардыбасов принялся орать, что его время писарь с'ел, считанные, дескать, дни, и стал тут же подбивать приятеля на то самое, зачем ломил сюда без дороги со станции, то-есть на охоту на весь свой отпускной срок. А по прошествии некоторого времени, проведенного в любовном глумленьи над подучетными, военнообязанными и заводами, работающими на оборону, как уходить, Фардыбасов рассказал, как недавно, под самое рождество, они ночью на выходе из Финского напоролись на минное поле германца и взорвались, что было враньем и бахвальством только в личностях, потому что рассказчик был с «Новика», а подымал хобота, рыл пучину и опускался, заводя на себе водяную петлю дикой глубины и тугости, другой миноносец отряда.

Темнело, подмораживало, в кухню подавали воду. Приходили дети, на них шикали. Временами извне к дверям подкрадывалась Наташа. Но Сереже не спалось, он только притворялся спящим. За стеной, на стороне, всем домом перебирались из сумерек в вечер. Под вешевую дубинушку полов и ведер Сережа думал, как все будет неузнаваемо при огне, в конце передвиженья. Точно он в другой раз приедет, и притом выпавшись, что всего важнее. А предвкушаемая новизна, уже кое в чем вызванная лампами к существованию, копошилась и погрохатывала, переходя от воплощенья к воплощенью. Она детскими голосками спрашивала; где дядя и когда он опять уедет, и, наученная делать страшные глаза, сама уже затем проникновенно шикала на ни в чем неповинную Машку. Она стай материнских увеща-

ний носилась в суповом пару, шлепая крыльями по передникам и тарелкам. Никакие препирательства ей не помогли, когда ее снова укутали, кропотливо и раздраженно, и стали выпроваживать на новую прогулку, торопя из сеней, чтобы не напускать в дом холоду. И не скоро, многим позднее, воплотилась она в басистое вторжение Калязина и его палки, и его глубоких, за десять лет брака все еще не поддавшихся никакому вразумленью, калаш.

Чтобы примануть сон, Сережа упорно старался увидеть какой-нибудь летний полдень, первый, какой подвернется. Он знал, что если бы такой образ ему явился и он его удержал, виденье склеило бы ему веки и храпом бросилось бы в ноги и в мозг. Но он лежал и давно уже держал зрелище июльского жара перед самым носом, как книжку, а сон все не жаловал. Случилось так, что лето подобралось четырнадцатого года, и это обстоятельство нарушило все расчеты. На это лето нельзя было глядеть, всасывая заволоченными глазами усыпительную явственность, а приходилось думать, переносясь от воспоминанья к воспоминанью. Та же причина разлучит и нас надолго с уольской квартирой.

Итак, именно отсюда давались порученья Наташе, когда с их списком, слепым от мелких приписок и частого перечеркиванья, она бегал по Москве в свой приезд весной тринадцатого года. Она оставалась у Сережи, и теперь по запаху строевого леса, по гутору окружной тишины и по состоянию дорог в поселке он воображал, что уже видит в лицах, кого одолжала сестра, по целым дням пропадая из комнаты на Кисловке. Служащие действительно жили дружно, одной семьей. Ее поездка тогда была даже оформлена в служебную, с мужа на жену переписанную командировку. Такой вздор был мыслим только потому, что все звенья отвлеченной цепи, кончавшейся суточными и прогонными, были живыми людьми, поголовно между собою породненными той теснотою, в какой всем им, как на островке, приходилось жаться на своей разнообъемной грамотности среди трехтысячеверстных повально неграмотных снегов. Пользуясь оказией, дирекция облекла ее даже полномочьями на уяснение каких-то, впрочем, пустяковейших и легко разрешимых по почте неулаженностей, почему Наташа и хаживала на Ильинку, придавая этим посещениям очень двойственное обличье. Она заключала эти прогулки в подчеркнута комические кавычки, в то же время давая понять, что в кавычки ею заключены дела министерской важности. А в свободные часы, и больше по вечерам, она навещала своих и мужниных друзей бывлой московской поры. С ними она ходила по театрам и концертам. Подобно отлучкам в правленье, она и этим развлечениям сообщала видимость дела, но только такого, которое никаких кавычек не допускало. Это оттого, что с людьми, с которыми она теперь делила посещение Художественного и Корша, ее связывало когда-то большое прошлое. Доступное, при желаньи, восхищенным пониманьям при каждом но-

вом перетряхиваньи стариной, оно теперь оставалось единственным доводом их взаимного друг до друга касательства. Они встречались, крепко спаянные его давностью, и одни стали врачами, другие инженерами, третьи же пошли по адвокатуре. Те, которым не пришлось возобновить временно прерванного ученья, работали в «Русском Слове». Все обзавелись семьями, у всех, кроме определившихся по литературной части, были дети. Не все, разумеется, были похожи друг на друга, и жили никак не кучею, а врозь, кто на какой улице, и, отправляясь к одним, Наташа с Кисловки выходила к остановке трамвая на Воздвиженку, а собравшись к другим, шла пешком по Газетному, Камергерскому и так далее, пересекая улицы одну другой кривее, жилистей и толкучей.

Надо также сказать, что за исключением одного раза в Георгиевском переулке, куда надо было завернуть за друзьями по дороге на сборный концерт с чтением Чехова и певцами, в этот Наташин наезд между знакомыми о прошлом не говорилось. Да и в этот раз, едва Наташа развспомнилась, обнаружив в туалетной шкатулке приятельницы красный галстук времен высших женских курсов, как последняя, которую она же и поторапливала, справилась с нарядом, и, отвалив от зеркала, где уже стали колыхаться воскрешенные образы, они втроем с мужем приятельницы кубарем выкатились на зеленый, зеркалом холодевший воздух весеннего вечера. О прошлом не говорись и потому, что в глубине души все они знали, что революция будет еще раз. В силу самообмана, простительного и в наши дни, они представляли себе, что она пойдет как временно однажды снятая и вдруг опять возобновляемая драма с твердыми актерскими штатами, то-есть с ними со всеми на старых ролях. Заблужденье это было тем естественнее, что, глубоко веря во всенародность своих идеалов, они были все же такого толка, что считали нужным эту уверенность свою поверять на живом народе. И тут, убеждаясь в полной, до известной поры, бытовой причудливости революции на широкий, рядовой русский взгляд, они могли справедливо недоумевать, откуда бы взяться еще новым охотникам и посвященным в таком обособленном и тонком деле.

Как все они, Наташа верила, что лучшее дело ее юности только отложено и, как пробьет час, ее не минует. Этой верой объяснялись все недостатки ее характера. Этим объяснялась ее самоуверенность, смягченная лишь полным Наташиным неведением о таком своем изъяне. Этим также объяснялись те черты беспредметной праведности и всепрощающего пониманья, которые неистощимым светом озаряли Наташу изнутри и были ни с чем несообразны.

По родне она узнала, что у Сережи что-то такое подеялось. Надо заметить, что ей было известно все, начиная от имени Сережиной избранницы вплоть до того, что Ольга замужем и в счастливом браке с инженером. Она ни о чем не стала расспрашивать брата. Поступивши так из общелюдского приличья, она, однако, тут же, как светлая лич-

ность, себе это вменила в особую кастовую заслугу. Она ни о чем не стала расспрашивать Сережу, но, вся дыша сознанием прямой подведомственности его истории тому вдумчивому и чуткому началу, которое собой олицетворяла, ждала, чтобы, не снеся замкнутости, он излился перед нею сам. Она притязала на его внезапную исповедь, ожидая ее с профессиональным нетерпением, и кто осмеет ее, если примет в расчет, что в братниной истории имелась и свободная любовь, и яркая коллизия с житейскими цепями брака, и право сильного, здорового чувства, и, бог ты мой, чуть ли не весь Леонид Андреев. Между тем, на Сережу пошлость под запрудой действовала хуже глупости безудержной и искрометной. И когда он раз не выдержал, то его уклончивость сестра истолковала по-своему, а из его мешковатых недомолвок узнала, что у любящих все расстроилось. Тогда чувство компетенции только возросло у ней, потому что к увлекательному инвентарю, приведенному выше, прибавилась и обязательная, по ее понятиям драма. Потому что, как ни далек был ей брат, опоздавший родиться на пять лет с месяцами против ее поколенья, были глаза и у ней, и она видела, да и не ошибалась, что никакие проказы и шалости Сереже не присущи. И только слово драма, разнесенное Наташею по знакомым, было не из братнина словаря.

2

Много, много чего оказалось вдруг за плечами у Сережи, когда с последнего, благополучно сданного экзамена он точно без шапки вышел на улицу и, оглушенный случившимся, взволнованно осмотрелся кругом. Молодой извозчик, вскинутым сапожищем распяливая кафтан, сидел боком на козлах, исподволь подглядывая под лошадь, и, всецело полагаясь на беспамятную чистоту мартовского воздуха, равнодушно караулил окрик с любого конца большой площади. Подневольным слепком с его вольного ожиданья помаргивала в оглоблях серая в яблоках кобыла, как бы самим рокотом мостовых сильно на вынос вложенная в хомут, за дугу. Все кругом подражало им. Орленая чистым булыжником, круглая мостовая походила на гербовый, тумбами и фонарями уставленный документ. Дома стояли, возведенные на пустой предвесенней настороженности, как на упругом фундаменте из четырех резиновых шин. Сережа оглянулся. За оградой, в одном из серейших и самых слабостойных фасадов празднично и каникулярно тяжелела дверь, только что тихо затворившаяся за двенадцатью школьными годами. Именно в эту минуту ее замуровали, и теперь навсегда. Он пошел домой. Щемящей студености холостая заря неожиданно ломанула по Никитской. Камень светло мерзлым пурпуром. Он совестился глядеть на встречных. Все случившееся было написано на лице у него, и прыгающая улыбка, величиной со всю, того часа, московскую жизнь, владела его чертами.

На другой день он отправился к тому из своих приятелей, который, учительствуя в одной из женских гимназий, знал по службе, что делается в других. Зимой он как-то говорил Сереже об освобождающейся на весну вакансии словесника и психолога в частной гимназии на Басманной.

Сережа терпеть не мог словесности и школьной психологии. Кроме того, он знал, что в женской гимназии ему не служить, потому что пришлось бы изойти среди девочек страшным паром без всякого для кого-нибудь ведома и пользы. Но в конец измотанный экзаменационными волнениями, он теперь отдыхал, то-есть позволял дням и часам переставлять его, куда им вздумается. Точно кто кокнул тогда под университетом банку с вареньем из вербы, и, увязнув вместе со всем городом в горькошерстой ягоде, он отдался поколыхиванью ее тугих, оловянных складок. Вот каким образом и побрел он в один из переулков Плющихи, где проживал в номерах названный приятель.

Номера обложились от остального света огромным двором для извозчиков. Вереница пустых пролетов подымалась к вечернему небу костяным хребтом какого-то сказочного позвоночного, только что освежеванного. Здесь сильнее, чем на улице, чувствовалось присутствие новой дали, голой, сердобольной, и было много навоза и сена. Особенно же много было тут той именно сладкой серости, на волнах которой прибыл сюда Сережа. И вот, как подмыло его в дымные номерные разговоры, подпертые с улицы троеруким керосиновым фонарем, так понесло в следующие же сумерки на Басманную, в оловянные разговоры с начальницей, под которыми топырилось ветвистое карканье большого запущенного сада, полного частной, женской, серебристо-мышинной и кое-где уже разобранной граблями земли.

Как вдруг, неизвестно в честь чего, по одному из оловянных изворотов последней недели он очутился во Фрестельнском особняке воспитателем хозяйского сына, и тут остался, отряся олово с ног своих. И неудивительно. Его взяли на всем готовом, предложив сверх того оклад вдвое больше учительского, огромную трехоконную комнату об стену с учениковой и полное пользование досугом, какой ему заблагорассудится для себя отвесьть без ущерба для занятий с воспитанником. Так что разве только не подарили ему всего суконного фрестельнского дела, а то никогда еще в жизни не случилось ему налегке, в мягкой шляпе (он получил большой задаток), от чаю и книг, прямо с мрамора попадать в булочный вар солнечного переулка, парюю кривых тротуаров бодро несшегося под уклон на площадь, прятавшуюся внизу за поворотом. Это было в Самотеках, и, несмотря на малую прохожесть околотка, у Сережи в первую же прогулку случилось две встречи. Первым, и по другому тротуару, прошел молодой человек из бывших на памятном вечере у Бальца. Их было там два брата, и старший был инженер, а младший говорил, что по окончании коммерческого ему служить, и не знал, итти ли вольноопределяющимся, или же по жребью. Теперь он был в форме вольноопределяющегося, и как

раз то, что он был в солдатской форме, так стеснило Сережу, что он только поклонился прошедшему, а не остановил его и не перешел через дорогу. Не сделал того и вольноопределяющийся, потому что ему передалось через дорогу Сережино стеснение. К тому же Сережа не знал, как фамилия братьев, потому что их друг другу не представили, и он только помнил, что старший — очень уверенный в себе человек и, вероятно, удачник, а младший — молчаливое и гораздо милее.

Другая встреча произошла на одном тротуаре. На него налетел добродушный толстяк, редактор одного из петербургских журналов, Коваленко. Он знал Сережины работы и одобрял их и, между прочим, собирался при помощи Сережи и нескольких других, ранее облюбованных причудников, обновлять свое начинанье. Об этом вливании живых сил и прочей чепухе он говорил с неизменною усмешкой. Она и вообще была ему свойственна сверх меры, потому что повсюду ему мерещились смешные положения, и этою иронией он себя от них ограждал. Уклоняясь от Сережиных любезностей, он спросил, чем тот в данное время занят, и с двухэтажным Фрестельнским особняком на языке, Сережа во-время его прикусил, быстро соврав на всякий случай, что увлечен новой повестью. И так как Коваленко обязательно должен был его спросить о замысле, то он тотчас же в уме принялся ее сочинять.

Но Коваленко этого вопроса не задал, а уговорился встретиться с Сережей через месяц, в следующий свой наезд в Москву, и, безо всякой расстановки что-то быстро лопоча про друзей, в полупустующей квартире которых останавливается, быстро записал на отрывном листке их адрес. Сережа принял его не глядя и, сложив вчетверо, сунул в карман жилета. Ироническая улыбка, с которой все это проделал Коваленко, ничего Сереже не сказала, потому что она была от говорившего неотделима.

Расставшись со своим доброхотом, он в обход направился назад в особняк, чтобы не идти вместе с человеком, беседа с которым закончилась так кругло и естественно. Между прочим, он тут же подивился ветру, сразу поднявшемуся в его голове. Он не заметил того, что это не ветер, а продолжение несуществующей повести, заключавшееся в постепенном улетучивании встречи и адреса и всего случившегося. Он также не знал, что сюжетом ей служит его бросающаяся мыслими умиленность, умилен же он тем, что кругом так хорошо, и что ему так повезло с экзаменами, со службой и со всем на свете.

Его поступление к Фрестельнам совпало с временем, когда особняк был весь в переменах. Часть их произошла до Сережи, часть еще предстояла. Незадолго перед тем супруги отссорились, наконец, полным на всю жизнь итогом и зажили разными этажами. Половину низа, через сенную площадку направо от детской и Сережиной половины, занял хозяин. Хозяйка раскатилась по всему верху, где кроме трех ее

комнат, не считая гостиной, были еще большая двухсветная зала с помпейским атриумом и столовая с прилегавшей к ней буфетной. Весна в тот год подошла рано и уже клубилась горячими сдобными полднями. Она на всех парах обгоняла календарь и давно уже побуждала к летним сборам. У Фрестельнов было именье в Тульской губернии. Хотя покамест особняк только отдувался проветриваньем сундуков и чемоданов по жарким утрам, но с парадного уже прибывали дамы, матери семейств, кандидатки в нынешние дачницы. Старых с'емщиц встречали, как дорогих покойниц, чудесно возвращенных родне, с новыми толковали о каменных флигелях и деревянных дачах и еще в вестибюле на прощанье долбили о прославленных особенностях алексинского воздуха, необыкновенной какой-то сытности, и об окских красотах, которыми, сколько их ни хвали, все равно не нахвалиться. Все это, впрочем, было истинною правдой.

А на дворе выколачивали ковры, глыбами нутряного сала стояли облака над садом, и клубы щелкучей пыли, садясь на жирное небо, сами, казалось, заряжали грозой воздух. Но по тому как, утирая лицо, поглядывал на небо дворник, весь в ковровом сору, точно в волосяной сетке, видно было, что дождя не будет. В люстриновом пиджаке взамен фрака, с колотушкой под мышкой проходил через вестибюль во двор лакей Лаврентий, и, видя все это, вдыхая запах нафталина и ловя мимоходом обрывки дамских разговоров, Сережа не мог отделаться от чувства, будто особняк уже снарядился в путь, и вот-вот поднырнет под горький, мокротрепещущий, знойнолавровый березовый шатер. Кроме всего изложенного, камеристка госпожи Фрестельн, не заговаривая пока еще о расчете, собиралась уходить и, приискивая себе место, отлучалась без рабору во все дни, выходов от невыходных не отличая. Звали ее Анна Арильд Торнскольд, а в доме для краткости, — миссис Арильд. Она была датчанка, ходила во всем черном, и видеть ее в положеньях, в какие ее часто ставили обязанности, было тяжело и странно.

Именно так, в духе гнетущей странности она себя и держала, широкой походкой в широкой юбке пересекая залу по диагонали, с высокой прической узлом, и сочувственно, как сообщница, улыбалась Сереже.

Таким образом незаметно настал день, когда обожаемый учеником и состоя в задушевной дружбе с хозяевами, относительно которых только нельзя было решить, кто милее, потому что, заменяя этим уничтоженную связь, они врозь друг друга перед Сережей оговаривали, — с книгой в руке, предоставив питомцу гоняться по двору за кошкой, он перешел со двора в сад. Дорожки, как сором, были затрясены обившейся сиренью, и только на теневой стороне доцветало еще два-три куста. Под ними усердно писала, положив локти на стол и склонив голову набок, миссис Арильд. Ветка в пепельных четырехгранниках,

чуть покачиваемая лиловым бременем, старалась заглянуть из-за тылка пишущей в писанье, но без пользы. Писавшая заслоняла письмо и корреспондента от всего мира широким, трижды скрученным узлом своих невесомых светло-каштановых волос. На столе вперемежку с рукодельем была разложена вскрытая почта. По небу плыли легкие, цвета сирени и почтовой бумаги, облака. Оно их охлаждало, и само было, как серая сталь. Заслышав чужие шаги, миссис Арильд сперва тщательно осушила промокашкой написанное, а потом спокойно подняла голову. Рядом с ее скамейкой стоял железный садовый стул. Сережа опустился на него, и между ними по-немецки произошел следующий разговор:

«Я знаю Чехова и Достоевского, — обвив руками спинку скамейки и прямо глядя на Сережу, начала миссис Арильд, — и пятый месяц в России. Вы хуже французов. Вам надо наделить женщину какой-нибудь скверной тайной, чтобы поверить в ее существование. Точно на законном свету она нечто бесцветное, в роде кипяченой воды. Вот когда она скандальной тенью вскочит откуда-нибудь изнутри на ширму, тогда другое дело, об этом силуэте уже не спорят, и ему нет цены. Я не видала русской деревни. А в городах ваша падкость к закоулкам показывает, что вы живете не своей жизнью и, каждый по-разному, тянетесь к чужой. Не то у нас в Дании. Постойте, я не кончила». — Тут она отвернулась от Сережи и, заметив на письме ворох осыпавшейся сирени, заботливо ее сдула. Спустя мгновенье, справившись с какой-то непонятною заминкой, она продолжала. «Прошлой весной в марте я потеряла мужа. Он умер совсем молодым. Ему было тридцать два года. Он был пастором». — «Послушайте, — все-таки успел перебить ее Сережа по-заготовленному, хотя теперь хотел сказать уже совсем не то, — я читал Ибсена и вас не понял. Вы заблуждаетесь. Несправедливо по одному дому судить о целой стране». — «Ах, так вы вот о чем? Вы о Фрестельнах? Хорошего же вы мнения обо мне. Я дальше от таких ошибок, чем вы, и сейчас вам это докажу. Догадались ли вы, что они евреи, и только это от нас скрывают?» — «Какой вздор! Откуда вы это взяли?» — «Вот видите, как вы не наблюдательны. А я в этом убеждена. Оттого, может быть, я и ненавижу ее так непобедимо. Но не отвлекайте меня» — с новым жаром начала она, не дав Сереже во-время заметить, что по отцу эта ненавистная кровь течет в нем самом, между тем как в особняке этим и не пахнет, вместо чего, и опять по-заготовленному, он успел все-таки вставить, что все ее мысли о сладостлюбьи — живой Толстой, то-есть, самое русское из всего, что достойно этого званья. «Не в этом дело, — спеша пресечь спор, нетерпеливо отрезала она и быстро пересела поближе к Сереже на край скамейки. — Послушайте, — взяв его за руку, проговорила она в сильном возбуждении. — Вы состоите при Гарри, но я уверена, что вас не заставляют обмывать его по утрам. Или еще бы вам предложили делать старику ежедневные обтиранья». От неожиданности Сережа

упустил ее руку. «Зимой в Берлине ни о чем таком не было ни слова. Я ходила договариваться с ней в отель Адлон. Я нанималась в компаньонки, а не в горничные, неправда ли? Вот я сижу перед вами, — здоровый, рассудительный человек, — вы согласны? Но не отвечайте пока. Место было в далекий отъезд, в неизвестность. И я согласилась. Ясно ли вам, как меня обошли? Я не знаю, чем она мне приглянулась. С первого взгляда я ее не разобрала. И потом ведь все это родилось по ту сторону границы, за Вержболовым. Нет, погодите, я не кончила. Я возила Арильда в Берлин на операцию. Он скончался у меня на руках, я там его похоронила. У меня нет родни. Я сейчас сказала неправду. Есть, но об этом как-нибудь потом. Я была в ужасном состоянии и совсем без средств. И вдруг — ее предложение. Я о нем прочла в газете. И — по какой случайности, если бы вы знали!» — Она отодвинулась на середину скамьи, сделав Сереже неопределенный знак рукою.

По стеклянной галлерее, соединявшей особняк с кухней, прошла госпожа Фрестельн. За нею следовала экономка. Сережа тут же раскаялся, что недостойным образом истолковал движение миссис Арильд. Она не предполагала ни от кого таиться. Наоборот, возобновив разговор с ненатуральной поспешностью, она повысила голос и внесла в него ноту насмешливого высокомерья. Но госпожа Фрестельн их не слышала. «Вы обедаете наверху, с ней и с Гарри, и с гостями, когда бывают гости. Я сама собственными ушами слышала, как в ответ на ваше недоумение, почему меня нет за столом, вам сказали, что я больна. И, правда, я часто страдаю мигренью. Но потом, помните, вы раз как-то после десерта куралесили с Гарри, — не кивайте пожалуйста так радостно, дело ведь не в том, что вы этого не забыли, а в том, что, когда вы вбежали в буфетную, я чуть со стыда не сгорела. Вам же объяснили, будто обедать в углу за дверью в обществе экономки (а ей действительно так больше нравится) пожелала я сама. Но это пустяки. Каждое утро мне приходится, как ребенка, принимать из ванны в простыни эту трепещущую драгоценность и потом до изнеможенья растирать тряпками, щетками, пемзой и уж право не знаю чем. И ведь я не все могу назвать» — неожиданно тихо заключила она и вся в краске, переведя дыхание, как после бега, утерла платком разгоревшееся лицо и повернула его к собеседнику. Сережа молчал, и по его страдальческому виду она догадалась, как глубоко в него все это запало. «Не утешайте меня, — попросила она, и поднялась со скамьи. — Но я не то хотела сказать. Я говорю по-немецки с неохотой. В минуту заслуженной вами сердечности я буду к вам обращаться по-другому. Нет, не по-датски. «We shall be friends I'm sure»¹⁾. — И опять Сережа ответил не так, как хотел, и сказал gut, а не well, не предупредив ее, что понимает по-английски, но то немногое, что знал, позабыл. Она же,

¹⁾ Мы будем друзьями. Я уверена.

продолжая говорить по-английски, горячо и просто напомнила ему (и вслед затем гораздо холоднее перевела по-немецки), чтобы он не забывал того, что она сказала о ширмах и закоулках. Что она северянка и человек верующий и не выносит вольничанья, что это — просьба и предостережение, и чтобы все это он имел в виду.

3

Стояли душные дни. Сережа по Нуроку освежал свои скудные и запущенные познания по-английски. В обеденные часы он подымался с воспитанником в залу, где они топтались в ожидании выхода госпожи Фрестельн. Пропустив ее вперед, они следом за ней проходили в столовую. Часто ее минут на пять, на десять предваряла миссис Арильд. Сережа громко беседовал с датчанкой и при появлении хозяйки с нескрываемым сожаленьем расставался с собеседницей. Шествие из трех лиц, открывавшееся госпожей Фрестельн, направлялось в столовую, а камеристку, двигавшуюся по тому же направлению, с постепенным приближеньем к двери отмывало все более и более влево. И они расходились.

С некоторых пор госпоже Фрестельн пришлось свыкнуться с упорством, с каким Сережа звал столовую малой буфетной, а комнату рядом, где разнимали пулярдок и раскладывали по тарелкам мороженое, — большой. Но она постоянно ждала от него странностей, считая его прирожденным чудачком, хотя и не понимала половины его шуток. Она доверяла воспитателю и в нем не обманывалась. У него и теперь не было прямого зла на нее, как и ни против кого на свете. В живом лице он умел ненавидеть только своего противника, то-есть незаурядно вызывающую, легкую победу над жизнью, с обходом всего труднейшего в ней и драгоценнейшего. А людей, годящихся в олицетворенье такой возможности, не столь уж много.

В послеобеденные часы вниз по лестнице с'езжали целые подносы битых и ломанных гармоний. Они скатывались и разлетались неожиданными взрывами, более резкими и разительными, чем случаи официантской неловкости. Между этими мятежными паденьями залегали версты ковровой тишины. Это наверху, за несколькими парами подбитых сукном и плотно притворенных дверей, Арильд на рояле разыгрывала Шумана и Шопена. В такие мгновенья невольнее, чем в другие, смотрелось в окно. Но перемен там не замечалось, небо не трогалось излияньями. Оно знойным столбом продолжало стоять на своем затверженном бездожьи, а под ним на пятьдесят верст кругом плясало мертвое море пыли, точно жертвенный костер, возженный ломовыми извозчиками с нескольких концов сразу, на пяти товарных станциях и за китайгородской стеной, в центре кирпичной пустыни.

Получалась несуразица. Фрестельны засиживались в городе, а миссис Арильд заживалась в особняке. Вдруг судьба наслала всему

оправданье в тот момент, как непонятность оттяжки стала всех удивлять. Гарри заболел корью, и переезд в именье был отложен до его выздоровленья. А песчаные вихри все не унимались, дождя не предвиделось, и все мало-по-малу к этому привыкли. Стало даже казаться, что это все тот же, теперь на долгие недели застоявшийся день, которого тогда во-время не отвели в участок. Вот он и взял силу, и до смерти всем осточертел. А теперь на улице его всякая собака знает. Так что если бы не ночи, еще дышавшие какими-то призрачными различьями, то следовало бы сбегать за понятыми и наложить сургучевые печати на иссякший календарь.

Улицы походили на блуждающие маковые грядки с путешествующими насаждениями. По размягченным панелям, свесив полусъпавшиеся головы, двигались пепельные, изомлевшие тени. Только раз в воскресенье у Сережи с датчанкой хватило духу, сунув головы в умывальные чашки, рвануться вон из города. Они поехали в Сокольники. Однако, и тут над прудами стлалась та же гарь, с той только разницей, что духота в городе была недоступна глазу, а тут ее становилось видно. Ее полоса, намешенная из пыли, тумана и паровозного дыма, висела, подобно канцелярской линейке, поперек черного бора, и, разумеется, деловой этот призрак был куда страшнее простого уличного удушья.

Между прочим, полоса эта висела на таком отступе от воды, что лодки свободно под ней проскальзывали, когда же визгливые барышни пересаживаясь с кормы на весла, то кавалеры, подымаясь им навстречу, задевали за эту говяжью накипь картузами. В пруду у берега с кислым шипеньем дымилась заря. Ее багрянец походил на раскаленную и утопленную в болоте болванку. С того же берега в лопающихся пузырях плыл скользкий, плачевно-раскатчивый рев лягушек.

Между тем смеркалось. Арильд сыпала по-английски, Сережа отвечал ей, и все впопад. Они все быстрее и быстрее кружились по лабиринту, приводившему их все на ту же начальную площадку, и в то же время быстро шли прямой дорогой к заставе, на стоянку трамваев. Они резко отличались от остальных гулявших. Изо всех пар, заполнявших рощу, эта всего тревожнее отнеслась к наступленью ночи, и бросилась уходить от нее так, точно та гналась за ними по пятам. Когда они оглядывались, они будто соразмеряли скорость ее преследованья. Впереди же, на всех дорожках, на которые они вступали, росло всем бором нечто подобное присутствию старшего. Это превращало их в детей. Они то брались за руки, то растерянно их опускали. Временами их оставляла уверенность в собственном голосе. Им казалось, что их бросает то в громкий шопот, то в далекий, далью надломленный крик. На самом же деле ничего такого не замечалось: они произносили слова, как надо. По временам она становилась легче и прозрачнее лепестка тюльпана, в нем же открывался грудной жар лампового стекла. Тогда она видела, как он борется с горячей, коптящею тягой, чтобы ее не притянуло. Они молча во все лицо глядели друг на

друга, и потом с болью, как нечто цельное и живое, разрывали надвое эту обоеликую, мольбой о милосердии искаженную улыбку. И тут Сережа опять слышал слова, которым давно подчинился.

Они все быстрее и быстрее кружились по лабиринту мудренейших дорожек и в то же время выходили к заставе, откуда уже несся захлебывающийся звон трамваев, спасавшихся от пустых подвод, всей Стромынской скакавших за ними вдогонку. Трамвайные звякалки точно плескались в иллиuminованном стекле. От них, как от колодцев, несло прохладой. Скоро крайняя и самая пыльная часть бора сошла в деревянных башмаках с земли на каменную мостовую. Они вошли в город.

Как велико и неизгладимо должно быть унижение человека, — думал Сережа, — чтобы, наперед отождествив все новые нечаянности с прошедшим, он дорос до потребности в земле, новой с самого основания, и ничем не похожей на ту, на которой его так обидели или поразили.

В эти дни идея богатства стала занимать его впервые в жизни. Он затомился неотложностью, с какой его следовало раздобыть. Он отдал бы его Арильд и попросил раздать дальше, и все — женщинам. Несколько первых рук он назвал бы ей сам. И все это были бы миллионы, и названные отдавали бы новым, — и так далее, и так далее.

Гарри выздоравливал, но госпожа Фрестельн оставалась при нем неотлучно. Ей продолжали стлать в классной. Вечерами Сережа уходил из дому и возвращался лишь на рассвете. За дверью ворочалась в постели и покашливала хозяйка и всеми способами давала понять, что знает о его неурочных приходах. Если бы она спросила, откуда он является, он, не задумываясь, назвал бы ей места своих отлучек. Она это чувствовала и, остерегаясь серьезности, какую он вложил бы в ответ и которую ей пришлось бы проглотить, как обязательность, оставляла его в покое. Он приходил оттуда с тем же далеким светом в глазах, что с прогулки в Сокольники.

Одна за другой несколько женщин всплыли в разные ночи на уличную поверхность, поднятые привлекательностью и случайностью из несуществования. Три новых женских повести стали рядом с историей Арильд. Неизвестно, почему изливались на Сережу эти признанья. Он не ходил их исповедывать, потому что считал это низостью. Как бы в объяснение безотчетной доверенности, которая влекла их к нему, одна из них сказала, что он словно чем-то похож на них самих.

Это сказала самая матерая и запудренная из всех, самая разсамая, та самая, что уже до скончанья дней была со всем светом на ты; потопрапливала извозчика такими жалобами на свою знобкость, которых нельзя привести, и всеми выпадами своей хриплой красоты уравнивала все, до чего ни касалась. Ее комнатка во втором этаже пятиконного домика, кривого и вонючего; ничем с виду не отличалась от любого мещанского жилья из беднейших. По стене ниспадали дешевые ши-

ринки, утыканые фотографиями и бумажными цветами. У простенка, крыльями захватывая оба подоконника, горбился раскладной стол. А напротив, у недоходившей до верху перегородки, стояла железная кровать. И однако, при всем сходстве с человеческим жилищем, это место было полной его противоположностью.

Половики подстилались под ноги гостя с редким холуйством, и, приглашая не церемониться с квартиранткой, сами, казалось, готовы были подать пример, как ею помыкать. Чужой толк был их единственным хозяином. Все существовало настежь, проточным порядком, как в потоп. Казалось, даже и окна обращены тут не изнутри наружу, а снаружи вовнутрь. Подмытые уличной славой, как в наводнение, домашние вещи, не чинясь и как попадет, плавали по широкому званью Сашки.

Зато и она в долгу перед ними не оставалась. Все, за что она ни бралась, она делала на ходу, крупным валом, и по-одинаковому, без спадов и нарастаний. Приблизительно так же, как, все время что-то говоря, выбрасывала она упругие руки, раздеваясь, она потом на расвете, за разговором, упираясь животом в столовое крыло и валя пустые бутылки, додувала свои и Сережины подонки. И приблизительно по-такому же, в той же степени, стоя в длинной рубахе спиной к Сереже и отвечая через плечо, без стыда и бесстыдства прудила в жестяной таз, внесенный в комнату тою старухой, что их впускала. Ни одного из ее движений нельзя было предугадать, и ее надтреснутую речь подымал и опускал тот же жаркий бросовой нахрап, что сбивал набок ее пряди и горел в ее расторопных руках. В ровности этого проворства и заключался ее ответ судьбе. Вся человеческая естественность, ревушая и срамословящая, была тут, как на дыбу, поднята на высоту бедствия, видного отовсюду. Окружностям, открывавшимся с этого уровня, вменялось в долг тут же на месте одухотвориться, и по шуму собственного волнения можно было слышать, как дружно, во всей спешности обстраиваются мировые пустоты спасательными станциями. Острее всех острот здесь пахло сигнальной остротой христианства.

В исходе ночи переборку колыхнуло незримым мановеньем двора. Это ввалился в сени ее покровитель. Нюх на чужое присутствие, самый верный из его доходов, не оставлял его и в чернейшем хмелю. Тихонько переступая в тяжелых сапогах, он, как вошел, тотчас же тихо рухнул где-то рядом за переборкой и, ничем не сказавшись, вскоре перестал существовать. Его тихое ложе стояло, вероятно, доска о доску с промысловой кроватью. Вероятно, это был ларь. Едва он захрапел, как в него снизу живым и жадным долотом ударила крыса. Но опять наплыла тишина. Храпа вдруг не стало, крыса притаилась, и по комнате пробежал знакомый ветерок. Существа на гвоздях и клею признали хозяина. Все, чего не смели тут, смел вор за стеной. Сережа спрыгнул на пол. «Куда ты, убьет!—всем нутром прохрипела Сашка и.

протащившись по постели, повисла на его рукаве.—Сердце сорвать не штука, а уйдешь, спину мне подставлять?» Но Сережа и сам не знал, куда рвался. Во всяком случае, это была не та ревность, которая помешалась Сашке, хотя она и не меньшей страстью подплывала к сердцу. И если что когда, подобно упряжной приманке, было выкинуто наперевес человеку, в залог его вечного хода, то именно этот инстинкт. Это была ревность, которою мы иногда ревнуем женщину и жизнь к смерти, как к неизвестному сопернику, и рвемся на волю за волею, для вызволения той, кого ревнуем. И, конечно, тут пахло все тою же остротой.

Было еще очень рано. По ту сторону мостовой, в широких дверях лабазов уже угадывались раскидные листы тройных железных створ. Пыльные окна серели, до четверти налитые круглым булыжником. На Тверских-Ямских, как на весах, лежал рассвет, и воздух казался мелкой сенной трухою, беспрестанно им отделяемой. У стола сидела Сашка. Блаженная сонливость кружила и несла ее, как вода. Она болтала без умолку, и ее говор походил на здоровое, дремлющее животное. «Эх ты, Виновата Ивановна!»—не слыша своих слов, тихо приговаривал Сережа. Он сидел на подоконнике. А по улице уже проходили люди.

«Нет, ты не медик», — говорила Сашка, навалясь боком на доску. Она то ложилась щекою на локоть, то, выпрямив руку, всю ее медленно оглядывала сбоку, от плеча к кисти, точно это не рука была, а далекая дорога или ее жизнь, видная ей одной. «Нет, ты не медик. Медики другие. Я вас простотки не знаю как — ну, иное, когда сзади идет, не видать — хвостом признаю. Небось, учитель? Ну, вот. А то я до смерти простуды боюсь. Да ты не медик, нечего и спрашивать. Ты, послушай, не из татар ли, а? Ты приходи. Днем приходи. Ты адреса-то не потеряешь?» Они беседовали вполголоса, и Сашку то разбирал бисерный задорный хохоток, то одолевала зевота с почесотой. Она с детской ненасытностью, точно возвращенным достоинством, наслаждалась этой безмятежностью, очеловечивавшей еще больше того и Сережу.

Промежду болтовни, назвав Польшу царством польским, она хвастливым кивком на стену, где в глянцеvitом гнезде прочих карточек лоснилось чучело благодушного унтера, выдала самое для нее далекое и заветное, то-есть вероятного всему первопричинника. Вероятно, к нему и вела, от плеча к кисти, ее полная, терявшаяся в даях, рука. А может быть, и не к нему. Вдруг, подобно сухому селу, разом зажглась заря, и вся вдруг, как сено, сгорела. По лобасто-пузырчатым стеклам поползли мухи. Фонари и тумбы обменялись зверскими зевками. Весь в разбегающихся искрах, затлев, занялся день. Тут Сережа почувствовал, что никого еще так сильно не любил, как Сашку, и тут же в мыслях увидал, как, куда-нибудь подале к кладбищам, мостовая обязательно в мясных красных пятнах, и булыжник на ней крупнее и реже, как у застав. Поперек же нее, отрываясь

и уходя, отрываясь и уходя, спокойно скользят товарные вагоны, пустые и со скотиной. Вдруг происходит нечто подобное крушению, движенье чем-то перехватывается, из глубины подымается отсеченный конец улицы. Это тем же ходом, друг дружке в наверст, друг дружке в наверст идут порожняком платформы, но их не видно за плотной стеной людей и телег у переезда. Тут крапива и курослеп и пахло бы полевою мышью, когда бы не гарь. И тут же бойко шестилетнею вострушкой юлит сопливая Сашка. Наконец, всех'позднее и в страшных попыхах,— точно спрашивая у стоящих, не видали ли вагонов, не пробегали ль,— задом, задом поспешает черный потный паровоз. Вот шлагбаум подымается, улица, улица разбегаются прямой стрелою, вот сейчас с двух сторон, врезаясь друг в друга, двинутся возы и человеческие расчеты. И тут на середку мостовой теплым желудком чудища, травяным, трижды скрученным, мешком брякается паровозный дым, тот самый, может стать, ливер, которым питается окраинная беднота. И Сашка путается и поглядывает, как страшен он средь чайных и колониальных товаров, с продажею сигар и табаку, и кровельного железа, и городских, а про ее глаза и пятки где-то тем временем пишут «Детство женщины». На мостовой пахнет овсом, и она до головной просто-таки боли припечатана солнцем по конской моче. И вот, не миновав-таки простуды, которой так боялась, потеряв глаза и пятки, и нос и разум, перед тем как слечь в больницу, а то и в могилу, забегает она на минутку за книжкой, в которой, говорили, про это все прописано, ну просто-таки про все, про все, и вот видно, правда, дурой жила, дурой и помирать. Ей и на тротуар нельзя, отрядом по мостовой ведут, а ей вишь что приспичило. Сбрехнули, а она, дура, и подхвати, просто смешно. Про другую это все, и фамилия не русская и город другой. Вот городской при книжке холщевой, с тесемкою, там и она, в ней и читай. Ну и — (мгновенный нажим похабной собачки) — та тра тра та та та,— конец один. И городские смотрят ласковей. Баб они ведут огнестрельных, а у благородной публики язык на предохранителе.

— Ты что это призадумался? Ты б на других посмотрел. Ты на меня не гляди, я — что, я против них простатки сказать — барыня.

Ты на то не смотри, час ли там какой или еще что, может, скажешь, спят, — много ты про нас понимаешь, ой уморил, ой помру, ха-ха-ха.— Ты днем приходи. А об нем не думай. Ты его не бойся, он смирный, ну, конечно, когда не трогать. Ведь вот ты в дверь — он из двери, а то либо, вишь, спит, поди добудись, да вперед найди. Потемки не ступишь. И чего дался он тебе, не понимаю, диви б мешал. Другие бывали, не обижаются. Тоже, которые благородные, вашего звания.

Ну готово, теперь только пудру и сумочку не забыть, на, поддержи. Ну, пойдем, до Садовой провожу, авось назад не скучать, дело привычное. Что день, что утро — глазок скосишь, так в руки и плывут, так и плывут. Ай тебе не к Страшному? Ну, ладно, прощай, смотри не забывай. А я одна пойду, кобелям поваднее. Адреса-то не потеряешь?

Улицы натошак были стремительно прямы и хмуры. По их пролетному безлюдью еще носился сизый, сластолюбивый гик пустоты. Изредка одиночками навстречу попадались сухопарые людоеды. Вдалеке на шоссе дугой голубиной грудью колотился все об одно какое-то место скачущий лихач. Сережа шел в Самотеки и за версту от Триумфальной воображал будто слышит, как Сашке свистнули с тротуара на тротуар, она же замедлилась, сама игриво любопытствуя, кто кого, то-есть кликнувший ли перейдет через дорогу или кликнутая. Хотя день только начался, но в сутолочной липовой листве уже висели запутавшиеся нити зноя, бредовые, как крошки в бородах у покойников. И Сережу знобило.

4

Богатство следовало раздобыть немедленно. И, разумеется, — не работою. Заработок не победа, а без победы не может быть освобожденья. И, по возможности, без громких общностей, без привкуса легенды. Ведь и в Галилее дело было местное, началось дома, вышло на улицу, кончилось миром. Это были бы миллионы, и если бы такой вихрь пролетел по женским рукам, обежав из Тверских-Ямских хотя одну, это обновило бы вселенную. А в этом и нужда, — в земле, новой с самого основанья. Главное, — говорил себе Сережа, — чтобы не раздевались они, а одевались; главная вещь, чтобы не получали деньги, а выдавали их.

Но до исполненья плана, — говорил он себе (а плана-то никакого не было), — надо достать совсем другие деньги, рублей двести или хоть полтора. (Тут Нюра Рюмина вставала в сознании и Сашка; и Анна Арильд Торнскюльд была не на последнем месте) И это — суммы совсем иного назначенья. Так что, в виде временной меры, их, не колеблясь, можно принять и из честного источника. Ах, Раскольников, Раскольников! — повторил про себя Сережа. Только при чем же закладчица? Закладчица — Сашка в старости, вот что. — Но хотя бы и законно, — откуда их достать, вот в чем вопрос. У Фрестельнов забрано на два месяца вперед, продать нечего.

Это было в один из первых дней июня месяца. Гарри стали выводить на прогулки. В особняке опять начали снаряжаться на дачу. Арильд возобновила отлучки по делам, прерванным на срок Гарриной болезни. Скоро ей представилось место в отъезд в Полтавскую губернию в военную семью. «Not Souvaroff, — the other»¹⁾

¹⁾ Не Суворов, другой...

полногорло прокартавила она на лестнице, лентясь подняться за письмом, — J forgef always¹⁾), — и Сережа перебрал все вероятия от Кутузова до Куропаткина, пока не оказалось, что это — Скобелевы — awfully! I cannot repeat. How do you pronounce if? ²⁾). Условия были выгодные, но снова, и в который уже раз, ей пришлось задержаться решеньем. И вот почему. Едва получив предложенье, она захворала, и по жестокости болезни все решили, что это она схватила от Гарри. Между тем сильный, как в кори, жар, в первый же вечер сваливший ее в постель и зашедший за сорок градусов, на другое утро так же стремительно упал до тридцати пяти с десятými. Все это осталось загадкой, врачом, не раз'ясненной, и до крайности бедняжку ослабило. Теперь последствия припадка проходили, и особняк раз или два опять уже огласился громами Aufschwümg'a³⁾), как в дни, когда Сереже о Раскольниковских дилеммах и не мечталось.

Того же числа госпожа Фрестельн с утра повезла Гарри к знакомым на Клязьму, с намерением у них и заночевать, если допустит погода и будет случай. Уехал также куда-то и сам. Половина дня прошла, как при хозяевах. Лаврентий, правда, чтобы услужить, предложил было Сереже подать вниз, но он предпочел людей из заведенного распорядка не выводить и, сам не заметив, как это случилось, отобедал наверху в строгой верности часу и даже месту, какое занимал за столом вторым по счету с правого края.

Итак, был пятый час дня, хозяев не было дома, Сережа поочередно думал то о миллионах, то о двухстах рублях и в этих размышлениях расхаживал по комнате. Вдруг пролетел миг такой особенной ошутительности, что, обо всем позабыв, он, как был, замер на всем шагу и растерянно насторожился. Но вслушиваться было решительно не во что. Только комната, залитая солнцем, показалась ему голее и обширнее обычного. Можно было обратиться к прерванному занятию. Но не тут-то было. Мыслей не осталось и в помине. Он забыл, о чем размышлял. Тогда он поспешно стал доискиваться хотя бы одного словесного званья думанного, потому что на обозначенья вещей мозг отзывается весь целиком как на собственную кличку и, пробудившись от оцепененья, возобновляет службу с того урока, на котором нам временно в ней отказал. Однако, и эти поиски ни к чему не привели. От них только возросла его рассеянность. В голову лезло одно постороннее.

Вдруг он вспомнил про весеннюю встречу с Коваленкой. Снова, обманно обещанная и несуществующая, повесть всплыла в его убежденьи в качестве готовой и уже сочиненной, и он едва не вскрикнул, когда догадался, что вот ведь они где, искомые деньги, по крайней мере, не те, заветные, а из честного и сотенного разряда,

1) Поминутно забываю.

2) Ужасно, не повторить! Как вы это произносите?

3) Название одной из фортепьянных пьес Шумана.

и все сообразив и задернув занавеску на среднем окне, чтобы затенить стол, не долго думая, засел за письмо к редактору. Он благополучно миновал обращение и первые живые незначительности. Совершенно неизвестно, что бы он сделал, дойдя до существа. Но в это время его слух поразила та же странность. Теперь он успел в ней разобраться. Это было сосущее чувство тоскливой, длительной пустоты. Ощущенье относилось к дому. Оно говорило, что он в эту минуту необитаем, то-есть оставлен всем живым, кроме Сережи и его забот. «А Торнскюльд» — подумал он и тут же вспомнил, что с вечера она в доме не показывалась. Он с шумом отодвинул кресло. Оставляя за собой наразлет двери классной, двери детской и еще какие-то двери, он выбежал в вестибюль. В пролете за косой дверкой, выведившей во двор, горело белое, как песок, тепло пятого часа. Сверху оно показалось ему еще более таинственным и плотоядным. «Какое легкомыслие,— подумал он, быстро переходя из покоя в покой (он знал не все),— всюду окна настезь, в доме и на дворе ни души, можно все вынести, никто не пикнет. Однако, что ж это я так наугад. Пока ее дошаришься, мало ли что может случиться». Он пустился назад, стремглав скатился по лестнице и выбежал через надворную дверку как из дома, об'ятого пламенем. И как по пожарной тревоге, тотчас же в глубине двора приотворились сени дворницкой. «Егор,— не своим голосом крикнул Сережа быстро бежавшему навстречу человеку, который на бегу что-то дожевывал и утирал углом передника усы и губы,— научи, сделай милость, как пройти к француженке (назвать ее французинкой, как во всей точности титуловала дворня датчанку и всех ее предшественниц, у него не хватило духу). Да скорей, пожалуйста, мне тут Маргарита Оттонова наказала с утра ей кое-что передать, а я только вот вспомнил». «А вон окошко» — торопливо доглатывая жеванное, коротко, длинной в глоток, вякнул дворник и затем, подняв руку и мотнув освобожденной шеей, пошел совсем по-другому сыпать, как туда попасть, все время глядя не на Сережу, а в сторону, на соседнее владенье. Оказалось, что часть убогого трех'этажного здания из небеленого кирпича, прямым вгибом примыкавшего к особняку и арендовавшегося у Фрестельнов под гостиницу, откροена в этой смежности под надобности хозяев и что в нее есть доступ снизу из особняка по коридору, мимо детской половины. В эту узкую полосу, выделенную из гостиницы глухой внутренней стеною, попадало по комнате на этаж. На третий и приходилось окно камеристки. «Где все это было уже раз?» — любопытствовал Сережа, топая по коридору, когда на муровой меже, разделявшей обе кладки, под его ногами прогромыхали наклонные половицы добавочного настила. Он было и вспомнил где, да не стал вникать, потому что в ту же минуту прямо перед ним чугунною улиткой повисла винтовая лестница. Заключив его в свое витье, она стеснила его в разбеге, чем

и заставила отдышаться. Но сердце билось у него еще достаточно гулко и часто, когда, раскружась до конца, она прямо подвела его к номерной двери. Сережа постучался и не получил ответа. Он сильнее надобности толкнул дверь, и она с размаху шмякнулась о простенок, не породив ничего возражения. Этот звук красноречивее всякого другого сказал Сереже, что в комнате никого нет. Он вздохнул, повернулся и, наклонясь, взялся уже за винтовые перила, но, вспомнив, что оставил дверь настежь, вернулся ее притворить. Дверь разворачивалась направо и, сунувшись за дверной ручкой, туда и следовало глядеть, но Сережа бросил воровской взгляд налево и так и обомлел.

На вязаном покрывале кровати, фасонными каблуками прямо на вошедшего, в гладкой черной юбке, широко легкой напрочь, праздничная и прямая, как покойница, лежала навзничь миссис Арильд. Ее волосы казались черными, в лице не было ни кровинки. «Анна, что с вами?» — вырвалось из груди у Сережи, и он захлебнулся потоком воздуха, пошедшим на это восклицание. Он бросился к кровати и стал перед нею на колени. Подхватив голову Арильд на руку, он другою стал горячо и бестолково наискивать ее пульс. Он тискал так и сяк ледяные суставы запястья и его не доискивался. «Господи, господи» — громче лошадиного топота толклось у него в ушах и в груди, тем временем как, вглядываясь в ослепительную бледность ее глухих, полновесных век, он точно куда-то стремительно и без достижения падал, увлекаемый тяжестью ее затылка. Он задышался, и сам был недалеко от обморока. Вдруг она очнулась. You, friend? ¹⁾), — невнятно пробормотала она и открыла глаза.

Дар речи вернулся не к одним людям. Заговорило все в комнате. Она наполнилась шумом, точно в нее напустили детей. Первым делом, вскочив с полу, Сережа притворил дверь. «Ах, ах» — без цели топчась по комнате, повторял он что-то в блаженной односложности, поминутно устремляясь то к окну, то к комоду. Хотя номер, выходящий на север, плыл в лиловой тени, однако, аптечные этикетки можно было прочесть в любом углу, и вовсе не требовалось, разбирая пузырьки и склянки, подбегать с каждой в отдельности к свету. Делалось это лишь с тем, чтобы дать выход радости, требовавшей шумного выраженья. Арильд была уже в полной памяти, и только, чтобы доставить Сереже удовольствие, уступала его настояниям. Ему в угоду она согласилась нюхать английскую соль, и острота нашатыря пронзила ее так же мгновенно, как всякого здорового человека. Заслезенное лицо застлалось складками удивленья, брови стали уголками вверх, и она оттолкнула Сережину руку движеньем, полным возвратившейся силы. Он также заставил ее принять ва-

¹⁾ Это вы, друг?

лерьянки. Допивая воду, она стукнула зубами об рант стакана, при чем издала то мычание, которым дети выражают полностью утоленную потребность. «Ну, как наши общие знакомые, уже вернулись или еще гуляют?» — отставив стакан на столик и облизнувшись, спросила она и, приподняв подушку, чтобы сесть поудобнее, осведомилась, который час. «Не знаю, — ответил Сережа, — вероятно, конец пятого». «Часы на комод. Посмотрите, пожалуйста, — попросила она и тут же удивленно прибавила: не понимаю, на что вы там зазевались. Они на самом виду. А, — это Арильд. За год до смерти». «Удивительный лоб». — «Да, неправда ли?» — «И какой мужественный! Поразительное лицо. Без десяти пять». — «А теперь еще плед, пожалуйста, — вон на сундуке; так, спасибо, спасибо, прекрасно, я, пожалуй, немножко еще полежу».

Сережа раскачал и тугим пинком распахнул неподатливое окно. Комнату колыхнуло емкостью, точно в нее ударили, как в колокол. Пахнуло тягучим духом желтых одуванчиков, травянисто-резиновым запахом красных бульварных рогаток. Крик стрижей кинулся путаницей к потолку. «Вот, положите на лоб, — предложил Сережа, подавая Арильд полотенце, политое одеколоном. — Ну, как вам?» «О, бесподобно, разве вы не видите?» Он вдруг почувствовал, что не в силах будет с ней расставаться. И потому сказал. «Я сейчас уйду. Но так нельзя. Это может повториться. Вам надо расстегнуть ворот и распустить шнуровку. Справитесь ли вы со всем этим сами? В доме никого нет». — «You'll not dare¹⁾...». — «О, вы меня не поняли. К вам некого послать. Ведь я сказал, что уйду» — тихо перебил он ее и, понурив голову, медленно и неповоротливо направился к двери. У порога она его окликнула. Он оглянулся. Опершись на локоть, она протягивала ему другую руку. Он подошел к ее изножью. «Some fear, I did not wish to offend you²⁾». Он обошел кровать и сел на пол, поджав ноги. Поза обещала долгую и непринужденную беседу. Но от волнения он не мог вымолвить ни слова. Да и говорить было не о чем. Он был счастлив, что не под винтовую лестницей, а еще при ней, что не сейчас еще перестанет ее видеть. Она собралась прервать молчание, тягостное и несколько смешное. Вдруг он стал на колени и, упершись скрещенными руками в край тюфяка, уронил на них голову. У него втянулись и разошлись плечи, и, точно что-то размалывая, ровно и однообразно заходили лопатки. Он либо плакал, либо смеялся, и этого нельзя было еще решить. «Что вы, что вы. Вот не ждала! Перестаньте, как вам не стыдно» — зачастила она, когда его беззвучные схватки перешли в откровенное рыданье. Однако (да она это и знала), ее утешенья только благопритствовали слезам, и, глядя его по голове, она потворствовала новым их потокам. А он и не сдерживался. Сопротивленья повело бы к за-

¹⁾ Вы не осмелитесь...

²⁾ Подойдите, я не хотела вас обидеть.

тяжке, а тут имелся большой застарелый заряд, который хотелось известить как можно скорее. О, как радовало его, что не устояли и сдвинулись, наконец, и поехали все эти Сокольники и Тверские-Ямские и дни и ночи двух последних недель. Он плакал так, точно прорвало не его, а их. И действительно, их несло и крутило, как подмытые бревна. Он плакал так, будто ждал от бури, внезапно ударившей как из облака, из его забот о миллионах, каких-то очистительных последствий. Словно слезы эти должны были иметь влияние на дальнейший ход житейских вещей.

Вдруг он поднял голову. Она увидела лицо, омытое и как бы отнесенное вдаль туманом. В состоянии какого-то старшинства над собой, будто прямой себе опекун, он произнес несколько слов. Слова были окутаны тою же пасмурной, отдаляющей дымкой. «Анна,— тихо сказал он,— не спешите отказом, умоляю вас. Я прошу вашей руки. Я знаю, это не так говорится, но как мне это выговорить? Будьте моей женой» — еще тише и тверже сказал он, внутренне затрепетав от нестерпимой свежести, на которой вплыло это слово, впервые впущенное им в жизнь и ей равновеликое. И, выждав мгновенье, чтобы справиться с улыбкой, всколебленной им на какой-то предельной глубине, он нахмурился и прибавил еще тише и тверже прежнего: «Только не смейтесь, прошу вас,— это вас уронит».

Он поднялся и отошел в сторону. Арильд быстро спустила с кровати ноги. Состояние ее духа было таково, что, при совершенном порядке, платье ее казалось смятым, волосы — растрепанными. «Друг мой, друг мой, ну можно ли так,— давно уже говорила она, при каждом слове порываясь встать и поминутно об этом забывая, и, что ни слово, как виноватая, удивленно разводила руками. — Вы с ума сошли. Вы безжалостны. Я лежала без памяти. Я с трудом привожу в движенье веки,— слышите ли вы, что я говорю? Я не мигаю, а шевелю ими, понимаете вы это или нет? И вдруг такой вопрос, и в упор! Но не смейтесь и вы. Ах, как вы меня волнуете» — как-то по-другому, будто в скобках и про себя одну, воскликнула она и, соскочив на ноги, быстро подбежала с этим восклицанием, как с ношей, к комоду, по другую сторону которого, локоть в доску, подбородок в ладонь, стоял он, хмуро ее слушая. Она ухватилась обеими руками за углы бортовой кромки и, покачиваньем всего корпуса выделяя доводы особо разительные, продолжала, обдавая его светом постепенного побеждаемого волнения. «Я ждала этого, это носилось в воздухе. Я не могу вам ответить, ответ заключен в вас самих. Может быть, все когда-нибудь так и будет. И как бы я этого хотела! Потому что, потому что ведь вы не безразличны мне. Вы, конечно, об этом догадывались? Нет? Правда? Нет, скажите, — неужели нет? Как странно. Но все равно. Ну так вот, я хочу, чтобы вам это было известно.— Она запнулась

и переждала мгновенье. — Но я все время наблюдала вас. Есть что-то в вас неладное. И знаете, сейчас, в эту минуту, его в вас больше, чем позволяет положенье. Ах, друг мой, так предложений не делают. И дело тут не в обычае. Но все равно. Послушайте, ответьте мне на один вопрос, чистосердечно, как родной сестре. Скажите, нет ли у вас на душе какого-нибудь позора — о, не пугайтесь, ради бога. Разве несдержанное обещанье или неисполненный долг не оставляют пятен? Но, конечно, конечно, я предполагала и сама. Все это так не похоже на вас. Можете не отвечать, — я знаю: ничего из того, что меньше человека, в вас долгого и частого пребывания не может иметь. Но, — задумчиво протянула она, отчеркнув рукою в воздухе нечто неопределенно-пустое, и в голосе у нее появилась усталость и хрипота, — но существуют вещи, которые больше нас. Скажите, нет ли в вас чего-нибудь такого? В жизни это одинаково страшно, я бы этого боялась, как присутствия постороннего».

Более существенного она уже ничего не сказала, хотя при-молкла не сразу. Попрежнему двор был пуст и флигеля, — как вымер-шие. Как раньше, над ними носились стрижи. Конец дня горел, подобно былинной сече. Стрижи подплывали целой кучей медлен-но трепещущих стрел и вдруг, обратив назад острия, с криком уноси-лись обратно. Все было, как раньше. Только в комнате стало чуть темнее.

Сережа молчал, потому что не знал, совладает ли с голосом, если прервет молчанье. При всякой попытке заговорить у него удлинялся и начинал дробно подрагивать подбородок. Реветь же одному, по своей причине, без возможности свалить это на москов-ские предместья, представлялось ему постыдным. Анну до крайности удручало это молчанье. Еще больше была она недовольна собою. Важнее всего было то, что она на все была согласна, а ведь это вовсе не явствовало из ее слов. Ей казалось, что все идет из рук вон гадко, и по ее вине. Как всегда в таких случаях, она казалась себе без-душной куклой и, клевета на себя, стыдилась холодной риторики, якобы заключавшейся в ее ответе. И вот, чтобы поправить этот во-ображаемый грех, и уверенная, что теперь все пойдет по-другому, она сказала голосом всего этого вечера, т. е. голосом, приобретшим сходство с Сережиным:

«Я не знаю, поняли ли вы меня. Я ответила вам согласьем. Я готова ждать, сколько будет надо. Но сперва приведите себя в порядок, мне неведомый, и слишком, вероятно, известный вам самим. Я сама не знаю, о чем говорю. Эти намеки подымаются во мне против воли. Угадать или догадаться — ваше дело. Затем вот что: ожиданье дастся мне не легко. А теперь довольно, а то мы изве-дем друг друга. Теперь послушайте. Если я вам, правда, дорога хоть в половину того — ну, что вы, ну, не надо, ну, прошу вас, ведь вы все уничтожите — ну, вот спасибо». — «Вы что-то хотели сказать» —

тихо напомнил он ей. «Да, конечно,— и не забыла. Я хотела попросить вас спуститься вниз. Правда, послушайте меня, ступайте к себе, умойте лицо, пройдитесь, надо успокоиться. Вы не согласны? Ну, хорошо. Тогда другая просьба, бедный вы мой. Ступайте все-таки к себе и обязательно умойтесь. Нельзя с таким лицом казаться на люди. Подождите меня, я зайду за вами, мы пройдемся вместе. И перестаньте мотать головой. Смотреть тоска. Ведь это самовнушение. Заговорите, попробуйте,— положитесь на меня.

Опять прогромыхали под ним пустоты скошенного надполья, опять вспомнился институтский двор. Опять мысли, вызванные воспоминаньем, понеслись лихорадочно-машинальной чередой, до него не имевшей отношения. Опять очутился он в залитой солнцем комнате, чересчур обширной и потому производившей впечатление необжитой. За его отсутствие свет переместился. Занавеска на среднем окне уже не затеняла стола. Это был тот самый свет, желтый и косой, действие которого продолжалось наверху за углом и, вероятно, откладывало все более фиолетовые тени на кровать и комод, уставленный склянками. При Сереже это полиловенье знало еще меру и шло довольно благородно, но как ускорится оно, наверное, без него, как самовластно и победно, воспользовавшись его уходом, накинутся на нее стрижи. Еще есть время предотвратить насилие и нагнать ушедшее, еще не поздно начать все сызнова и кончить по-другому, еще все это можно, но скоро будет нельзя. Зачем же он тогда ее послушался и оставил?— «Ну и хорошо. Ну и допустим» — в то же время отвечал он из этого горячего Аннина ряда другим, лихорадочно-машинальным мыслям, которые неслись мимо него и до него не имели отношения. Он раздернул среднюю занавеску и затянул крйнюю, отчего свет сдвинулся и стол ушел во мрак, а вместо стола из тени вышла и до задней стены озарилась соседняя комната, по которой должна была пройти к нему Анна. Дверь туда стояла настежь. За всеми этими движениями он забыл, что должен был умыться.

«Ну, и Мария. Ну, и допустим. Мария ни в ком не нуждается. Мария бессмертна. Мария не женщина». Он стоял задом к столу, прислонясь к его краю, сложив накрест руки. Перед ним с отвратительной механичностью неслись пустые институтские помещенья, гулкие шаги, незабытые положенья прошлого лета, невывезенные Мариинны тюки. Многопудовые корзины мелькали как отвлеченные понятия, чемоданы в ремнях и веревках могли служить посылками к умозаключениям. Он страдал от этих холодных образов, как от урагана праздной духовности, как от потока просвещенного пустословья. Нагнув голову и скрестив руки, он с раздражением и тоской ждал Анны, чтобы броситься к ней и укрыться от этого пошлого скако-

вого наваждения. «Ну, и — с провалом. Благодарствуйте, и вас также. Ерундили, ерундили, а другой подоспел, и следов не найти. Ну, и дай ему бог здоровья, не знаю и знать не хочу. Ну, и — без вести, и бесследно. Ну, и допустим. Ну, и прекрасно».

А пока он обменивался колкостями с прошлым, фалды его пиджака ерзали по листку почтовой бумаги, записанному сверху и на две трети чистому. Он знал и об этом, но письмо к Коваленке тоже пока находилось в чужом ряду, с которым он пикировался.

Вдруг он в первый раз за истекший год заподозрел, что помог Ильной очистить квартиру и собрал ее за границу. Бальц подлец (как это у него внутренне назвалось). Он тут же почувствовал с достоверностью, что — угадал. У него сжалось сердце. Его резануло не прошлогоднее соперничество, а то, что в Аннин час его могло заинтересовать нечто не Аннино, получив недопустимую и для нее обидную живость. Но с тою же внезапностью он сообразил, что чужое вмешательство может грозить ему и нынешним летом, пока сам он не станет суше и положительней.

Он принял какое-то решение и, повернувшись на каблуках, обозрел комнату и стол, точно новое в жизни положение. Закатные полосы вошли в сок и набирались последней алости. Воздух в двух местах был распилен сверху до низу, и с потолка на пол сыпались горячие опилки. Конец комнаты казался погруженным во мрак. Сережа положил почтовую стопку так, чтобы было с руки, и засветил электричество. За всем этим он позабыл, что у них уговорено было с Анной пойти пройтись.

«Я женюсь, — сообщал он Коваленке, — и мне дозарезу нужны деньги. Повесть, о которой я вам говорил, я переделываю в драму. Драма будет в стихах».

И он принялся излагать ей содержание:

«Однажды, в реальных условиях нынешней русской жизни, однако, представленных так, что они получают более широкое значение, среди крупнейших воротил одной из столиц зарождается слух, который затем крепнет и обогащается частностями. Он передается изустно, подтверждения ему в газетных публикациях не ищут, потому что дело это противозаконное и по недавно преобразованному праву относится к разряду уголовных. Будто явился человек охотник запродать себя в полную другому собственность, и продаваться будет с молотка, а какой в этом смысл и корысть, будет видно на аукционе. Будто не без Уайльда тут, и будто, опять от женщин, — в звон, без угадки, где он, перекатывают по молодому купечеству той руки, что дома свои обставляют по эскизам театральных декораторов, а беседу уснащают терминами индийского духоведения. В назначенный день — ибо даже сведения о месте и дне торгов непостижимым образом до всех доходят, каждый отправляется за город с опаскою, не одурачен ли он знакомыми и не на посмеяние ли

им едет. Но любопытство сильнее, к тому же и погода чудесная, на дворе июнь месяц. Происходит все на даче, дача новая, никто из них в ней до этого раза не бывал. Народу много, все своя публика, наследники крупнейших состояний, философы, меломаны, коллекционеры, разборчивые ценители. Стулья рядами, пол приподнятый, в роде эстрады, рояль с занесенной на подпорку крышкой, от рояля несколько вбок столик, на столике молоток. Несколько широких трехстворчатых окон. Вот он выходит, это очень еще молодой человек. Тут, разумеется, будет затрудненье с именем, и действительно, как его назвать, если с первых же шагов человек сам лезет в символы. Однако, и символы бывают разные, назвать же его как-нибудь надо, назовем его временно алгебраически, ну хоть бы игреком третьим. Сразу видно, что никакого блеска не будет, что не цирком пахнет, не Калиостро, не из Египетских даже ночей, что родился человек всерьез и даже не без намерения. Видно, что дело не шуточное, что все совершится в их общую бытность на свете, без отступлений в вымысел, и что им от этого не отвертеться. И потому, со всем простодушием прозы, его, точно на углу Охотного и Дмитровки, встречают аплодисментами. Он объявляет, что тот, кто даст за него всех больше, будет волен в его жизни и смерти. Что он в одни сутки распорядится выручкой, как задумал, и ничего себе не оставит, вслед за чем наступит его полная и беспрекословная неволя, продолжительность каковой он сейчас и полагает в руки будущего хозяина, ибо не только будет тот властен пустить его в оборот, в какой захочет, но и вовсе его прикончить, когда и как ему заблагорассудится. Подложная записка о самоубийстве, наперед обеляющая убийцу, у него готова. Любой другой документ, имеющий покрыть знаками его доброй воли все, что с ними ни случится, он изготовит при надобности, когда укажут. А теперь,— говорит игрек третий,— я поиграю вам и почитаю. Играть я буду одно непредвиденное, то-есть экспромтом, читать — готовое, хотя и свое. И вот тогда по эстраде проходит новое лицо и садится за столик. Это друг игрека третьего. В отличие от остальных друзей, распростившихся с ним поутру, этот остался при игреке, по просьбе последнего. Он любит его не меньше других, но в отличие от них не теряет хладнокровья, потому что не верит в осуществленье игрековой затеи. Служит он в казначействе, и очень исполнительный человек. Вот игрек и оставил его выкрикивать наддачи при совершении сделки, которой сам оставленный не придает цены. Он остался, чтобы помочь сбыться выдумке, в сбыточность которой не верит, а потом в заключенье отстукать друга в далекий путь по всем правилам аукционного искусства. Тут начинается дождь».

«Тут начинается дождь» — вывел Сережа на краю восьмого листочка и перенес писанье с почтовой бумаги на писчую. Это был первый черновой набросок из тех, что пишутся один или два раза в жизни,

ночь напролет, в один присест. Они по необходимости изобилуют водой, как стихией, по самой природе предназначенной воплощать однообразные, навязчиво-могучие движенья. Ничего, кроме самой общей мысли, еще неоформленной, в такие первые вечера не оседает на записи, лишенной живых подробностей, и только естественность, с какой рождается эта идея из пережитых обстоятельств, бывает поразительна.

Дождь был первой подробностью наброска, остановившей Сережу. Он перенес ее с осьмушки на бумагу четвертного формата и принялся марать и перемарывать, добиваясь желанной наглядности. Местами он выводил слова, которых нет в языке. Он оставлял их временно на бумаге, с тем, чтобы потом они навели его на более непосредственные протоки дождевой воды в разговорную речь, образовавшуюся от общенья восторга с обиходом. Он верил, что эти промоины, признанные и всем понятные, придут ему на память, и их предвосхищенье застигало его зреньем слезами, точно оптическими стеклами не по мерке.

Если бы он не сидел, как всякий пишущий, несколько боком к столу, обратив спину к обоим доступам в комнату, или на минуту повернул голову вправо, он бы до смерти напугался. В дверях стояла Анна. Она исчезла не мгновенно. Отступив на шаг, на два от порога, она простояла на виду и в близком соседстве ровно столько, сколько ей казалось надобным, чтобы не дать лишку ни в вере, ни в суеверьи. Ей не хотелось тягаться с судьбой ни намеренной мешкотностью, ни слепой поспешностью. Она была одета как на прогулку. В руках у ней был туго свернутый зонт, потому что за истекший промежуток она не порвала связи с миром, и в комнате у ней было окно. К тому же, как спуститься к Сереже, она благоразумно взглянула на барометр, стоявший на урагане. Выросши, подобно облаку, за Сержиной спиной, она хотя и во всем черном, белела и дымилась в закатной полосе нестерпимой крепости, которая била из-под сизо-лиловой грозовой тучи, наседавшей на сады переулка. Потоки света растворяли Анну вместе с паркетом, который едко клубился под ней, как что-то парообразное. По двум-трем движеньям, произведенным Сережей, Анна, как в игре в короли, разгадала и его беду и ее пожизненную неисправимость. Уловив, как двинул он подушкой кулака по глазу, она отвернулась, подобрала юбку и, пригибаясь на ходу, в несколько сильных и широких шагов вышла на цыпочках из классной. Попав в коридор, она пошла по нему лишь немного поспешнее и опустила юбку, а то с тем же покусываньем губ и так же бесшумно.

Отказывать ему не приходилось трудиться. Все произошло само собой. Ее окно уже во всю ширь было занято перемещеньями неба. По виду его лиловых нагромождений было ясно, что уже и до ближайшего угла сухой не добежать. Тем скорее надо было что-нибудь предпринять, чтобы только не оставаться одной с этой свежей и быстро нарывавшей тоскою. При одном допущеньи, что можно на всю ночь застрять у себя в одиночестве, она леденела от ужаса. Что же сталось

бы с ней, если бы это еще и случилось? Пробежав двором в переулок, она невдалеке от дома наняла извозчика, стоявшего с уже поднятым верхом. Она поехала в Чернышевский переулок к знакомой англичанке, в надежде, что погода будет долгая и неистовая, так что ее нельзя будет отпустить домой, и знакомой волей-неволей придется приютить ее на ночь.

Итак, на даче начинается дождь. Вот что совершается перед окнами. Старые березы целыми стаями отпускают листья на волю и устраивают им проводы с пригорка. Тем временем свежие вороха, пугаясь у них в волосах, взвиваются белесыми вихрями нового пореденья. Проводив их и потеряв из виду, березы поворачиваются к даче, наступает тьма, и еще раньше, чем раздастся первый удар грома, внутри начинается игра на рояле.

Темой своей игрек избирает ночное небо в том виде, в каком оно выйдет из бани, в кашемировом пуху облаков, в купоросно-ладанном пару трепанной рощи, с сильным проступом звезд, промытых до последних скважинок и будто ставших крупнее. Блеск этих капель, которым никак не расстаться с пространством, как бы они от него ни старались оторваться, им уже развешан над инструментальной чашей. Теперь, разбегаясь по клавиатуре, он бросает сделанное и возвращается к нему, предает его забвенью и наводит на память. Стекла плющатся потоками ртутного студня, перед окнами с охалками огромного воздуха ходят березы и всюду им сорят, осыпая косматые водопады, а музыка, знай, отвешивает поклоны направо и налево и все что-то с дороги обещает.

И замечательно, всякий раз, как кто-нибудь пробует усомниться в честности ее слова, играющий обдает маловера каким-то неожиданным, упорно-возвращающимся чудом в звуках. Это чудо его собственного голоса, то-есть чудо их завтрашнего способа чувствования и запоминанья. Сила этого чуда такова, что она шутя могла бы раскрыть таз фортепьяну, попутно сокрушив кости купечеству и венским стульям, а она рассыпается серебристою скороговоркой и звучит тем тише, чем чаще и шибче возвращается.

Так же точно он и читает. Он выражается так: я прочту вам столько-то полос белого стиха, столько-то колонок рифмованного. И опять, всякий раз, как кому-нибудь кажется, будто этому ковровому вранью безразлично, лечь ли теменем или пятками в полюс, появляются описанья и уподобленья невиданной магниточувствительности. Это — образы, то-есть чудеса в слове, то-есть примеры полного и стрелоподобного подчиненья земле. И, значит, это — направленья, по которым пойдет их завтрашняя нравственность, их устремленность к правде.

Но как странно, видимо, переживал все этот человек. Точно кто попеременно то показывал ему землю, то прятал ее в рукав, и живую крассту он понял, как предельное отличие существования от несущест-

ствованья. В том-то и новизна его, что эту разницу, мыслимую не долее мгновенья, он удержал и возвел в постоянный поэтический признак. Но где он мог видеть эти явления и исчезновенья? Не голос ли человечества рассказал ему о мелькающей, в смене поколений, земле?

Все это сплошь и без изъятий — непреложное искусство, все оно говорит о бесконечностях по нашепту границ, все рождается из богатейшей, бездонно-задушевной земной бедности. Он перемежает игрою чтение, он слышит шелест французских фраз, его обдают духами. Его вполголоса просят забыть обо всем, и только продолжать исполняемое и не прекращать его, — и все это не то.

И вот он поднимается и говорит, что их любовь до него доходит, но что они полюбили его недостаточно. А то бы они вспомнили, что они на аукционе, и для чего он их собрал. Он говорит, что не может им открыть своих планов, а то они опять вмешаются, как бывало уже столько раз, и предложат другой выход и другую помощь, и даже, может статься, более щедрую, но обязательно не полную и не ту, которую ему подсказало сердце. Что в той крупной купюре, в какой выпущен человек, ему нет приложенья. Что ему надо разменять себя, и они должны ему в этом помочь. И пускай его затея кажется им губительной причудою. Все равно, он либо слышен им весь, либо нет. И если он им слышен, то пусть тогда и слепо ему подчинятся. Он возобновляет игру и чтение, в перерывах трещат имена числительные, праздным рукам и глотке приятеля подыскивается работа, и вот, через минут двадцать безрассуднейшей лихорадки, в самый разгар глицериновой хрипоты, на последнем гребне беспримерной испарины он достается наизадушевнейшему из искателей, человеку строжайших правил и прославленному благотворителю. И не сразу, не в этот еще вечер отпускает его тот на свободу.

5

Разумеется, это не подлинник Серезиной записи. Но он и сам не довел ее до конца. В голове у него осталось много такого, что не попало на бумагу. Он как раз обдумывал сцену городских беспорядков, когда в комнату, ведя за руку упирившегося Гарри, видно стыдившегося предстоявшего скандала, вломилась Маргарита Оттовна, насквозь мокрая и разъяренная.

По Серезиной мысли предполагалось, что у благотворителя с подневольным на третий, скажем, день сделки произойдет разговор большой значительности и проникновенности. Было задумано, что, поселив игрека отдельно и истомив его роскошью ухода, а себя — заботами, богач не вынесет тоски и пойдет к нему в пристройку с просьбою, чтобы тот шел на все четыре стороны, потому что ему никак не придумать, как им воспользоваться подостойнее. А игрек откажется. И вот в ночь этого разговора им должны будут принести в деревню весть о происшедших в городе беспорядках, начавшихся с буйств в околотке,

куда игрек подбросил свои миллионы. Обоих эта новость обескуражит, игрека же в особенности тем, что в буйствах, далеко прогремевших, он усмотрит поворот к прежнему, а он надеялся на обновление никому неведомое, то-есть на полное и бесповоротное. И тогда он уйдет...—Нет, это неслыханно, я зонтик чуть не сломала, je l'admets á l'égard des domestiques, mais qu'en ai-je á penser, si...¹⁾ Но, боже, что с вами? Вы нездоровы? А я-то хороша. Постойте минуту, сейчас.

— Гарри, моментально, моментально в постель. Разотрете его водкой, Варя, а поговорим завтра, нечего носом сопеть, надо вперед было думать. Ступай, Гарюша. Пятки, пятки главное, а грудь скипидаром. Завтра всем ласка найдется, и вам, и Лаврентию Никитичу, а с миссис первый ответ.

— А что она сделала?

— Наконец-то. Я при них не хотела. Я сразу ничего не заметила, не сердитесь. У вас неприятности? Что-нибудь в семье?

— Все-таки, виноват, чем вам не угодила миссис?

— Какая миссис? Ничего не понимаю. Как вы покраснели. Ага, так вот оно что. Так, так. Ну, хорошо. Да, так значит, — о моей камеристке. Ее нет с утра. Она ушла со двора вместе с остальной прислугой. Но те хоть к вечеру одумались.—

— А миссис Арильд?

— Но это неприлично. Почему я знаю, где ночует миссис Арильд? Suis-je sa confidente? ²⁾ Я вот зачем у вас задержались, добрейший Сергей Осипович. Я попрошу вас, голубчик, завтра с утра присмотреть за Гарри, чтобы он собрал свои игры и учебники. Пускай сам, как сумеет, их уложит. Разумеется, вы все это потом переделаете, и виду не подавая, что это входило в наши планы. Я чувствую, вы хотите спросить о белье и об остальных вещах? Все это поручено Варе и вас не коснется. Я считаю, что где только можно, детей надо держать в иллюзии некоторой самостоятельности. Тут и видимость вырабатывает благотворную привычку. Затем я желала бы, чтобы в будущем вы уделяли ему больше внимания, чем это делалось до сих пор. На вашем месте я бы опускала абажур чуть пониже. Позвольте, ну вот хоть так, что ли. Неправда ли, так лучше, как по-вашему? Но я боюсь простудиться. Мы едем послезавтра. Спокойной ночи.

Однажды, в начале знакомства, Сережа разговорился с Арильд о Москве и стал верить ее познания. Кроме Кремля, осмотренного ею в достаточности, она назвала ему несколько частей, в которых проживали ее знакомые. Как теперь оказалось; из перечисленных названий он удержал в памяти только два — Садовую Кудринскую и Чернышевский переулок. Откидывая позабытые направленья, точно и

1) Я это допускаю в отношении прислуги, но что думать, когда..

2) Разве я поверенная ее тайн?

Аннин выбор был ограничен его памятью, он теперь готов был поручиться, что Анна проводит ночь на Садовой. Он был в этом уверен, потому что тогда ему был прямой зарез. Отыскать ее в такой час на большой улице, без слабого представления о том, где и у кого искать, не было возможности. Другое дело Чернышевский, где ее наверняка не могло быть по всему поведению его тоски, которая, подобно собаке, бежала впереди его по тротуару и, вырываясь из рук, его за собой тащила. В Чернышевском он нашел бы ее обязательно, если бы только было мыслимо, чтобы живая Анна своей управою и сама была в том месте, куда ее еще только хотелось (и как хотелось) поместить. Уверенный в неуспехе, он бежал взглянуть своими глазами на несужденную возможность, потому что был в том состоянии, когда сердце готово лучше глотать черствейшую безнадежность, только бы не оставаться без дела.

Было полное уже утро, мутное и холодное. Ночной дождь только прошел. Что ни шаг, над серым, до черноты отсыревшим гранитом загоралось сверканье серебристых тополей. Темное небо было как молоком окроплено их беловатой листвой. Их обитые листья испещряли мостовую грязными клочками рваных расписок. Чудилось, будто гроза, уйдя, возложила на эти деревья разбор последствий, и все утро, пуланное и полное неожиданностей, — в их седой и свежей руке.

По воскресеньям Анна ходила к обедне в англиканскую церковь. Сереже помнилось с ее слов, что тут где-то поблизости должна житьствовать одна из ее знакомых. И потому со своими заботами он расположился как раз против кирки.

Он бросал пустые взгляды в открытые окна спавшего пастората, и сердце глотательными движениями подхватывало куски картины, жадно уписывая сырой кирпич флигелей вместе с мокрой зеленью деревьев. Его тревожные взоры кромсали также и воздух, который поступал всухомятку неведомо куда, минуя легкие.

Чтобы часом не навлечь чьих-нибудь подозрений, Сережа временами беспечно прогуливался по всему переулку. Только два звука нарушали его сонную тишину — Сережины шаги и шум какого-то двигателя, работавшего неподалёку. Это была ротационная машина в типографии «Русских Ведомостей». Нутро Сережи было все в кровоподтеках, он задыхался от богатства, которое должен был и еле был в силах вместить.

Силой, расширявшей до беспредельности его ощущение, была совершенная буквальность страсти, т. е. то ее качество, благодаря которому язык кишит образами, метафорами и еще более того загадочными образованиями, не поддающимися раз'яснению. Разумеется, весь переулочек в его сплошной сумрачности был кругом и целиком Анною. Тут Сережа был не одинок и знал это. И правда, с кем до него этого не бывало. Однако, чувство было еще шире и точнее, и тут помощь друзей и предшественников кончалась. Он видел, как больно и трудно Анне быть городским утром, то-есть во что обходится ей свержчело-

вечское достоинство природы. Она молча красовалась в его присутствии и не звала его на помощь. И, помирая с тоски по настоящей Арильд, то-есть по всему этому великолепию в его кратчайшем и драгоценнейшем извлечении, он смотрел, как, обложенная тополями, точно ледяными полотенцами, она засасывается облаками и медленно закидывает назад свои кирпичные готические башни. Этот кирпич багрового, нерусского обжига казался привозным, и, почему-то, — из Шотландии.

Из ночной редакции вышел человек в пальто и мягкой шляпе. Он, не оглядываясь, пошел по направлению к Никитской. Чтобы не вызывать в нем подозрений, если бы он оглянулся, Сережа перешел с газетного тротуара на шотландский и зашагал в сторону Тверской. В двадцати шагах от церкви он увидел Арильд в светелке противоположного дома. В эту минуту она подошла изнутри к окошку. Когда они справились с неожиданностью, они заговорили вполголоса, как в присутствии спящих. Это делалось ради Анниной приятельницы. Сережа стоял на середине мостовой. Было похоже, будто они говорят шопотом, чтобы не разбудить столицы. «Я давно слышу, — сказала Анна, — все кто-то ходит, не спит. А вдруг, думаю, это он. Отчего вы не подошли сразу?».

Вагонный коридор швыряло из стороны в сторону. Он казался бесконечным. За шеренгой лакированных плотно задвинутых дверей спали пассажиры. Мягкие рессоры глушили вагон. Он походил на великолепно взбитую чугунную перину.

Всего приятнее колыхались края пуховика, и, чем-то напоминая катанье яиц на пасху, по коридору в сапогах и шароварах, в круглой шапке и со свистком на ремешке катился толстый обер-кондуктор. Ему было жарко в зимней обмундировке, и в ее облегченье он поправлял на ходу строгое пенснэ. Оно поражало своей мелкотой среди крупных капель пота, слезивших сплошь его лицо, точно свежий срез мешерского сыра. В вагоне другого какого-нибудь класса, заметив Сережину позу, он бы обязательно взял пассажира за талию или другим каким-нибудь манером вывел бы из самозабвенья. Сережа дремал, положив локти на борт опущенного окошка. Он дремал и просыпался, зевал, восхищался видами и тер глаза. Он высовывался из окна и горланил мотивы, которые в свое время игрывала Арильд, и никто не слышал, как он их орал. Когда поезд с закруглений выходил на прямую, коридором завладевал стройный, неподвижный сквозняк. Власть набегавшись и нагоготавшись, дикие двери тамбуров и уборных вытягивали крылья, и под гул возраставшей скорости было удивительно чувствовать, что ты не то чтобы на тяге, а попросту сам в числе тянущей птицы, с бравурой Шумана в душе.

Из купе его выгнала не одна жара. Ему было неловко в обществе Фрестельнов. Потребна была неделя-другая, чтобы нарушившиеся отношения пришли в старый порядок. В их ухудшении он меньше всего

винил Маргариту Оттоновну. Он признавал, что если бы даже он был ей приемным сыном, а спуск и потворство ему во всем — главной ее обязанностью, то и в таком случае было ей отчего притти в отчаянье в недавней предот'ездной суматохе.

После свежего ночного выговора он изволил пропасть на весь канун от'езда, когда заведомо знал, какой содом подымается в хозяйстве в самых спозаранок. — Шторы — неожиданно взвизгивал кто-нибудь, и из кусков рогожи чудесно складывался, совершенно как живой, Егор, — шторы, вот наказанье! — Чего шторы? — Чаво шторы, рыло! Так им по-твоему и висеть? — А что им сделается. — А ты их выколачивал? — Лаврентий, чтоб тебя намочило, отстань, дьявол! — Варя, дорогая, вы, знаете ли, не на гулянье. — Но, в конце концов, чорт с ней. Арильд так Арильд. Жаль, конечно, беднягу, дрянь женщина и интриганка, но что поделаешь, раз нашла коса на камень. Однако, тогда и разговор другой, если на то пошло, и все на свете можно делать по-человечески. Поезд с Брянского пять сорок пять, проводил — и баста. И так, чтобы дома ни одна душа по тебе не сказала, где ты был и что потерял. Напротив, всякий подумает: вот истинный мужчина, вот порядочный, уважающий себя человек. Но, видно, это отсталость, и теперь все по-другому. Запереться ему, видите ли, надо с проводов, и его не смущает, что все по часам будут наблюдать, как он там... осваивается и привыкает. Ну, что тут делать? Рассчитать его? — Не замайте, барыня, вы не так, я сама подоткну, только вот — о, чтоб тебя, дьявол, гниль какая! Второй лопнул, я говорила, — веревкой. — Но как его считаешь, когда кругом такая горячка и совершенно ясно из происшедшего, что теперь ему заработок не в забаву. Но позвольте, позвольте, тогда и должность не баловство, и ею надо дорожить. В извиненье ему можно сказать, что существует новое декадентское выраженье «переживать». Однако, и переживать, то-есть выставлять свои секреты для внешнего обозренья, вероятно, можно по-человечески, между тем как на другое утро это совершенно неузнаваемый, ни на что не пригодный человек, Христос Христом, сама пассивность, предложи всерьез, головой будет ящички заколачивать, а, увы, никак не это требуется в хозяйстве и не с такою целью держат воспитателя в порядочной семье. И вот, они едут, и он с ними. Зачем же он с ними? А как его рассчитать? Между прочим, в Туле они опоздали к пассажирскому, с которым был согласован московский поезд, и в окно вагона с ужасом увидели, как побежал он вбок от них по встречному калужскому направлению. Эта ночь была ужасна. Зато их и вознаградили за десятичасовую муку. С час тому назад мимо Тулы по Сызрано-Вяземской железной дороге прошел этот дальний, и они в нем разместились с комфортом, которого не могла дать ночная пересадка. Антон Карлович и Гарри спят, хотя через двадцать минут их придется пс днать, бедняжек.

Обер-кондуктору был вагон по душе и он то и дело в него навевался. Виды же поистине попадались изумительные. Вот хотя бы в настоящую минуту, когда, застыв на всем разное, грязный и гром-

кий, поезд плыл и как бы покоился на широко заведенной дуге из крутого и жаркого песку, а против насыпи, далеко за поймами, на чуть вздрагивавшем пригорке плыла и как бы покоилась большая кудрявая усадьба. Когда б не пятнадцать верст предстоявшего пути, можно было бы подумать, что это Рухлово, так походили на все слышанное белые проблески барского дома и ограда парка, помятая неровностями косогора, на который она как бы была целиком положена, как снятое с шеи ожерелье. В парке было много серебристых тополей. «Дорогие» — прошептал Сережа и, зажмурившись, подставил волосы под прыжки встречного ветра.

Итак, вот для какой надобности существует у людей слово счастье. Хотя и это были одни беседы и он только делил ее хлопоты и снаряжал в дорогу. - - Хотя и у них будет другая, полная близость. - - Но ближе, чем в эти незабвенные десять часов, им больше никогда не стать. Все на свете понято, больше нечего понимать. Остается жить, то-есть, рассекать руками пониманье и пропадать в нем; остается нравиться ему, как оно нравится им, раскинутое кругом, с железными дорогами, проведенными по его лицу и срокам. Какое счастье!

Но какая случайность, что она заговорила о родне, как легко могло этого не случиться. Мерзавцы, много они понимают, что роняет, что возвышает род. Но об ее несчастном отце как-нибудь в другой раз (поразительный случай). Теперь понятно, откуда у ней такие знания, так что она кажется старше себя вдвое и вдесятеро холоднее. Все это у нее по наследственности. Вот почему она так спокойно всем этим владеет. Еще бы она стала себе удивляться и добиваться за свои дары шумного имени. Оно и так у ней было в девичестве, и — прегромкое.

Ее предки были выходцами из Шотландии. За этими подробностями была упомянута Мария Стюарт. И теперь невозможно было отделаться от чувства, будто этого-то имени и недоставало все утро облачному Чернышевскому переулку.

Но вот строгий обер-кондуктор тронул оглохшего путешественника за талию и предупредил, что ему и его соседям по купе слезать на следующей остановке.

Так передвигались люди тем последним по счету летом, когда еще жизнь по видимости обращалась к отдельным, и любить что бы то ни было на свете было легче и свойственнее, чем ненавидеть.

Сережа потянулся, заворочался и пошел зевать без отступу, раз от разу все неистовей. Вдруг это прекратилось. Он проворно приподнялся на локте и с трезвой быстротой осмотрелся кругом. На полу пролитою лужей стоял отсвет дворового фонаря. Зима, — сразу сообразил он, — и это первый сон у Наташи в Усолье. Никто по счастью не подсмотрел его полуживотного пробужденья. И — ах, — да ведь вот что, как бы не забыть. Ему снилось нечто бесформенное, и такое,

что и сейчас еще голову ломит. Всего замечательнее, что у этой чепухи было прозвище, пока он ее видел. Это — Лемох, но поди доищись в этом смысла. Одно несомненно, — надо встать, и аппетит у него волчий, если только он не проспал гостей.

Через минуту он уже тонул в байковых, отдававших иодоформом зятниных объятиях. У того в кулаке осталась подковырка для вскрыванья консервов, и он бросился к Сереже с рукой, отведенной на отлет. Это, вместе с торчавшей из кармана слуховой трубкой, несколько испортило сладость лобзаний, как матерьялизовавшаяся наощупь неискренность. И раскупорка консервов не могла возобновиться с прежним совершенством и захромала. Поперек коробок посыпались распросы, отрывистые и деланно-простецкие. Сережа стоял, радовался и недоумевал, зачем дурака ломать, когда можно им быть по-природному, не стараясь. Они не любили друг друга.

На столе чистым строем стояли бодрые, вполне выпавшиеся водочные рюмки. И сложный ассортимент духовых и ударных закусок радовал глаз. Над ними, по-капельмейстерски, высились черные винные бутылки и каждую минуту готовы были грянуть и отмахать оглушительное вступленье ко всяческим хохотам и каламбурам. Зрелище было тем внушительнее, что по всей России продажа вина была запрещена, завод же, как видно, жил автономною республикою.

Было уже поздно, и детей обещали показать в кроватках.

Вообще вся комната точно плавала в коньяке. От освещения ли это или от подбора мебели, но казалось, будто и полы натерты не воском, а канифолью, и нога, скользя, нащупывала под собой не завощенные расщеплины, а склеившийся и как бы нафабранный волос. Жаркой желтизною обстановки («карельская береза, ты что думаешь» — зачем-то сорвал Калязин) было, как лимонною настойкою, налито все, что обладало гранями и было способно играть. Сережа обладал этими способностями. По его расчетам, пронзительно освещенный дом должен был казаться медвежьей, синебелой ночи чем-то в роде крошечной, полной угольков конфорки, вздутой среди сугробов.

— Ага, подморозило, очень рад, — сказал он, став за полу гардины и вглядываясь во мрак. — Мда, скрепило, — рассеянно промычал зять, протирая платком заянтаренные соусами пальцы. — А то у меня сапог нет; я не привез, не догадался купить. — Дело поправимое, здесь заведешь. Но о чем мы, помилуй, тут моносказать, человек из самого, моносказать. — Нельма, сибирская рыба. И максун. Слыхал ли ты, брат, про таких? Нет? Ну вот я и сам знал, что не слышал.

Сереже становилось все веселее, и неизвестно, какой бы выходкой это у него кончилось. В это время из коридора прикатился смутный, смешанный топот ног. Там раздевались. Скоро в столовую, и все с воздуха румяные, вошли: Наташа, незнакомая Сереже девушка и сухой, определенный и очень быстрый человек, к которому Сережа и бросился вперед Калязина и поздоровался крупно, радостно и почти

испуганно. Вся веселость с него слетела. Во-первых, он знал этого человека, и, кроме того, перед ним стояло нечто высокое, чуждое и всего Сережу с головы до ног обесценивавшее. Это был мужской дух факта, самый скромный и самый страшный из духов.—Брат ваш как?.. —смущенно начал Сережа и запнулся.—Жив пока,—отвечал Лемох,—ранен в ногу; у меня на поправке; я, верно, его у себя устрою. Рад встрече. Здравствуйте, Павел Павлович. — Представьте себе, — еще растерянное замямлил Сережа, — может, он это скрывал по долгу службы, но никто не знал, что это мобилизация. Все думали, — маневры. Виноват, я не знаю, как называются эти учебные передвиженья. Во всяком случае, думали, что это что-то примерное. А это их уже гнали на войну. Словом, позапрошлым летом в июле я с ним виделся. И оцените. Их часть шла на баржах мимо нас, они пристали на ночлег как раз близ имения, где я тогда служил воспитателем. Это было за два дня до об'явления войны. Мы только потом это раскусили. Вы поняли?

— Да, я знаю про ваш разговор, брат рассказывал.

И Сережа только не сознался, что и в ту ночную встречу постеснялся спросить у вольноопределяющегося, как его фамилия.

Мальчик большеголовый

НИК. АСЕЕВ

Голос свистит щегловый;
Мальчик большеголовый!
Встань, протяни ручонки
В шелковой рубашонке.
Встань здесь и подожди-ка;
Утро сине и тихо,
Всех здесь миров граница
Сходится и хранится.

Утро сине и тихо;
Солнца мокра гвоздика.
Небо полно погоды,
Сейма сияют воды...
Пар от лугов белесый
Падает под березы.
Желтый цветок покачивая,
Пчелы гудут в акациях.

Мальчик большеголовый,
Облак плывет лиловый,
Мир — еще занят тенью—
Весь в пламенах рожденья.
В синюю плавясь россыпь,
Искрами брызжут росы.
Чуй: ючаны капусты
Шепчут тебе — забудься!

Голос звенит щегловый:
Мальчик большеголовый,
Не уходи за это
Море дождя и света!

Видишь: горя вихрами,
Сразу пять солнц играют,
Каждая пядь пространства
Молит тебя: останься!

Что тебе дни и лица?—
Сказке не вечно длиться.
Ветер, задуши дрожью,
Правду смешает с ложью;
Здесь же — светло и кратко —
Детство горит украдкой,
Счастье стоит сторицей:--
Сдуешь — не повторится!

Свет от зари багровый;
Голос гремит тигровый.
Встань и, расправив плечи,
Выйди ко мне навстречу.
Мир этот—блеск и буря
Пятнами бьет по шкуре;
Счастье — тому, кто выбрал
Крупный овал калибра!

Мальчик большеголовый,
Голос умолк щегловый.
Сумрачны и опальны,
Змеи вползли на пальмы.
В плотных лианах серых
Плоский открылся берег,
Вот далеко ушел как
В шолковой рубашонке!



Журавлиная родина

Повесть

МИХ. ПРИШВИН

(Продолжение ¹)

Х. ЖУРАВЛИНАЯ РАДОСТЬ.

На горох нет собственности в русском народе, и даже в посевной молитве своей старинный крестьянин просит у бога урожая на всех, в том числе и на долю воров. Часто указывают тоже на яблоки, но это неверно, воровство яблок пришло от оскудения. Мне однажды довелось быть в одном селе, где у каждого крестьянина был хороший яблочный сад, не было там воровства совершенно так же, как и в Германии. А с другой стороны, помнится, в последние трудные годы великой войны мне один приятель писал из Берлина, что у него на чердаке украли белье и что, если скоро не кончится война, воровство в Германии пойдет такое же, как и в России. В среднем у нас и раньше было, и теперь продолжается без больших перемен прочная собственность на предметы среднего достатка, а лишняя против всех вещь держится у хозяина его внешней силой, но не внутренним убеждением сограждан. У меня эта вещь лодка Ботик, описанная мной в книге Родники Берендея. Зимой на лошадях я перевез ее из Переславля на Дубну и с тех пор нет мне покоя. Оно и понятно: на большом Переславском озере моя долбленая лодка кажется маленьким челноком, здесь же лодки такие, что и одному надо очень осторожно сидеть, и моя лодка, способная везти до восьми человек, всем завидна. Зато вот она и не живет у меня. Приходишь к месту, говорят: рыбаки взяли. Это не обидно: подождешь возвращения рыбаков и возьмешь контрибуцию рыбой. Явится экскурсия — опять успокоишь себя полезностью дела. Даже озорник, даже пьяненький выехал и наслаждается собственным пением в тростниках: «Конница Буденного» — все я терпел, все было хорошо. Но случилось, прихожу, — нет лодки. — Кто взял? — Женотдел. Без спроса взял женотдел мою лодку! Грубым людям все я прощал, но грубости от женщин не вынес, какой-то древний инстинкт борьбы проснулся во мне и я запер эту лодку в сарае у попа в Константинове.

К этому попу в Константиново теперь я и командировал человека, сам оставаясь в трактире у Ремизова. Вьюнок — такое было

¹) См. „Новый Мир“ кн. кн. 4, 5 и 6 с. г.

деревенское прозвище посланного — скоро явился с длинным зеленым веслом в руке, босой, в мокрых штанах, но в хорошем пиджаке. Еще более странным казалось, что седеющая голова его была острижена бобриком, и оттого очень загорелое лицо его напоминало мне не то голову какого-то знакомого боевого генерала, не то галерного раба на картине Иванова. Мы не дошли еще до лодки, как этот лукавый Вьюн стал пробовать на свой оселок мое политическое расположение мыслей. Устарелое в быту название *б о л ь ш е в и к и*, везде ныне смененное *к о м м у н и с т а м и*, повторялось у него на каждом шагу. Надоедливый, неискренний зуд наскучил мне. А когда он заговорил о религии в том смысле, что не дают вовсе богу молиться, я резко оборвал его:

— Кто может запретить молиться богу про себя, при чем тут большевики?

Вьюн переменялся в одно мгновение.

— А я разве против советской власти?

Я повторил его слова и спросил:

— Как же иначе понять?

Вьюн думал очень немного и ответил:

— Конечно, скрывать нечего, я борюсь против власти, но я же за нее и стою. Вы что на это скажете?

Возражать было трудно. Мы сели в лодку. Взяв рулевое весло, я сказал:

— Ну, с богом!

Вьюн очень обрадовался и принял мое с богом к сведению.

— Вот пустяки какие, — сказал я, — это просто поговорка.

— Нет, не просто, — покачал Вьюн головой, — это вода.

— Что?

— Так: в крещение воду мы всегда освящаем, вот отчего все на воде и поминают бога. Тут охотился один высший коммунист, все на свете отвергал, а когда в лодку садился, непременно, бывало, скажет, как вы: «ну, с богом. Вьюнок!»

Мы поехали низкими берегами Константиновской долины, истари знаменитой у охотников своими бекасами. В иных местах говорят: «тут можно пройти только в болотных сапогах», здесь же я слышал не раз: «в сапогах тут никак не пройти», и это значит, что итти надо голому. Набежала тучка, дождь смешал в Дубне воду, в стороне зеленых болот опустился конец яркой радуги, осветил подробно деревенское стадо. В свете конца радуги было видно, как неопытный, вероятно, нездешний, вздумал итти в болотных сапогах ковром растолопом, вмазался, беспомощно переводил дух, а двадцатипудовые туши коров возле него своими тонкими ногами очень легко прокалывали болотную замазку. Но особенно хорошо было отличному коню, на котором без седла ехал мальчик; своими стальными ногами, как шилом, конь легко, свободно прокалывал замазку, шел почти грациозно. Тоже и девушка, высоко задрав юбку, подобно жи-

вотным, не стесняясь, успешно пересекала болото. Все под яркой радугой было красиво, и даже человека застрявшего не очень было жалко: сам виноват, зачем по такой теплыни шел в сапогах.

Продвигаясь вперед по Дубне, я перекидывал с холма на холм свою радугу, стараясь в личности Алпатова найти примиряющий момент многовековой работы ледника над землей и всемирной цивилизации над примитивными народами. В моих глазах при этом постоянно является под радугой голова моего лодочника, очень похожего, я теперь убедился, не на боевого генерала, а на галерного раба. Какое разделение! Я не могу ему доверить ни одного моего внутреннего движения, потому что, лукавый и злой, он все переврет и предаст меня. Это природный хищник. Когда озеро спустят, он мечтает не о Золотой луговине, а что караси ему достанутся. Ему перепадает от инженеров за разборку плотин. И если хоть немного пообсохнет возле его дома, а других зальет водой, он будет стоять за спуск озера. К себе в книжечку я записываю: «Вьюн делает Алпатову массу гадостей, представляя его себе обыкновенным барином или интеллигентом, но Алпатов все его шаги предусматривает и заставляет отлично работать».

Была очень короткая встреча с открытой долиной под радугой. Скоро мы вехали в дикий болотный лес. Часто ольха, обвитая хмелем, совсем закрывала нам путь, на плесах лодка визжала по телорезу, топила множество цветущих кувшинок. Берега были жидкие. С трудом мы устроились на сплетении обнаженных корней и, задыхаясь в дыму костра, спасались так всю ночь от комаров. После долгой борьбы все-таки на какой-нибудь час удалось мне уснуть. Вот, наконец-то, спит мой разум и вместе с ним воля. Но сердце работает и ночью без отдыха, создает сновидения. Не верю толкователям снов. В этих извилистых тропинках своего сердца только я один сам для себя что-то понимаю, никого не могу взять с собой на прогулку и никому об этом не могу сказать, потому что спит мой разум, нет слов. Только в момент, когда разум просыпается и разбирается в материалах всю ночь отдельно работавшего сердца, можно воспользоваться этим, и что-то дорогое для всех понять в этой заутренней дружбе разума, воли и сердца. Не отсюда ли взялась у людей мысль о предустановленной гармонии? Не тут ли и мне искать согласования ледниковой работы с цивилизацией, объединяемых творческой личностью Алпатова? В этот предрассветный час клочки сновидений расстилаются туманами, и потом все из себя переставляется в мир и оттуда обратно в себя, и так ясно, по ощущению озноба, постепенно на рассвете мир является как тело мое, и все мое тело, как дом восходящего солнца.

Все думают, будто рассветает, белея на востоке, но это неверно: белеет значительно позднее того, как восток стал отделяться от всего неба. Начинает немного рыжеть, как бывает в дороге темной ночью, заметишь рыженькое и станешь спрашивать, не в той ли стороне электрический город. Рыжее электрическое небо, постоянно висящее над

городом, происходит от слабости искусственного света, потому и на востоке в предрассветный час небо, освещенное самыми отдаленными солнечными лучами, сначала рыжеет. Но в лесу от этого перемены нет никакой, там все еще это утро считается за глухую полночь. А самому очень занятно думать, что встал и понял рассвет раньше всех птиц и зверей.

Я приставил ладони к ушным раковинам, как делают охотники, расслушивая отдаленную начальную песнь глухаря, и разобрал трепетание листиков. А везде была тишина. По моему примеру Вьюн тоже приставил ладони:

— Слышишь?

— Слышу, — тихо сказал он, — где-то осина трепещется.

Вдруг пикнула та самая птичка, по которой весной охотники узнают приближение глухариного часа: весной она поет, теперь только пикнула. Трепет осины был слышен без напряжения слуха, и рыжее пятно на востоке стало быстро белеть. Померкли звезды. Ночь разделась. Показалась и наша осина. Все одежды скинула ночь, в себе стало знобить, в мире ложилась роса. Тогда утро взялось нас всех одевать в голубое и красное. Крикнул первый журавль на первом гнезде и ему ответил журавль на втором, потом на третьем.

Я сосчитал, насколько только хватал мой слух, гнезда всех журавлей на их родине по Дубне и, когда солнце показалось, они кричали все вместе.

XI. ЗАМОШЬЕ

Встреча с хозяином тростников произошла у нас на одной заводи, такой тихой, что когда лодка коснулась береговой травы, этот шум побегал от одной тростинки к другой, как волна, и встревожил хозяина тростников. Верней всего он подумал на лисицу, оставил гнездо на островинке, раздвинул тростники и выглянул. В это время мы были от него всего в десяти шагах. Батюшки мои, как растерялся хозяин тростников, встретив лицом к лицу хозяина всей земли, как оторопел, смялся, побегал неудачно между водой и тростниками, чуть там не залутался крылом и, когда, наконец-то, справился, поднялся над плесом, то все-таки и в воздухе у него оставалось что-то в роде смущения: «во! так попал!»

С этого плеса по быстрику мы вошли в узкую борозду, канал, сделанный в болоте людьми. Продвигаясь бороздой, мы пересекли узкий такой, заросший ольхой, проток, что сверху никак бы не догадаться о воде, а между тем это было основное русло самой Дубны! Встретив Дубну, мы все-таки продолжали ехать бороздой и скоро попали на возделанный остров среди пойменных зарослей. На этом небольшом, вероятно, тоже ледникового происхождения, острове расположилась деревня Замощье. Рассказывают, будто когда-то здесь поселился лесной сторож, размножился, и так стала здесь деревня. Че-

дoveк по человеку, полоса за полосой, пришли к самому краю, к зыбучему болоту над глубиной—ни хлеба взять, ни скотину пустить. Земли-то, конечно, нарезали, да где: за болотами! Но люди все-таки приладились. Изрезали пойму бороздами и по этим каналам стали плавать: человек едет на лодке, а скотина за ним терпеливо плывет, постегивая слепней своим благодатным хвостом. Теперь, хоть не насквозь, как везде, хоть не проехать по дороге, но в'ехать в Замощье можно на лошади. Гать эта сделана отлично — с мостиками, с прочной насыпью, прямая на версту, как стрела: инженер делал.

Я тут не один раз бывал на утиных охотах. На этих плесах возле Замощья у меня явился впервые задор создать Алпатова таким, чтобы его инженерное цивилизаторское дело являлось естественным продолжением начатого без нашего ведения творчества самой природы. Как трудно передать эти неясные тени чьих-то, вероятно, отчетливых мыслей. Бывало, сидишь в челноке на плесе где-нибудь под кустом, из воды торчит телорез, на воде лежат белые бальные лилии, над головой сабли тростников, и их черные шишки в роде снарядов, утята по-свистывают, — чего-чего нет! И вот приходит в голову как бы воспоминание с догадкой, что все это было в себе, что все это я сам раскинулся и вижу себя в своем происхождении. Придет ли такое чувство на Кузнецком мосту, а между тем, случилось в тот же самый день с плеса показываться на Кузнецком, и тогда мне лица толпы являлись, как реликты постоянного творчества человека, и среди них, как в тростниках, я узнавал свое лучшее в его происхождении, отчего возникал к чужим людям интерес и, пожалуй, отчасти любовь. Алпатов должен выразить собой мое возможное лучшее. Но как это сделать, если я только словесник, а у него деловое преобразование мира? Задетый в себе в своей словесной самости, я мысленно возвращаюсь в Замощье и там открываю неиссякаемый родник удивительных слов и в них понимаю дремлющие планы великого действия; так болотный торф хранит в себе солнечную энергию, способную множество лет приводить в движение жизнь большого города.

Последний раз, помню, приплыл я сюда протоками на челноке, чтобы гатью пройти в Заболотье и посмотреть эту новую дорогу, о которой на все лады говорили в этом краю. Вез меня известный охотник Максим Трунов, человек, по-моему, прямо возвышенный, всегда восторженный, честный на редкость и не бедняк. Крайне удивительно, как мог сохранить натуру свою человек так недалеко от Москвы, но здесь этому, когда говоришь, никто не удивляется: «Бездетный, — говорят, — эко диво кормить себя да жену, так-то мы бы все хорошими были». Вот этот дядя Максим в мой последний приезд презабавно рассказывал мне, как он спас спекулянта. Было это, когда гати и в помине не было, а торговля уже началась и по миллиону платили за одного карася. Приехал рыбный спекулянт и просил свезти его к рыбакам в Заболотское озеро. Случись как раз тут щучий бой. Дядя Максим поехал на бой, а спекулянта отправил на челноке с девочкой-племянницей. И

только выбрался дядя Максим своим протоком на плес, с соседнего плеса слышит кричит его девочка, будто спекулянт ее режет, благим матом кричит: «помогите!» Трунов знал один скорый узенький быстрик, веслом пропихался и мигом приехал на место. Видит он тут над водой две головы держатся, девочкина и спекулянтлова, оба руками за ольховые ветки схватились и оба орут. И правда, как не кричать, им деться некуда, берег хуже воды, — жидкая грязь и под грязью опять глупина. Поплыл Трунов скорей спасать девочку, а спекулянт хватъ рукой за край, и в челнок сразу хлынула вода. Но во-время дядя Максим успел дать веслом по руке и занести над головой спекулянта: «Пока девочку не спасу, — терпи, тронешься — дам по лысине веслом и не воскреснешь». Посадил девочку, с большим трудом погрузил спекулянта, весь он посинел.

— Какая природа у них, — сказал дядя Максим, — лежал в челноке чуркой, в избу ввели под руки, потому в весенней ледяной воде человек окочурился. Сел он на лавку, голову опустил и слабым голосом просит:

— Дайте веревочки.

— Что за диво, — подумая, — может быть, он это со страху просит «веревочки».

— Водочки, спрашиваю, хочешь?

— Нет, — говорит, — я водки вовсе не пью, пожалуйста, дайте мне поскорее веревочки.

Принесла ему жена какой-то обрывок.

— Мало, — говорит, — дайте мне побольше тонкой бечевы.

Принесли ему бечевы. Просит гвоздиков.

— Ну, думаю, конечно, рехнулся: вешаться хочет. А жена все-таки дала ему гвоздиков. Тут вдруг он и отжил, да как забегает, как забегает по всей избе, с гвоздика на гвоздик проводит веревочки. Напослед вынимает из всех карманов мокрые пачки и — развешивать по веревочкам — тысячи, миллионы, миллиарды. Весело стало в избе: везде синенькие, красненькие, зелененькие бумажки, и он все бегаёт. дует и сушит, дует и сушит.

В Замощье все знают, как Трунов спасал спекулянта, и много всего другого расскажут, я целый короб таких рассказов собрал в последний приезд, пошел новой гатью очень богатый и тут из-под своего словесного богатства особенным каким-то глазом увидел я длинную гать, шел по ней целую версту и думал о счастье. Какое, правда, это было событие, когда впервые открылась дорога и скот не поплыл, а пошел весь вместе, женщины выбрались из домов все до одной, как в других деревнях при этом случае были с хворостинами, кричали, как и везде, спорили, скот ревел. Какой это был праздник в Замощье, какие светлые лица были у женщин, как радостно ревел скот! Много столетий тому назад у других людей начались дороги шоссейные, потом пошли дороги железные, на реках загудели пароходы, в воздухе показались аэропланы. Банкиры, летая по воздуху, по беспроволочному

телеграфу давали сигналы и делали распоряжения в свои конторы. Так много стало всего, что способность удивляться покинула мир, и радости от полетов было так мало: в кабинах так сильно качает. Наконец, чтобы скоротать скучный полет, стали по радио вызывать световые изображения знакомых и близких людей. В это время цивилизация достигла Замощья, граждане получили гать и вот как ей обрадовались, вот как заревела скотина!

ХII. СТАРАЯ ДУБНА

На заре моего сознания в русском обществе цивилизацию представляли себе не по Шпенглеру, а шли от Глеба Успенского и его знаменитой керосиновой лампы, лампа — цивилизация, а что у Шпенглера называется культурой, то понималось в поэзии утраченного лучинного быта. Моя жизнь, как мне кажется, вышла исключительно счастливой в том отношении, что ответ на загадки и шарады не откладывался, как в журналах, до следующего номера, а тут же, в этом самом номере моей жизни, приводились ответы, с наградами и без наград за верные решения, с наказаниями за неверные не розгами, как нам грозились, а прямо бамбуковыми палками, о каких и не снилось нашим наставникам. Так на заре сознания усвоил я себе восхищение перед лучинным бытом и ненависть к штампованной керосиновой лампе. Эти чувства были неверны, и я понес за них наказание: пришла такая жизнь, вовсе исчез керосин. Простому народу хоть бы что! В один миг вспомнили многовековые навыки, явилась лучина и с нею лучинные песни. В деревенской школе при лучине я занимался с учениками, и у меня беспрерывно болела голова не от копоти, а от вдыхания тех неприятных газов, которые выходят из нагретого места лучины перед тем моментом, когда огонь его схватит. Бывало простая ф и т ю л ь к а, почти лампадный по силе света керосиновый огонек, сравнительно с лучиной признавался за счастье, бывало достанешь в городе бутылку керосина, тащишь ее пешком вместе с пайком овса и, представляя себе впереди уют за книгой, освещенной фитюлькой, прославляешь керосин. Запах керосина, когда-то один из самых неприятных, стал самым хорошим, с ним стало связываться здоровье и свет. И это не один керосин. Кумач, кожа, дрова, махорка, зажигалки с какими-то австрийскими камушками, нитки, всякое вещество, необходимое в жизни, будучи в предельно малых количествах, вступило с нами в самую интимную личную связь, и через это все материальное как бы перестало быть отдельно от нас в предметах цивилизации, в роде того, как сейчас для меня: аэроплан летает по своим неведомым мне делам — предмет цивилизации, но если бы я мог сесть на свой аэроплан и полететь, куда мне только захочется, то в личном моем отношении исчез бы аэроплан, как типичная вещь современной цивилизации, и стал бы одним из добрых духов культуры, помогающим мне создавать эту книгу: я бы то и дело шнырял бы на нем в Москву в библиотеки за справками.

Есть в этих предельных испытаниях чувство единства того, что мы привыкли разделять на живот и на душу, или материю и дух. Я это чувство берегу в себе, как смысл всего пережитого, но иногда кажется, что все я это надумал себе в возмещение своего унижения... Часто в пути приходят вопросы, решение которых в ту или другую сторону так обидно зависит от ничтожных, переменных до крайности величин повседневности. А бывает от столкновения противоположных решений просто бессмысленно начинаешь глядеть перед собой: что-то непременно в таких случаях происходит вне меня занятное, я вникаю, увлекаясь и совершенно незаметно для себя те оставленные вопросы должно быть как-то входят в события внешней жизни, а то совпадения бывают столь поразительные, что для объяснения их пришлось бы обращаться к необходимости признания чуда. Но бывает вопрос опустится куда-то в себя и лет через десять находишь его в себе, как совершенно ребяческий. Так было со мной на этом острове, заселенном потомками лесного сторожа: что-то почудилось мне тут на диком острове почти под Москвой и куда-то осело...

Непривычный глаз даже и не заметит выход с этого острова, таким странным покажется, что рожь, спускаясь с холма все ниже и ниже, переменяется на хвощи и осоку, а болотно-травяной покров сменяется густыми кустарниками, и возле них, как-будто без признаков воды, лежат челноки. Это и сады, старинное название пристани. Лодки спускаются в небольшую лужу, продвигаются с силой по траве, входят в кусты, и там, правда, что-то есть, какая-то очень капризная полоска воды.

Довольно тяжелую мою лодку не легко было стронуть. Мы только взялись было за корму, к нам подошел и приветливо поклонился среднего роста молодой человек с портфелем в руке. Лицо его было чисто крестьянское, заветренное, нехоленное, неправильное, как можжевельник, но глаза некрестьянские и не совсем городские, это были особенные глаза с двойным светом. У больших дипломатов и тонко образованных политиков необходимость скрывать от всех государственную тайну стала второй натурой, выработалась сложная внешность обращения, часто очаровательного для непосвященных в дело людей. У нынешних дипломатов и политиков из простого народа это выражается на лицах особенным откровенным двойным светом в глазах. Неизвестный молодой человек отрекомендовался мне секретарем ячейки. Я назвал свое имя. — «Знаю», — сказал он. И попросил у меня разрешения поехать вместе на лодке: ему тоже давно хочется посмотреть на работу экскаватора.

Всякому охотнику, наверно, на всем свете не очень приятны глаза с двойным светом, но портфель странным образом возбудил во мне чувство большой симпатии: это был совершенно затрепанный, рыженький, не от краски портфель, а от ветров и дождей, и такой худенький: по-моему, там не могло быть ни одной бумажки. Вернее всего, мне эта жалость к портфелю перешла от гоголевской шинели

по литературной традиции. Но и всякий не-литератор мог пожалеть: не легко было, судя по затрепанному портфелю, обладателю его работать в этих болотных местах.

— Почему вы с портфелем? — спросил я.

Секретарь ответил:

— Иду с пленума.

Он сел на лавочке против меня и, выломив себе большой кол, стал подпираться о болотные кочки и помогать Вьюну в продвижении лодки.

Как ни худ был портфель, но кругозор секретаря был неизмеримо велик в сравнении с кругозором Вьюна и всех местных людей. Мы могли объясняться с ним даже цифрами, выяснить себе, что весь водосбор потопленного края приблизительно равняется ста двадцати тысячам десятин, и вместе догадываться о том великом дне, когда экскаватор пророеет новое русло, сложит новые берега магистралей, население покроет болота сетью боковых осушительных канав, и мертвая болотная вода убежит по веселой Волге в далекое Каспийское море.

— Экскаватор — это самый лучший агитатор советской власти, — говорил мне секретарь.

Я же говорил о далеких днях геологической истории, когда еще в этом краю могли расти лавры, перешел к часам ее, когда надвинулся ледник, все уничтожил, все перерыл, переходил, стал отступать, и опять потеплело — один час благодати — и опять все замерзло, и опять — еще час! — ледник отступил, и началась последняя секунда в жизни земли: наша человеческая культура.

— Только одна секунда в сравнении со всей жизнью земли! — сказал я.

Двойной свет у секретаря мало-по-малу исчез: он учился, понимая, что попал счастливо в общество какого-то великого спеца. Но Вьюн, словно за живое задетый, вдруг воскликнул с откровенной злобой в зеленых глазах:

— Не может быть, не верю!

— Это не мои слова, — сказал я, — сотни, тысячи ученых работали, десятки тысяч книг об этом напечатано на всех языках.

— Ну што ж! — воскликнул Вьюн. — Я и в радио не верю.

Секретарь стал терпеливо рассказывать ему о радио, доказывать, приводить множество примеров, когда неверящие мужички нарочно вызывались в Москву и оттуда по радио разговаривали со своими односельчанами.

Но мне во время этого длинного и не совсем ясного объяснения стало показываться, что секретарь уже стал позабывать тот мир, из которого сам только что выбрался. Мог ли Вьюн серьезно отрицать подлинность радиопередачи, если сто раз бывал в Москве с живыми карасями и на всех площадях слышал громкоговорителей. Усмехаясь,

слушал он объяснения, и после, когда секретарь приутомился, подлил масла в огонь:

— Радио радием, а я и в воздух не верю!

— Воздух, — спросил я, — которым мы дышим?

— Нет, — ответил Вьюн, — что дышим воздухом — этому верю, а что он состоит...

— Состоит из кислорода, азота и паров воды?

— Вот, вот! — обрадовался Вьюн. — Я верю, что мы дышим и не верю, что состоит. Не верю тоже в секунду.

— Какую?

— А вот что вы сейчас говорили: человеческая жизнь только секунда.

Вьюн для меня совершенно понятно издевался над ученым секретарем, но широкий человек, занятый большими вопросами человеческой общественности, не догадывался о насмешке злого человека. Все выходило легко и занятно, веселыми вехали мы, наконец, по быстрому течению протока на широкий простор Грибановской Дубны. Я опишу эту прелесть нескоро, когда машина сложит новые прямые берега магистрали. Нет! Кто знает? Быть может, от этого болото лишь немного усохнет и вместо нынешней полезной густой осоки вырастут лишь редкие несъедобные, бесполезные хвощи, население будет недовольно, быть может, даже взбунтуется, когда его заставят рыть осушительные каналы, и мое воспоминание прелести Старой Дубны подольет только масла в огонь лени и невежества. Хватило бы только веку! Я дождусь того времени, когда не один на всю страну, старенький, амортизованный пловучий экскаватор, а тысячи их поведут победное наступление, как некогда паровоз и пароход повели наступление в прежней Америке. И когда все будет осушено, я напишу воспоминание о прелести Грибановской Дубны, чтобы люди, тоскуя об утраченном, воскрешая его творчеством, стали создавать новый прекраснейший мир. Теперь об этом писать невозможно. Невеорящий Вьюн зелеными насмешливыми глазками глядит на меня. Я должен защищать и рыженький портфель секретаря и старенький, амортизованный, единственный на всю страну пловучий экскаватор.

Берега Грибановской Дубны ушли от нас не так далеко, чтобы мы остались с одною водой, можно было различать под сенью нависших непроходимых зарослей широкие заводи, покрытые водяными лилиями, и белоснежными, и золотыми, в заводях был настоящий бал цветов, среди них я мог узнавать не только больших птиц, но и маленькие головки утят; цапля стояла, как бывало директриса женской гимназии на нашем детском балу. И все это в отражениях на тихой воде доходило почти до меня. Хороши были тоже под нами в глубине Дубны небеса. Любуясь про себя, я представлял, что мы летим на аэроплане выше небес, и сочинял письмо другу без имени, как-будто я с аэроплана пишу.

— Какая красота! — сказал секретарь.

В это время одна из красивейших наших птиц, лирохвостый касач перелетел Дубну с берега на берег, из леса в лес.

— Вот тетерев! — сказал я секретарю в ответ на его «красота».

Он очень обрадовался:

— Так вот он какой!

Улыбаясь, секретарь сказал:

— А они тут порядочные!

Вьюн равнодушно ответил:

— Тетерева везде одинаковые.

Я указал секретарю: «Вот кулик!» Эта птица, совершенно, как детская игрушка, вечно качалась. Потом указал на птицу с голубыми крыльями: «Вот сойка!» Хороша была, как всегда, цапля. Одна большая щука прошла внизу подводной лодкой, а маленький щуренок, вероятно, спасаясь от нее, а может быть, сам в погоне за какой-то добычей, выпрыгнул в воздух и угодил прямо в лодку к нам. Секретарь был как маленький восхищенный ребенок: коренной, деревенский человек как-будто впервые встречался с природой и непрерывно о всем восхищенно говорил: «Красота!»

Мне это было не в первой раз: деревенские, кроме рыбаков и охотников, этих форм проявления поэтической силы, вокруг себя не видят природы. Так и я сам, застигнутый врасплох, ни за что не скажу, какие в моей комнате цветы на обоях. Так московские люди не видят джунглей в московском полесье. От родины, от привычного надо уйти, чтобы видеть ее. И может быть, потому я и почувствовал с первого взгляда симпатию к рыженькому портфельчику: он отрывал секретаря от деревни и теперь заставлял всему удивляться.

ХIII. НОВАЯ ДУБНА

Старший механик не алпатовского, а действительно работающего на Дубне экскаватора, Михаил Парфеныч Пафнутьев, не умеет кривить душой, его пальцы с карандашем нервно дрожали, но ответы давал мне он только правдивые. А между тем, кому бы как не ему похвастаться перед сотрудником газеты. Это он с мандатом Ленина во время гражданской войны при переменных правительствах почти что выкрал машину на Дальнем Востоке, и с Амура огромную тяжесть доставил сюда на Дубну. Ленин так рассчитал, что только в Центрально-Промышленной области найдется достаточно подготовленных культурных сил для начала индустриализации, и сюда, как бы там на Дальнем Востоке и не была бы полезна машина, она должна быть непременно доставлена. Вот Михаил Парфеныч и доставил машину.

Я с тревогой спросил:

— У нас много теперь таких машин?

Он с дрожанием пальцев ответил:

— Единственная.

— Машина, верно, потрепана?

— Амортизована.

Я смешался, но он объяснил, что это ничего не значит, все части теперь уже новые и, если одна сломается, на ее место становится другая. Есть другая и настоящая опасность: если утонет.

— Вытащат, — сказал я.

— А как из торфа вытащить?

И пальцы его задрожали.

Правда, как вытащить? И на всякий случай запомнил это себе, потому что, кто знает, Алпатов может попасть в такое положение, что ему придется расстаться со своею мечтой открыть людям Золотую луговину, и в таком случае он может утопить экскаватор. Так я через Михаила Парфеныча вошел в интимно-тревожную творческую, а не рекламную сторону дела. Но когда мы с последнего заколдованного плеса Старой Дубны, ничего не видя впереди через густейшие непролазные заросли, услышали совсем близко свисток экскаватора, радость наша не давала места никакому раздумью. Мы поспешили, налегли, продвинулись и встретили перед собой плотину. После небольшого замешательства мы нашли удобное место и волоком перетащили мой «Ботик» через плотину. Тут мы сразу увидели новые берега и это большое деятельное существо—экскаватор, вечно гремящий своими цепями. Над кустами плотно сросшейся черной ольхи, укрывающей аршинные кочки, была занесена огромная железная рука с маленьким ведром, которого вес, однако, как оказалось, был сто пудов. Железная рука наклонилась к воде, погрузила в пучину ведро, достала, понесла в сторону. Там, где вода переходила в довольно жидкий болотный берег, рука остановилась, дно вывалилось из ведра, на старый болотный берег свалилась небольшая кучка торфа, а дно снова захлопнулось. Снова рука погрузилась в воду и к первой маленькой кучке прибавила еще столько же. Через шесть таких поворотов железной руки на наших глазах прибавилось нового черного берега на одной стороне, потом рука перекинулась на другую сторону и, погрузившись в пучину шесть раз, и на той стороне сделала такой же кусточек нового берега.

Нас устроили в моторную лодку. В сопровождении молодого инженера мы помчались в новых черных, прямых, как стрела, берегах. Есть своя красота в этих прямых каналах, везде это красиво. Но в культурных местах можно задуматься о происхождении такой красоты, потому что в природе прямого нет ничего. Здесь же, после Старой Дубны, некогда было задумываться, прямая линия преобразующей человеческой воли естественно присоединялась к делу природы и завершала его. Прямая линия магистрали сложилась из множества маленьких линий, пересекающих петли Старой Дубны. Мы постоянно встречали эти отрезки старицы, посылающие последние капли в русло новой реки. Там была картина полного разрушения

старого мира. Ольховые заросли, когда-то задумчиво склоненные над утинными плесами в цветах, теперь с обнаженными корнями висели, некоторые просто валялись. Дно плесов обнажилось, на нем лежали желтеющие, как поздней осенью, тростники, камыши и разные болотные травы, все это когда-то задорно напряженное войско с острыми штыками и саблями. Я никогда не утомляюсь дивиться на старых речках белым кувшинкам, никакой лотос для меня не может сравниться с этим волшебной белизны простым и необычайно торжественным цветком, слова любви, обращенные к полевым лилиям, я про себя переиначиваю: **взгляните на лилии водяные.. И нигде я не видал такого множества этих лилий, как на Дубне.** Теперь на мертвых усохших плесах подводные части этих растений толщиной в руку, свернувшись, как кишки большого животного, иногда желтого, синеватого, а то и фиолетового цвета, сиротя, лежали и гнили. От этих обрезов старицы, повисших над водой новой углубленной реки, пахло иодом, как на морских берегах. Увлеченный быстрым движением на моторной лодке по прямому каналу я, хотя и все замечал, но не очень скорбел о погибающих джунглях московского полесья, потому что слишком близка была жизнь крестьян на острове в Замошье, обрадованных чрезмерно каким-то обыкновенным мостом, соединяющим скотину с лугами. Я верил, что ни одна лилия не погибла вовсе, а непременно воскреснет в творчестве будущего обрадованного человека.

Мы остановились у нового берега посмотреть на одну деревушку, где влияние магистрали уже сказалось на раньше очень топких лугах. Впереди нас по трудной дороге тихо двигался воз с каким-то укрытым рогожей добром. Не замочив даже ног в болоте, мы обошли этот воз, и хозяин подводы сказал:

— Как усохло, раньше бы вам пришлось разуваться.

Секретарь, как ребенок, обрадовался. С того момента, как он увидел экскаватор, я потерял в нем любознательного и восхищенного слушателя по истории нашей планеты: то было, конечно, от нечего делать, теперь мы были у самого дела, все это годилось ему для завтрашнего дня. Вместе с тем появилась и прежняя важная самоуверенность, надулся, и в глазах опять стал двойной свет.

Мы вошли в деревеньку. Собрались мужики, стали нам рассказывать о своем житье-бытье. Вслед за нами въехал и воз. Хозяин изпод рогожи вынул глиняного петушка и на его четырех клапанах ухитрился сыграть песенку. Собрались все ребята, потом показались и матери, чтобы купить им по свистулке. Но петушки, уточки и коньки оказались непродажными, хозяин мог их уступать только в обмен на тряпье. Тогда со всех сторон потащили хлам самого ужасного вида, гниющую мерзость, заражающую воздух, непригодную ни на что даже в деревенском бедняцком хозяйстве. Мне казалось, в окнах каждой избенки светлело, когда женщина выносила из нее эту дрянь. А воз все рос и рос. Наконец, деревенский санитар очистил всю деревню, все погрузил, покрыл рогожей, затянул воз веревками и тро-

нулся в путь. После него вся молодая деревня свистела на уточках, коньках и петушках.

С восхищением наблюдал я эту сцену превращения рухляди в детскую звонкую радость и сочинял себе гениальную силу, которая сумела бы так же просто преобразить болотную землю в культурную. Не скрою, сам упросил санитаря уступить мне одну уточку с отбитым носиком, сам посвистел немного, и сейчас эта прелесть невидимо где-то живет в моем доме, время от времени показывается, и, кто первый увидит, непременно свистит. Но из-за этих очаровательных свистулек я почти ничего не слышал из беседы секретаря с народом. Помню, однако, некоторые дельные его слова о коллективах, о тракторах и будущем преображении болот работой экскаватора.

Мужики, однако, до того привыкли к речам заезжих ораторов о будущем счастье, что плохо слушали и довольно дельные слова секретаря, и тоже, как и я, следили глазами за работой женщин по очистке жилищ от тряпья и забавой детей. Но когда секретарь сказал:

— Видите, лужок и сейчас немного осох!

Мужики ответили:

— Не маленько, а вовсе порядочно, благодарим вас.

— Благодарите советскую власть, — отвечал секретарь, — мне же вам, вижу, нечего и рассказывать, экскаватор самый лучший агитатор советской власти.

Он был прав, я подумал: «пустить бы их сто, пловучих и сухопутных, мужики бы закричали «осанну» правительству». Но как только осанна явилась мне, и стало наплывать в душе счастье, вдруг все представилось и с другой стороны: теперь мужики встречают экскаватор, как доброго барина, который им задаром что-то делает, и дружат с ним, пока барин ни к чему не обязывает. Что скажут они, когда экскаватор, прорыв магистраль, потребует от населения больших личных жертв по дальнейшему осушению?

На обратном пути, немного отстав, я решил поделиться своими тревожными догадками с молодым инженером, только что окончившим Тимирязевскую академию. И опять, как у старшего механика, Михаила Парфеныча, встретил я родственное чувство творческой тревоги за дело. Эти реки за тысячи лет своей жизни бездумно нащупывали свой извилистый путь. Они как-будто вид только делают, что подчиняются лучшему прямому пути, сделанному рукой человека. Стоит на короткое время их предоставить самим себе, как они возвратятся в старое русло, а магистраль заплывет. Экскаватор, осушая болота на несколько сажень от берега, отличный агитатор только при готовности всего населения дружно взяться за работу осушения. Но если оставить осушенные берега, то, возможно, угаснет даже полезная осока и появятся редкие ненужные хвои. Что же делать, как заразить население одушевляющей творческой работой? С этим вопросом мы подошли к секретарю, горячо продолжающему агитацию среди провожающих нас мужиков.

В это время какой-то крестьянин с косой в руке садился в долбленную лодку, чтобы переправиться на ту сторону, где было известное топкое Калабурдино болото. Может быть, его раньше и не косили, а вот теперь туда едет мужик с косой, не техническим ли путем произошло такое достижение? Секретарь обратил внимание на этого человека и спросил, зачем он едет в такое глухое болото с косой. Объяснение крестьянина было, что корова его не наедается в поле и ему приходится к вечеру подкашивать травы.

— А прошлый год там не косили? — спросил секретарь.

— Пройший год, — ответил косец, — я бы там утонул.

Секретарь, весь просияв, ответил мне:

— Вот видите...

А косец продолжал:

— Сами, наверно, помните, какой год был водливый, у нас там телега потонула и лошадь.

— Это в прошлый год, — сказал я, — а позапрошлый?

— Раньше ничего, там постоянно косили.

Секретарь немного смутился. Вьюн, прикурнувший во время нашего похода в деревню в носу лодки, очнулся и вдруг заявил:

— Не верю!

В присутствии мужиков мне не хотелось иметь союзником своим против секретаря Вьюна. Смеясь, сказал я:

— В воздух не веришь?

— Нет, — ответил он, — у вас разговор был о машине.

— Так ты в машину не веришь: она у тебя твоей веры не спрашивает.

— Нет, я верю в машину, только не верю, что техническим путем.

Мои опасения были верными, в темном плуте я получал себе союзника.

— Товарищ прав, — сказал я, — строго-научно-техническим путем при народе, организованном в коллектив, можно всю землю преобразить.

— Это что землю, пустяк! — сказал Вьюн. — Попробуйте-ке техническим путем душу преобразить.

— Ничего нет удивительного, — сказал я, настраивая себя на мужицкое понимание, — в голодное время, бывало, мужик сало привезет из деревни, променяешь ему чего-нибудь, подкормишь душку салом, она и повеселеет.

Всем мужикам слова мои очень понравились и, казалось, Вьюну ответить мне было нечего. Но как раз тут из деревни долетел до нас отдаленный крик петуха. Вьюн обратил на это внимание и сказал:

— Пускай душку салом, а вот попробуйте-ка техническим путем заставить кричать петуха по советскому времени.

Мы все посмеялись, конечно, и поехали вверх по Дубне к Заболотскому озеру.

ХІV. КЛАВДОФОРА

В потопленный край по Дубне со всех сторон до сих пор собираются вешние воды, и постоянные речки часто бегут не на помощь течению основной реки, а подпирают его, река разливается, и этот постоянный разлив, поймо, с годами становится зыбучим болотом, иногда верст на семь отделяющим человеческое жилье от реки. Один из притоков Дубны, Сулоть, совсем даже не спешит продвигаться болотными, малодоступными человеку лесами, часто совсем приостанавливается, как бы задумывается, и там, где задумалась Сулоть, потом явилось озеро — одно, другое, третье... Так много этих маленьких озер, что их стали называть просто плесами, и только один, последний, огромный, висящий над самой Дубной, называется озером Заболотским, где живет драгоценный реликт ледниковой эпохи Клавдофора.

Очень трудно углублять торфяное дно Дубны, пересекать прямой магистралью все ее капризные петли, но ничего не стоит бросить в Дубну всю систему озер по Сулоти с Заболотским прежде всех с его Клавдофорой и, кто знает, может быть, и еще более ценными для науки существами. Тяжело мне было думать, везжая в Заболотское озеро, что через какой-нибудь месяц чья-то техническая причуда обратит этот редчайший памятник природы в десятиверстный непроходимый ковш грязи.

Мы подехали к болотистому берегу с кустами черной ольхи. Вьюн сказал:

— Вот тут шары, поглядите.

Сняв шляпу, я заградил ею солнце, сделал тень на воде и увидел на этом теновом месте через прозрачную воду какие-то ядра на дне: совершенно как старинные ядра от пушек, они лежали одно к одному, множество с одной стороны лодки, с другой тоже, лодка тихонечко двигалась, и ядра не переставали. Было неглубоко, всего какой-нибудь метр. Вьюн опустил туда руку и вынул засверкавшее на солнце круглое зеленое удивительное сердце земли...

В восторге я закричал:

— Вот настоящий клад!

— Сам думал, — ответил Вьюн, выжимая воду из водоросли.

Привычной рукой сделал это, он положил шар на дно, нагнулся за другим, опять выжал, повторяя при каждом доставании и выжимании:

— Ну, разве не диво, сам думал клад, сам думал...

Однажды пришла ему необыкновенная мысль о красоте, что нет ничего в красоте, а за многое красивое денег больше дают, чем за полезное. От всех, кто только ни приезжал смотреть на Клавдофору, всегда неизменно он слышал: «Красиво, как это красиво!» И так вздумалось ему набрать побольше шаров и поехать ими в Москву торговать.

Он стал с корзиной на Кузнецком, угол Петровки. Сразу окружили его разные люди и все в один голос:

— Едят?

— Нет, — ответил, — это не для еды.

— А для чего же?

— Для красоты.

Одни подивились, покачали головой и ушли. Другие приходят.

— Едят?

— Похлебка выходит отличная.

— Почем?

— Двугривенный.

Показалось недорого. Стали бойко покупать. И вдруг милиционер.

— Покажи права!

— На это права не берут: эту вещь не едят, не варят, не жарят, она только на удивление, красота и больше ничего.

Взял милиционер один шар, посмотрел, повертел, помял, ковырнул пальцем, пожевал, сплюнул.

— Правда, — говорит, — вещь эта для государства бесполезная и налога за нее не возьмешь. Тоже вещь эта несъедобная, себе взять незачем и тебе дать в морду нельзя: вещь мягкая. А все-таки лучше с ней уходи.

Вьюн перешел на ту сторону улицы. Собрался народ и опять этот самый милиционер: «Я тебе честью говорил». Взял корзину, шары выбросил, а публика враз все расхватала.

Со стороны одного островка на озере дунул на меня ласковый ветер и напомнил мне что-то близкое, почти родное, но я не знал, что это ветер напомнил, повернул лицо в другую сторону и забыл. Осталась досада, как после забытого сна, тогда я опять повернулся в сторону ветра, сразу вспомнил Санчо из Дон-Кихота, и все мое путешествие за Клавдофорой представилось как донкихотское. Этот рассказ о попытке торговать красотой на Кузнецком ничем не отличался от многих таких рассказов слуги Панчо своему господину. Мне оставалось только пообещать Вьюну губернаторство.

— Вот погоди, — сказал я Вьюну, — эта Клавдофора живет только в двух местах земного шара, где-то в северном озере Германии и у нас в Заболотье, но наша дороже, наша более южная. Может быть, я напишу о ней, прочитают в Америке, какой-нибудь богач отвалит денег и за шары и за уток...

— Все равно, — сказал Вьюн, — деньги нам не достанутся, утки государственные.

— А приписные угодыя зачем, — сказал я, — пусть ваш кружок охотников припишет себе заболотских уток и будет хозяйствовать. В Финляндии на озерах одними лососями деревни живут...

Я увлекся чрезмерно, совсем забывая, что наши Панчи еще раз в десять хитрее испанских. Помню только внимательный жуткий взгляд его и теперь понимаю: он торговал карасями в Москве и теперь днем и ночью видел и ждал, когда обнажится дно и он сразу

увезет в Москву всех карасей, еще он готовил шырок для экскаватора, ему хорошо платили за разборку плотин. Вьюн слушал меня и прицеливался, я же слушал сам себя и тоже прицеливался. Когда мы приехал в Заболотье, я устроился на уголку стола с самоваром.

— Погоди, — сказал я Вьюну, — может быть, у нас выйдет скорей, чем мы думали.

И начал писать. Во мне проснулся публицист, который верит в слова, как в силу физическую, и счастье свое находит в действии. Во мне есть эта удаля, но я постоянно себя сдерживаю из-за чего-то, как мне кажется, высшего. Но пришла такая минута, я забыл про Алпатова и того отдаленного друга, кому пишу свой роман. Конечно; я писал с хитрецей, прославляя дело мелиораторов, но я спрашивал, известно ли что-нибудь о спуске озера ученым, которым вверено дело охраны памятников природы. В этой фразе и был мой прицел публициста, потому что не мог же я не догадаться, что ученые тут проморгали, а инженеры их обошли.

Это была маленькая, строк в сто двадцать, статейка, помещенная потом в верхнем углу третьей страницы «Известий» под заглавием *Claudophora Sauteri*, в скобках под этим было: «к делу охраны памятников природы». Как романист, сколько раз я потом хватал себя за голову: зачем я так сделал, зачем расстроил спокойное собиранье материалов в этом краю и тем, может быть, погубил свой роман, превратив его в повесть о том, как я хотел написать роман и почему он у меня не удался. Но как публицист и охотник, я горжусь своим метким прицелом и той наивной простотой, с которой я указывал пальцем ученому: «погляди, мол, дяденька, у тебя какую-то штуку стащили, не годится ли она для науки?» Среди человеческого материала в газету сразу бросалась в глаза статья о подводном растении. Меня до сих пор иногда спрашивают милые барышни: «Вы летом в газетах защищали какой-то цветок, скажите, какой он...»

...Сейчас, когда я это пишу, лютая зима на дворе. Вчера был мой любимый Солнцеворот, праздник, которым у меня начинается весна света. Приехали ко мне из Москвы гости и я занимал их своими рассказами о летних скитаниях на Дубне, мне верили, как верят писателю: в том смысле верили, что если я и приврал что, так оно и полагается в известных границах. Когда же рассказ я свой закончил и принес друзьям на тарелке зеленый, совершенно бархатный шар в детскую голову, то был один разочарованный голос:

— Я так и знал, выдумал.

Я показал Клавдофору.

— Наверно, сам из чего-нибудь сделал.

К счастью из гостей моих не было ни одного натуралиста, которые копаются во внутренностях природы так много, что с лица понимать и удивляться разучились. Поэты и художники, узнав, что я не шучу и такое диво существует в природе, стали сначала

допытываются у меня, как дети, что там внутри у нее, а потом схватились каждый со своей какой-то думой и долго молчали...

— Неправда ли, — сказал один, — тайна почему-то представляется круглой?

Возможно, никто так из нас не представлял себе тайну, и в один миг поэт нам свое навязал, но так нам всем представилось, что тайна непременно должна быть круглой. Мифологи и филологи стали доискиваться значения слова Клавдофора и у них выходило это слово от clauda—замыкаю и fero—ношу: носительница тайного, или просто клад.

Зеленый клад Заболотского озера переходил из рук в руки. Все гости читали мою «Кашееву цепь», все слушали с большим вниманием об Алпатове, и это сочувственное внимание много родило во мне разных приемов для описания Клавдофоры, как сердца Земли. Обыкновенный мой охотничий восторг, трепет всего существа на заре при восходе солнца среди росистых трав и цветов, переключка журавлей, священное упрямство токующего тетерева и что кроншнеп кричит по-итальянски... как это передашь? Все это непередаваемо, что при себе остается круглой зеленой нераскрываемой тайной творчества, буду я называть Клавдофорой. Но и крик журавля, если я буду отмечать какими-нибудь словами, и это итальянское кроншнепа Wiv! и нарушающий тишину ночи при первом рассвете трепет осины я буду только потому отмечать, что они выражают единую для всех круглую зеленую Клавдофору: в ней пусть и будет сердце Земли, сохраняющее лучистую энергию солнца, тайну всеобщего творчества жизни. Хорошо еще в Клавдофоре, что в ней открыта игра, лежащая в основании творчества. Все поручаемые человеку вещи на земле носят такой коварно противоречивый характер, как будто творец создавал их, просто играя, исключительно ради своего удовольствия, но в момент передачи их смазал долгом, как дегтем, отчего вся жизнь для человека на земле получилась: «в поте лица своего добывай хлеб». Но Клавдофора как была игрушкой, так и осталась... А еще мне приходило в голову, почему бы не написать мне свой роман, как пишут публицисты свои статьи, кого-то ими спасают, кого-то защищают, хотя по этим статьям до того непонятно, правду сказал публицист или наврал, что для разбора наряжают от газеты целую специальную следственную комиссию. В настоящем художественном произведении не может быть лжи, так почему же врал спасают все, что хотят, а я своим правдивым романом, построенным, как публицистическая статья, не могу спасти драгоценную жизнь Клавдофоры?

Ласточка крылом задела спокойную воду. На страшной высоте могучие хищники летали спокойными кругами. Мне обыкновенная ласточка удивительней этих хищников под небесами, она и там может, на высоте, рядом с могучими, и возле самой земли, так низко, что домашние куры поднимают головы и настораживаются. Особенно трудно должно быть летать над самой водой, тут случается, и вели-

чайшая искусница полета ошибается, и на воде остается кружок. Так неужели же я лучше ласточки пролечу над самой землей и не задену крылом курицу и не оставлю ни одного кружка на воде!

Чувствую сейчас на себе недоверчивый взгляд одного молодого читателя, который не столько следит за мной в понимании Клавдофору, сколько старается поймать на словах.

— Вы, — спросит он, — где-то сказали, что к осени Заболотское озеро решено было спустить и Клавдофора погибнуть, а роман сочиняете для защиты Клавдофору зимой около Солнцеворота, разве осенью она не погибла?

На эти слова отвечаю, как принято было в старинных романах:

— Погибла Клавдофора при спуске озера, или удалось отсрочить спуск озера и спасти драгоценный реликт, все это вы, читатель, узнаете из следующих глав.

(Продолжение следует.)

К а з а к с т а н

ЕВГ. ЗАБЕЛИН

Вечерний диск за тучами потух,
дымилась синь за горизонтом мглистым,
вновь суслики тревожили мой слух
своим шальным, разбойным пересвистом.
Подковы жгла осенняя руда,
металась тень неуловимой птицы,
и горбились степные города,
и старились дремучие станицы.
У столбовой, протянутой черты,
на этом месте — сумрачном и диком —
над падалью кричали беркуты
гортанным, заунывным перекликом.
Теперь одни... Недавно утонул
в волне холмов, среди усталой пыли
затерянный, пастушеский аул,
где жгли костры и лошадей поили.
За далью — даль... У грани смуглых стра
цвели пески, сквозь шелковое пламя
хмелел кумыс, и молча Казакстан
глядел на нас верблюжьими глазами.
Степные дни! Мы не уйдем назад,
в кольце озер, на солнце загорая,
кто выдержит откаменевший взгляд
чужого, неразгаданного края?
За сотни верст от кокчетавских сел,
забыв в пути покинутые села,
наш проводник за сопками нашел
костяк откочевавшего монгола.
Рдел древний пыл в скитальческой крови,
чеканилось открытое забрало,
в глазницах копошились муравьи,
росла полынь, тоской земля шуршала.
Зыбь ковылей! — Здесь камень головы
черствел в пыли. Он над дорогой нашей,
он над тобой из пасмурной травы
желтел пустой, отпировавшей чашей.
Плыл ветер от безродного куста,
перелетал, взметнувшись, от бурьяна,

дрожал на дне оскаленного рта,
застывшего улыбкой. Чингис-хана.
Проходит все, но жизнь в веках мудра,
поджогами языческих закатов
такие же горели вечера
над предками раскосых азиатов.
Перегнивает ржавчина монет,
и череп, как зазубренный осколок,
— что из того! Солончаковый след
отыскивай, поэт и археолог.
Ты веришь ли бессмертию земли,
— она легла раскинутой равниной,
под облачным затишьем журавли
звонят сквозной, сентябрьской паутиной.

Петр Первый

Повесть

АЛЕКСЕЙ ГОЛСТОЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь. За Санькой живо слезли Яшка, Гаврилка и Артомошка: вдруг все захотели пить,—выскочили в темные сени вслед за облаком пара и дыма из прокисшей избы. Чуть голубоватый свет брезжил в щели сквозь снег. Студено. Обледенела кадка с водой, обледенел деревянный ковшик.

Чада прыгали с ноги на ногу, — все были босы, у Саньки голова повязана платком, на Яшке — портки, Гаврилка и Артомошка в одних рубашках до пупка.

— Дверь, оглашенные! — закричала мать из избы. Мать стояла у печи. На шестке ярко загорелись лучины. Материно морщинистое лицо осветилось огнем. Страшнее всего блеснули из-под рваного платка исплаканные глаза, — как на иконе. Санька отчего-то забоялась, захлопнула дверь изо всей силы. Потом зачерпнула пахучую воду, хлебнула, укусила льдинку и дала напиться братикам. Прошептала:

— Озябли? А то на двор сбегает, посмотрим, как батя коня запрягает...

На дворе отец запрягал в сани. Падал тихий снежок, небо было снежное, на высоком тыну сидели галки, и здесь не так студено, как в сенях. На бате, Иване Артемиче, — так звала его мать, а люди и сам он себя на людях — Ивашкой, по прозвищу Бровкин, — высокий колпак надвинут на сердитые брови. Рыжая борода не чесана с самого Покрова. Рукавицы торчали за пазухой сермяжного кафтана, подпоясанного низко лыком, лапти зло визжали по навозному снегу: у бати со сбруей не ладилось... Гнилая была сбруя, одни узлы. С досады он кричал на вороную лошаденку, такую же, как батя, коротконогую, с раздутым пузом.

— Балуй, нечистый дух!

Чада справили у крыльца малую надобность и жались на обледенелом пороге, хотя мороз и прохватывал. Артомошка, самый маленький, едва выговорил:

— Ничаво, на печке отогреемся...

Иван Артемич запрет и стал поить коня из бадьи. Конь пил долго, раздувал косматые бока: «Что ж, кормите впроголодь, уж поплю вдоволь...» Батя надел рукавицы, взял из саней из-под соломы кнут...

— Бегите в избу, я вас! — крикнул он чадам. Упал боком на сани и, раскатившись за воротами, рысцей поехал мимо осыпанных снегом высоких елей на усадьбу сына дворянского Волкова.

— Ой, студено, люто, — сказала Санька. Чада кинулись в темную избу, полезли на печь, стучали зубами. Под черным потолком клубился теплый, сухой дым, уходил в волоковое окошечко над дверью: избу топили по-черному. Мать творила тесто — ржаную муку с лебедой. Двор все-таки был зажиточный: конь, корова, четыре куры. Про Ивашку Бровкина говорили: крепкий. Падали со светца в воду, шипели угольки лучины. Санька натянула на себя, на братиков бараний тулуп и под тулупом опять начала шептать про разные страсти: про тех, не будь помянуты, кто по ночам шуршит в подпольи...

— Давеча, лопни мои глаза, вот напужалась... У порога — сор, — видали? На сору — веник... Я гляжу с печки. С нами крестна сила! Из-под веника отряхивается, лохматый, с кошачьими усами...

— Ой, ой, ой, — боялись под тулупом маленькие.

2

Чуть проторенная дорога вела лесом. Вековые ели закрывали небо. Бурелом, чащоба — тяжелые места. Землю этой Василий Васильев сын Волков в позапрошлом году был поверстан в отвод от отца, московского служилого дворянина, сотника... Поместный приказ поверстал Василия четырехстами пятьюдесятью десятинами, и при них крестьян приписано тридцать семь душ с семьями.

Василий поставил усадьбу да протратился, половину земли пришлось заложить в соседнем Никольском монастыре. Монахи дали деньги под большой рост, — двадцать копеечек с рубля. А надо было по верстке быть на государевой службе на коне добром, в панцире, с саблею, с пищалею и вести с собою ратников, мужиков, троих на конях же, в панцырях, в саблях, в саадаках. Едва-едва на монастырские деньги Василий поднял такое вооружение. А жить самому? а дворню прокормить? а рост плати два раза в год, — монахи не помилуют. Почешешь в затылке.

Царская казна пощады не знает. Что ни год — новый наказ, новые деньги, — кормовые, дорожные, дани и оброки. Себе много ли перепадет? А с мужика больше одной шкуры не сдерешь. Истощала Россия от войн при покойном государе Алексее Михайловиче, от смут и бунтов. Как погулял по земле вор-анафема Стенька Разин, — кре-

стьяне забыли бога. Чуть прижмешь покрепче—скалят зубы по-волчьи. От тягот бегут на Дон к казакам,—оттуда их ни грамотой, ни саблей не добыть. Трудные времена.

Конь плелся дорожной рысцой, весь покрылся инеем. Ветви задевали о дугу, сыпали снежной пылью. Прильнув к стволам, на проезжего глядели пушистохвостые белки, — гибель в лесах была этой белки. Иван Артемич лежал в санях и думал, — мужику одно только и оставалось: думать...

Ну, ладно... Того подай, этого подай... Тому заплати, этому заплати... Но — прорва, — эдакое государство! — разве ее напитаешь? От работы не бегаем, терпим. А в Москве бояре в золотых возках стали ездить. Подай ему и на возок, сытому дьяволу. Ну, ладно... Ты заставь, бери, что тебе надо, но не озорничай... А это, ребята, две шкуры драть—озорство. Государевых людей на нашем хребте ныне развелось: плюнь,—и там дьяк, али подьячий, али целовальник сидит, пишет... Ему плати... Ох, ребята, лучше я убегу, зверь меня в лесу заломает, смерть скорее, чем это озорство... Так вы долго на нас не прокормитесь...

Ивашка Бровкин думал, может быть, так, а может, и не так. Из леса на дорогу выехал, стоя в санях на коленках, Цыган по прозвищу, волковский же крестьянин, страшный, черный с проседью мужик. Лет пятнадцать он был в нѣтях, шатался где-то меж двор. Но вышел указ: вернуть помещикам всех беглых без срока давности. Цыгана взяли под Воронежем, где он богато крестьянствовал, и вернули Волкову старшему. Он опять было убежал — поймали, и велено было Цыгана бить кнутом без пощады и держать в тюрьме, — на усадьбе же у Волкова, — а, как кожа подживет, вынув, в другой раз бить его кнутом же без пощады и опять кинуть в тюрьму, чтобы ему, плуту, вору, впредь бегать было неповадно. Цыган только тем и выручился, что его отписали на Васильеву дачу.

— Здорóво, — сказал Цыган Ивану и пересел в его сани.

— Здорóво.

— Ничего не слышно?

— Хорошего, будто, ничего не слышно...

Цыган снял варежку, разворотил усы, бороду, скрывая лукавство.

— Встретил в лесу человека: царь, говорит, помирает, не то уж помер...

Иван Артемич привстал в санях. Жуть взяла... «Тпру»... Стащил колпак, перекрестился:

— Кого ж теперь царем-то бояре скажут?

— Этот человек, брат ты мой, все знает... Окромя, говорит, некого, как мальчонку, вот—с палец, Петра Алексеевича. А он едва титьку бросил...

— Ну, парень! — Иван нахлобучил колпак, глаза побелели. — Ну, парень... Жди теперь боярского царства. Все распропадем...

— Пропадем, а может, и ничего, — так-то. — Цыган подsunулся вплоть. Подмигнул. — Человек этот сказывал: быть смуте... Может,

еще поживем, хлеб пожую, чай, бывалые. — Цыган оскалил лешачьи зубы и засмеялся, кашлянул на весь лес. Белка кинулась со ствола, перелетела через дорогу, посыпался снег, заиграл столбом иголок в косом свете. Большое малиновое солнце повисло в конце дороги над бугром, над высокими частоколами, крутыми кровлями и дымами волковской усадьбы...

3

Ивашка и Цыган оставили коней около ворот из кондового леса с дубовыми верями. Над воротами под двухскатной крышей — образ честного креста господня. Вровень их шел кругом усадьбы неперелазный тын. Хоть татар встречай... Мужики сняли шапки. Ивашка взялся за кольцо в калитке, сказал, как положено:

— Господи Иусе Христе сыне божий, помилуй нас...

Скрипя лаптями, из воротней вышел Аверьян, сторож, посмотрел в щель, — свои. Проговорил:

— Аминь, — и стал отворять ворота.

Мужики завели лошадей во двор. Стояли без шапок, косясь на слюдяные окошечки боярской избы. Туда, в хоромы, вело крыльцо с высокой крутой лестницей. Красивое крыльцо: крыша расписная — луковицей, все — резное, красное, по дереву пущены травы, птицы. Выше крыльца — кровля над избой, шатром, с двумя полубочками, с золоченым гребнем. Нижнее жилье избы — подклеть — глухое, без окон, из могучих бревен. Готовил ее Василий Волков под кладовые для зимних и летних запасов — хлеба, солонины, солений разных, меда, капусты. Но мужики знали: в кладовых у него одни мыши. А крыльцо — дай бог иному князю: крыльцо богатое...

— Аверьян, почто боярин нас вызвал с конями — повинность, что ли, какая?.. — спросил Ивашка. — За нами, кажется, ничего такого...

— В Москву ратных людей повезете...

— В Москву? Коня ломать?

— А что слышно, — спросил Цыган, придвигаясь, — война с кем? Смута?

— Не твоего и не моего ума дело. — Седой старик, Аверьян, поклонился. — Приказано — повезешь. Боярин сегодня батогов приказал наломать для вашего-то брата...

Аверьян, не сгибая ног от старости, пошел в сторожку. На цепях лаяли кобели. В зимних сумерках кое-где светило окошечко. Нагоржено всякого строения на дворе было много: скотные дворы, погреб, избы, кузня. Но все наполовину без пользы. Дворовых холопей у Волкова было маловато: пятнадцать душ, да и те перебивались с хлеба на квас. Работали, конечно, — пахали кое-как, сеяли, лес возили, но с этого разве проживешь? Труд холопий. Говорили, будто Василий посылает одного в Москву юродствовать на паперти, — тот денег приносит. Да двое ходят с коробами, в Москве же, продают

ложки, лапти, свистульки... А все-таки основа — мужички. Да. Те — кормят...

Ивашка и Цыган, стоя в сумерках на дворе, думали. Спешить некуда. Хорошего ждать неоткуда. Конечно, старики рассказывают, прежде легче было: не понравилось, — ушел к другому помещику. Ныне это заказано — где велено, там и живи. Велено кормить Василия Волкова — как хочешь, так и корми. Все стали холопами. И ждать надо: еще будет тяжелее...

Завизжала где-то дверь, по снегу подлетела простоволосая девушка — дворовая бесстыдница:

— Боярин велел — распрягайте. Ночевать велел. Лошадям задавать избави боже боярскую солому.

Цыган хотел было кнутом ожечь по гладкому заду эту девушку, — убежала... Неспеша распрягли. Пошли в дворницкую избу ночевать. Дворовые, человек восемь, своровав у боярина сальную свечу, играли в зернь, зло хлестали засаленными картами по столу — отыгрывали друг у друга три копейные деньги. Крик, спор, один норовит сунуть копейку за щеку, другой рвет ему губы. Лодыри, и ведь — сытые!

В стороне на лавке сидел мальчик в длинной холщевой рубахе, в разбитых лаптях — Алешка, сын Ивана Артемича. Осенью пришлось с голоду, за недоимку отдать его боярину в вечную кабалу. Мальчишка большеглазый, русский, в мать, тощенький. По вихрам видно — бьют его здесь. Покосился Иван Артемич на сына, жалко стало, ничего не сказал. Алешка молча низко поклонился отцу.

Иван поманил сына, спросил шопотом:

— Ужинали?

— Ужинали.

— Эх, со двора я хлебца не захватил. (Слукавил — ломоть хлеба был у него за пазухой, в тряпице.) Придется так обойтись. Вот что, Алеша... Утром хочу боярину в ноги упасть — делов много. Чай, смиляется, — ты съезди заместо меня в Москву.

Алеша степенно кивнул:

— Хорошо, батя.

Иван стал разуваться, и бойкой скороговоркой, будто он веселый, сытый:

— Это что же, каждый день, ребята, у вас веселье? Ай, легко живете, сладко пьете...

Один, рослый холоп, бросил карты и начал подниматься:

— Ты кто тут, хозяин, в рот глядеть!

Иван, не дожидаясь, когда смажут по уху, полез на полати.

У Василия Волкова остался ночевать гость — сосед, Михайла Тыртов, мелкопоместный сын дворянский. Отужинали рано. На широких лавках, поближе к муравленой печи, постланы были кошмы,

подушки, медвежьи шубы. Но по молодости не спалось. Жарко. Сидели на лавке в одном исподнем, босые. Беседовали в сумерках, позевывали, крестили рот. Гость, выхлебав чашку щей да чашку каши с молоком, да напившись квасу, для вежливости рыгал иногда тонким иком. В семнадцать лет он был на загляденье статен — широкоплечий, рослый, сила переливалась под домотканой рубахой. Лицом красив и строг, и разум не юношеский — горький...

— Тебе, — говорил он степенно и тихо, по уставу, — тебе, Василий, еще многие завидуют... А ты влезь в мою шкуру. Нас у отца четырнадцать сыновей. Семеро поверстаны в отвод, бьются на пустошах, у кого два мужика, у кого трое, — остальные-то на одной бумаге приписаны: ищи ветра в поле, все в бегах. Да я вот новик, завтра верстаться буду. Дадут погорелую деревеньку да болото с лягушками... Как жить? А?

— Ныне всем трудно, — Василий потянулся, снял с гвоздя кипарисовые четки, стал перебирать их, свесив между колен.

— Дед мой выше Голицына сидел, Михайла же Тыртов. У гроба Михаила Федоровича дневал и ночевал. А я дома в лаптях хожу. К стыду уж привыкли. Не о чести нам думать, а как живу быть... Куда подашься? Отец в Поместном приказе с просьбами весь лоб расколотил: ныне без доброго посула и не попросишь. Дьяку дай, подъячему дай, младшему подъячему дай. Да еще не берут — косоротятся... Просили мы о малом деле подъячего Степку Ремезова, послали ему посулы — три алтына деньгами, едва эти деньги собрали, — да сухих карасей четыре пуда. Деньги-то он взял, жаждущая рожа и пьяная, а карасей велел на двор выкинуть... Иные, кто половчее, домогаются... Володька Чемоданов с челобитной до царя дошел, два сельца ему дано. А Володька — все знают — в прошлую войну от поляков без памяти бегал с поля, и отец его под Смоленском три раза бегал с поля же... Так — чем их за это наделов лишить, из дворов выбить прочь — их селами пожаловали...

Помолчали. От печи пыхало жаром. Сухо тыркали сверчки. Тишина, скука. Даже кобели перестали брехать. Василий проговорил задумавшись:

— Король бы какой брал бы нас на службу — в Венецию, или в Рим, или в Вену... Ушел бы и я без оглядки отсюда... Василий Васильевич Голицын отцу моему крестному книгу давал, так я брал ее читать... Все народы живут в богатстве, в довольстве, одни мы в нищете барахтаемся. Был недавно в Москве, искал оружейника, послали меня на Кукуй-слободу, к немцам... Ну, что ж, что они не православные, — их бог рассудит... А как вошел я за ограду, — улицы подметенные, избы чистые, веселые, кругом каждой избы — огород, цветы, вишенье, голубятни. Иду и робею и — дивно, ну, будто сон вижу... Люди приветливые... Тут же ведь рядом с нами живут. Чудо! И — богатство! Один Кукуй богаче всей Москвы с пригородами...

— Торговлишкой заняться? Опять деньги нужны, — проговорил Михайла, глядя на босые ноги. — В стрельцы пойти? Тоже дело не наживочное. Покуда до сотника доберешься — горб изломают. Недавно к отцу заезжал конюх из царской конюшни, Данило Меньшиков, рассказывал: казна за два с половиной года жалованье задолжала стрелецким полкам. А поди, пошуми, — сажают за караул. Полковник Пыжов гоняет стрельцов на свои подмосковные вотчины, и там они работают, как холопы, на огородах, в поле... А пошли жаловаться, — челобитчиков били кнутом перед с'езжей избой. Ох, стрельцы злы... Меньшиков говорил: погодите, стрельцы еще покажут.. Тридцать их тысяч в одной Москве...

— Слышно, говорят, кто в боярской-то шубе, — и не ездит за Москва-реку...

— А что ты хочешь? Все обнищали... Такая тягота от даней, оброков, пошлин, — беги без оглядки... Меньшиков рассказывал: иноземцы-те торгуют. За границей покупают за рубль, а продают у нас за три... А наши купчишки только сопли вытирают. Посадские от беспощадного тягла бегут кто в уезды, а кто в дикую степь. Ныне прорубные деньги стали брать, за проруби в речке... Ну, а мужики... (Михайло усмехнулся, качнул головой, усмехнулся и Василий.) С паршивой овцы шерсти клок... С мужика и того не возьмешь... Все казна высасывает... А кому идут деньги? Меньшиков рассказывал: Василий Васильевич Голицын палаты воздвиг на реке Неглинной, каменные. Снаружи обиты медными листами, а внутри — золотой кожей. В палатах — венецейские зеркала. От золотой, серебряной посуды полки ломаются... Казной сундуки кованые набиты... А вот нам с тобой, Василий, этого сроду не видать...

Василий поднял голову, посмотрел на Михайлу. Тот подобрал ноги под лавку и — тоже глядит на Василия... Только что сидел смиренный человек, — подменили, щекой дернул, в бока уперся, и лавка под ним заходила... Жутко даже стало Василию.

— Ты чего задумал-то? Говори, — спросил он тихо.

— На прошлой неделе под селом Воробьевым опять обоз разбили. Слыхал? (Василий нахмурился, взялся за четки.) Суконной сотни шесть купцов везли красный товар... Погорячились в Москву к ужину доехать, да не доехали... Купцов на дороге нашли, а товар на другой день на льду, на Москва-реке, по полцены какие-то бродяги весь продали... Купчишко один жив остался, донес. Кинулись ловить разбойничков, — одни следы нашли, да и те замело...

Михайла задрожал плечами, засмеялся коротко, невесело...

— Не пугайся, сам-то я там не был, от Меньшикова слыхал. (Он наклонился к Василию)... Следочки-то, говорят, прямо на Варварку привели, на двор к Степке Воротынского... Князя Воротынского меньшому сыну... Нам с тобой однолетку...

— Спать надо ложиться, спать пора, — угрюмо сказал Василий. Михайла опять засмеялся:

— Ну, пошутили, давай спать.

Легко поднялся с лавки, хрустнул суставчиками, потягиваясь. Налил квасу в деревянную чашку ипил долго, поглядывая из-за края чашки на Василия.

— Двадцать пять человек дворовых снаряжены саблями и огневом боем у Степки-то Воротынского... Народ отчаянный... Он их приучал, холопов-то, больше года не кормил, только выпускал ночью за ворота искать добычи... Волки...

Михайла лег на лавку, натянул медвежий тулуп, руку подsunул под голову, глаза у него блестели:

— Доносить пойдешь на мой разговор?

Василий повесил четки, улегся лицом к сосновой стене, где проступала смола. И долго спустя ответил:

— Нет, не донесу.

5

За воротами Земляного вала дорога пошла кружить по улицам мимо заборов и частоколов, высоких и узких, в два жилья бревенчатых изб, — ухабы, сугробы, — кучи золы, падаль, битые горшки, сношенное тряпье, — все выкидывалось на улицу.

Алешка, держа вожжи, шел сбоку саней, где сидели трое здоровенных холопов в бумажных, набитых паклей, военных колпаках и толсто стеганых, несгибающихся кафтанах с высокими воротниками — тегилéях. Это были ратники Василия Волкова. На кольчуги денег не хватило, одел их в тегилéн, хотя и робел, — как бы на смотре не стали его срамить и ругать: не по верстке-де оружие показываешь, заворовался...

Василий и Михайла сидели в санях у Цыгана. Позади холопы вели коней — Васильева в богатом черпаке и персидском седле и Михайлова разбитого мерина, оседланного худо, плохо.

Михайла сидел, насупившись. Их обгоняло, крича и хлеща по лошадям, много дворян и детей дворянских, в дедовских кольчугах и латах, в новопошитых ферязях, в терликах, в турецких кафтанах, — с горластой дворней: весь уезд с'езжался на Лубянскую площадь, на смотр, на земельную верстку и переверстку. Люди, все до одного, смеялись, глядя на Михайлова сивого, в гречку, древнего мерина: «Эй, ты что его — на воронье кладбище ведешь? Гляди, не дойдет...» Перегоняя, жгли кнутами, — мерин приседал... Гогот, хохот, свист... Приходилось принимать сраму... Нищета проклятая!..

Переехали мост через Язу, где на крутом берегу вертелись сотни небольших мельниц. Рысью вслед за санями и обозами пошли по площади вдоль бело-облезлой стены с частыми квадратными башнями и множеством пушек между зубцами. В Мясницких низеньких воротах крик, ругань, давка — каждому надобно проскочить первому, бьются кулаками, летят шапки, трещат сани, лошади лезут на дыбы. Над воротами теплится неугасаемая лампада перед темным ликом.

Алешку исхлестали кнутами, потерял шапку, — как только жив остался! Выехали на Мясницкую... Вытирая кровь с носа, Алешка глядел по сторонам: «Ох, ты!»

Народ вáлом валил вдоль узкой навозной улицы — бабы, холопы, пáсадские, попы, и — не наши — черные, косоглазые, усатые, по-чудному одетые... Из досчатых лавчонок перегибаются, кричат купчишки, ловят за полы, с прохожих рвут шапки, заывают к себе. За высокими заборами — каменные избы, красные, серебряные крутые крыши, церковные жестяные маковки. Церквей — тысячи! И большие, пятиглавые, и маленькие — на перекрестках — чуть в дверь чело- веку войти, а внутри десятерым не повернуться. В раскрытых притво- рах — жаркие огоньки свечей. Заснувшие на коленях старухи. Косма- тые, наглые нищие трясут лохмотьями, хватают за ноги, гнусава, за- голяют тело в крови и дряни... Проходим в нос безместные страшно- глазые попы суют калач, кричат: «Купец, идем служить, а то калач закушу...» Тучи галок над церквушками...

Едва продрались на Лубянку, где толпились кучками по всей площади конные ратники. Вдали, у Никольских ворот, виднелась вы- сокая, трубой, соболья шапка боярина, меховые колпаки дьяков, тем- ные кафтаны выборных лучших людей. Оттуда худой длинный чело- век с кощевой бородой кричал, махал бумагой. Тогда откуда-нибудь выезжал дворянин, богато ли, бедно ли вооруженный, один или с рат- никами, и скакал к столу. Спешивался, кланялся низко боярину и дья- кам. Они осматривали вооружение и коней, прочитывали записи: много ли земли ему поверстано. Спорили. Дворянин божился, рвал себя за грудь, а иные, прося, плакали, что вконец захудали на зе- млишке и помирают голодной и озябают студеной смертью.

Так, по-стародревнему обычаю, каждый год перед весенними по- ходами происходил смотр государевых служилых людей — дворян- ского ополчения.

Василий и Михайла сели верхами. Цыганову и Мишкину лоша- дей распрягли, посадили на них без седел двоих волковских холопов, а третьему, пешему, велели сказать, что лошадь-де по дороге ногу побила. Сани бросили.

Цыган только за стремя схватился:

— Куда коня-то моего угоняете? Боярин! Да милостивый!..

Василий погрозил нагайкой:

— Пошуми-ка!..

А когда он от'ехал, Цыган изругался по-черному и по-матер- ному, бросил в сани хомут и дугу и лег сам, зарылся в солому с до- сады...

Об Алешке забыли. Он прибрал с'брую в сани. Посидел, прозяб без шапки в худой шубейке. Что ж, — дело мужицкое, надо терпеть. И вдруг потянул носом сытный дух. Мимо шел посадский в заячьей шапке, пухлый мужик с маленькими глазами. На животе у него в лотке под ветошью дымились подовые пироги. «Дьявол! — покосился

на Алешку, приоткрыл с угла ветошь, — румяные, горячие!» Духом поволокло Алешку к пирогам:

— Почем, дяденька?

— Полденьги пара. Язык проглотишь.

У Алешки за щекой, спрятанные еще с вечера, находились полденьги — полушка: когда уходил в холопы, подарила мамка на горькое счастье. И жалко денег и живот разворачивает.

— Давай, что ли, — грубо сказал Алешка. Купил пироги и поел. Сроду такого не ел. А когда вернулся к саням, — ни кнута, ни дуги, ни хомута со шлеей нет — сперли. Кинулся к Цыгану, тот из-под соломы обругал. — «Ничего не знаю...» — У Алешки отнялись ноги, в голове — пустой звон. Сел было на отвод саней — плакать. Сорвался, стал кидаться к прохожим: «Вора не видали?..» Смеются. Что делать? Побегал через площадь искать боярина.

Василий сидел на коне, подбоченясь, в медной шапке, на груди и на брюхе морозом заиндевели колонтары — железные, пластинами, латы. Василия не узнать — орел. Позади, верхами, два холопа, как бочки в тегилéях, на плечах — рогатины. Сами понимали: ну и вояки, глупее глупого. Ухмылялись.

Растирая слезы, гнусая для жалости, Алешка стал сказывать про беду.

— Сам виноват! — крикнул Василий. — Отец выпорет. А сбрую отец новую не справит — я его выпорю. Пошел, не вертись перед конем...

Тут его выкрикнул длинный дьяк, махая бумагой. Волков с места вскачь, и за ним холопы, колотя лошадемок лаптями, побежали к Никольским воротам, где у стола в горлатной шапке и в двух шубах, бархатной на соболях и поверх — нагольной, бараньей, — сидел самый страшный на Москве человек, богач и великий озорник, князь Федор Юрьевич Ромадановский.

Что ж теперь делать-то? Ни шапки, ни сбруи... Алешка тихо голосил, бредя по площади. Его окликнул, схватил за плечо Михайла Тыртов, нагнулся с коня:

— Алешка, — сказал, и у самого — слезы, и губы трясутся, — Алешка, для бога беги к Тверским воротам, спросишь, где двор Данилы Меньшикова, конюха... Войдешь, и Даниле кланяйся три раза в землю... Скажи, Михайла, мол, бьет челом... Конь, мол, у него заплошал... Стыдно, мол... Дал бы он мне на день какого ни на есть коня — показаться... Запомнишь? Скажи — я отслужу... За коня мне хоть человека зарезать... Плачь, проси...

— Просить буду, а он откажет? — спросил Алешка...

— В землю по плечи тебя вобью, лучше не показывайся! — Михайла выкатил глаза, раздул ноздри. Без памяти Алешка кинулся бежать куда было сказано.

Михайла промерз в седле, не евши весь день... Солнце клонилось в морозную мглу. Синел снег. Звончее скрипели конские копыта. На-

ходили сумерки, и по всей Москве на звонницах и колокольнях начали звонить к вечерне. Мимо проехал шагом Василий Волков, хмуро опустив голову. Алешка все не шел. Он так и не пришел совсем.

6

В низкой, жарко натопленной палате светили лампы перед образами, озаряли покатым сводом и темную роспись на нем: лики ангелов, райских птиц, завитки трав. Под образами на широкой лавке, на шелковых перинах, уйдя в них хилым телом, умирал царь Федор Алексеевич.

Ждали этого давно: у царя была цынга и пухли ноги. Сегодня он не мог стоять у заутрени, присел на стульчик да и свалился. Кинулись, — едва бьется сердце. Положили под образа. От воды у него ноги раздуло, как бревна, и брюхо стало пухнуть. Вызвали немца доктора. Он выпустил воду, и царь затих, стал тихо отходить. Погтемнели глазные впадины, заострился нос. Одно время он что-то шептал, не могли понять что. Доктор нагнулся к бескровным его устам: Федор Алексеевич невнятно, одним дуновением, шептал по-латыни, будто читал вирши. Доктору почудился в царском шопоте стих Овидия... На смертном одре — Овидия? Несомненно царь был без памяти...

Сейчас даже его дыхания не было слышно. У заиндевелого окна, где в круглых стеклышках в свинцовой раме играл лунный свет, сидел на раскладном итальянском стуле патриарх Иоаким, суровый и восточной, в черной мантии и клобуке с белым восьмиконечным крестом, сидел согбенно и неподвижно, как видение смерти. У стены одиноко стояла царица Марфа Матвеевна, сквозь туман слез глядела туда, где из груди перин виднелся маленький лобик и вытянувшийся нос умирающего мужа. Царице всего было семнадцать лет, взяли ее во дворец из бедной семьи Апраксиных, за красоту. Два только месяца побыла царицей. Темнобровое глупенькое личико ее распухло от слез. Она только всхлипывала по-ребячьи, хрустела пальцами — голосить боялась.

В другом конце палаты, в сумраке, под сводами шепталась большая царская родня — сестры, тетки, дядья и ближние бояре: Иван Максимович Языков — маленький, в хорошем теле, добрый, сладкий, человек великой ловкости и глубокий проникатель дворских обхождений; постный и благостный старец, книжник, первый постельничий — Алексей Тимофеевич Лихачев и князь Василий Васильевич Голицын — писанный красавец, — кудрявая бородка с проплешиной, вздернутые усы, стрижен коротко, по-польски, в польском кунтуше и в мягких сапожках на крутых каблуках, ибо князь был роста среднего.

Синие глаза его блестели возбужденно. Час был решительный — надо сказывать нового царя. Петра или Ивана? Сына Нарышкиной или сына Милославской? Оба еще несмышленные мальчишки, за обоими сила в родне. Петр — горяч умом, крепок телесно, Иван — слабоумный, больной, вей из него веревки... Но что предпочесть? Кого?

Василий Васильевич становился боком к двухстворчатой окованной медью дверце, припав ухом, прислушивался, — за ней в соседней тронной палате гудели бояре. С утра, не пивши, не евши, прели в шубах Нарышкины с товарищи и Милославские с товарищи. Полна палата: лаются, поминают обиды, чуют, — сегодня кто-то из них поднимется наверх, кто-то полетит в ссылку.

— Гвалт, проше пана, — прошептал Василий Васильевич и, подойдя к Языкову, сказал ему по-польски тихо: — ты б, Иван Максимович, все ж поспрошал патриарха, он-то за кого?

Курчавый, сильно заросший волосом Языков румяно, сладко улыбнулся, глядя снизу вверх, — от жары запотел, пах розовым маслом:

— И владыко и мы твоего слова ждем, князюшко... А мы-то как будто решили...

Подошел Лихачев, вздохнул, осторожно кладя белую руку на бороду:

— Разбиваться нельзя, Василий Васильевич, в сей великий час. Мы так размыслили: Ивану быть царем трудно, непрочно, — хил. Нам сила нужна.

Василий Васильевич опустил ресницы, усмехался уголком красивых губ. Понял, что спорить сейчас опасно:

— Будь так, — сказал, — быть царем Петру.

Поднял длинные глаза, и вдруг они вздрогнули и заволоклись нежно. Он глядел на вошедшую царевну, шестую сестру царя, Софью. Не плавно, лебедем, как подобало бы девице, — она вошла стремительно, распахнулись полы ее пестрого летника, не застегнутого на полной груди, разлетелись красные ленты рогатого венца. Под белилами и румянами на некрасивом лице ее проступили пятна. Царевна была широка в кости, коренастая, крепкая, с большой головой. Выпуклый лоб, зеленоватые глаза, сжатый рот казались не девичьими, мужскими. Она глядела на Василия Васильевича и, видимо, поняла, о чем он только что говорил и что ответил.

Ноздри ее презрительно задрожали. Она повернулась к постели умирающего, всплеснула руками, стиснула их и опустилась на ковер, прижала лоб к постели. Патриарх поднял голову, тусклый взгляд его уставился на затылок Софьи, на ее упавшие косы. Все, кто был в палате, замолчали, насторожились. Пять царевен начали часто креститься. Патриарх поднялся и долго глядел на царя. Отмахнул черные рукава и, широко перекрестив его, начал читать отходную.

Софья схватилась за затылок и закричала пронзительно, дико, завывла низким голосом. Закричали ее сестры... Царица Марфа Матвеевна упала ничком на лавку. К ней подошел старший брат ее, Федор Матвеевич Апраксин¹⁾, со спутанной бородой, воспаленными глазами, в шубе до пят, стал гладить царицу по спине. К патриарху подбе-

¹⁾ В будущем — адмирал, один из главных сподвижников Петра.

жал Языков, припал к руке и потянул за руку. Патриарх, Языков, Лихачев и Голицын быстро вышли в тронную палату.

Бояре стадом двинулись к ним, размахивая рукавами, выставляя бороды, без стыда выкатывая глаза: «Что, ну что, владыко?..»

Его не слушали, — теснясь, пихаясь в дверях, бояре поспешили к умершему, падали на колени, ударялись лбом о ковер и, приподнявшись, целовали уже сложенные его синие руки. От духоты лампы начали трещать и гаснуть. Софью увели. Василий Васильевич скрылся. К Языкову подошли братья князя Голицыны, Петр и Борис Алексеевичи, черный, бровастый, страшный видом князь Яков Долго-рукий и братья его Лука, Борис и Григорий. Яков сказал:

— У нас ножи и панцыри под платьем... Что ж, кричать Петра?

— Идите на крыльцо, к народу. Туда патриарх выйдет, там и крикнем... А стануть кричать Ивана Алексеевича—бейте воров ножами...

Через час патриарх вышел на Красное крыльцо и, благословив тысячную толпу, — стрельцов, детей боярских, служилых людей, купцов, посадских, — спросил: кому из царевичей быть на царстве? Горели костры. За Москвой-рекой садился месяц. Его ледяной свет мерцал на куполах. Из толпы крикнули:

— Хотим Петра Алексеевича...

И еще хриплый голос:

— Хотим царем Ивана...

На голос кинулись люди, и он затих, и громче закричали в толпе: «Петра, Петра!..»

7

На Данилином дворе два цепных кобеля рванулись на Алешку, — взвились на дыбки, задохнулись от злобы. Девчонка с болячками на губах, в накинутой на голову шубейке велела итти по обмерзлой лестнице наверх, в клеть, и сама хихикнула ни к чему, шмыгнула под крыльцо, в подклеть, где в темноте горели дрова в печи.

Алешка, поднимаясь по лестнице, слушал, как кто-то наверху кричит дурным голосом... «Ну, — подумал он, — живым отсюда не уйти...» Ухватился за обстроганную чурочку на веревке, — едва оторвал от косяков забухшую дверь. В нос шибануло жаром натопленной избы, редькой, водочным духом. Под образами у накрытого стола сидели двое — рыжебородый поп с косицей и какой-то низенький, рябой, с острым носом.

— Вгоняй ему ума в задние ворота! — кричали они, стуча чарками.

Третий, грузный человек, в малиновой рубашке распояской, зажав между колен кого-то, хлестал его ремнем по голому заду. Исполованный худощавый зад вихлялся, вывертывался. «Ай-ай, тятка!» — визжал тот, кого пороли. Алешка обмер.

Рябой замигал на Алешку голыми веками. Поп разинул большой рот, крикнул густо:

— Еще чадо, луѓи его заодно!

Алешка уперся лаптями, вытянул шею. «Ну, пропал...» Грузный человек обернулся. Из-под ног его, подхватив порточки, выскочил мальчик, светлоглазый, ощеренный. Кинулся в дверь, скрылся. Тогда Алешка, как было приказано, повалился в ноги и три раза стукнулся лбом. Грузный человек поднял его за шиворот, приблизил к лицу, медному, потному, с мутными глазами, обдал жарким перегаром:

— Зачем пришел? Воровать? Подглядывать? По дворам шарить?

Алешка, стуча зубами, стал рассказывать про Тыртова. У медного человека надувались жилы, — ничего не понимал... «Какой Тыртов? Какого коня? Так ты за конем пришел? Конокрад?..» Алешка заплакал, забожился, закрестился трехперстно... Тогда медный человек бешено схватил его за волосы, поволок, топча сапогами, вышиб ногою дверь и швырнул Алешку с обледенелой лестницы... «Выбивай вора со двора, — заорал он, шатаясь, — Шарок, Бровка, взы его...»

Нагибаясь в дверях, как бык, Данила Меньшиков вернулся к столу. Сопя, налил чарки. Щепотью захватил редьки:

— Ты, поп, писание читал, ты знать должен, — загудел он, — сын у меня от рук отбился... Заворовался вконец, сучий выкидыш... Убить мне, что ли, его? Как по писанию-то? А?

Поп Филька ответил степенно:

— По писанию будет так: казни сына от юности его, покоит ты на старость твою. И не ослабляй, бия младенца; аще бо жезлом биеша его, не умрет, но здоровее будет; учащая ему раны — бо душу его избавляеша от смерти...

— Аминь, — вздохнул востроносый...

— Погоди, отдышусь, я его опять позову, — сказал Данило. — Ох, плохо, ребята... Что ни год — то хуже... Дети от рук отбиваются, древнего благочестия нет... Народ думает врозь... Царское жалованье по два года неплочено... Жрать нечего стало... Шатание великое в народе... Скоро все пропадем...

Рябой, востроносый начетчик Фома Подщипаев сказал:

— Никониане древнюю веру сломали, а ею, — поднял палец, — земля жила... Новой веры нет... Дети в грехе рождаются — хоть его до смерти бей, что ж из того: в нем души нет... Дети века сего... Никониане... Стадо без пастыря, пища сатаны... Протопоп Аввакум писал: «А ты ли, никониан, покушаешься часть христову соблазнить и в жертву с собою отцу своему, дьяволу, привести...» Дьяволу! — Опять поднял палец. — И далее: «Кто ты, никониан? Кал еси, вонь еси, пес еси смрадный...»

— Псы! — Данило бухнул кулаком по столу.

— Никонианские попы да протопопы в шелковых рясах ходят, от сытости щеки лопаются, псы проклятые! — сказал поп Филька.

Фома Подщипаев выждал, когда кончат браниться, и проговорил опять:

— И о сем сказано у протопопы Аввакума: «Друг мой, Илларион, архиепископ рязанской! Вспомни, как жил Мелхиседек в чаще леса на горе Фаворской. Ел ростки древес и вместо пития росу лицал. Прямой был священник, не искал ренских и романей, и водок, и вин процеженных, и пива с кордомоном. Друг мой, Илларион, архиепископ рязанской! Видишь ли, как Мелхиседек жил? На вороных и в каретах не тешился ездя. Да еще и был царской породы. А ты кто? Вспомни о себе, Яковлевич, попенок... В карету садись, растопыришься, что пузырь на воде, сидя в карете на подушке, расчесав волосы, что девка, да и едешь, выставя рожу по площади, чтоб черницы-ворухи любили... Ох, ох, бедной... Явно ослепил тебя дьявол. И не видал ты и не знаешь духовного жития...»

Закрыв глаза, поп Филька затряс бородищей-веником, засмеялся. Данила еще налил. Поклонясь друг другу, выпили.

— Стрельцы уж никонианские книги рвут и прочь мечут, — сказал он. — Дал бы бог — стрельцы за старину встали...

Он обернулся. Залаяли кобели. Заскрипели ступени крыльца. За дверью произнесли исусову молитву. «Аминь» — ответили трое собеседников. Вошел высокий стрелец Пыжова полка Овсей Ржов, шурин Данилы. Перекрестился на угол. Отмахнул волосы:

— Пируете! — сказал спокойно. — А какие дела делаются наверну, вы не знаете?.. Царь помер... Нарышкины с Долгорукими Петра крикнули... Все в кабалу теперь пойдем к боярам, да к никонианам...

8

Турманом скатился Алешка с лестницы в сугроб. Желтозубые кобели кинулись, налетели. Он спрятал голову. Зажмурился... И не разорвали... Вот так чудо, — бог спас! Рыча, кобели отошли. Над Алешкой кто-то присел, потыкал пальцем в голову:

— Эй, ты кто?

Алешка выпростал один глаз. Кобели сидели неподалеку, зарычали. Около Алешки присел на корточки давешний мальчик, кого только что пороли.

— Как зовут? — спросил он.

— Алешкой.

— Чей?

— Мы Бровкины, деревенские.

Мальчик разглядывал Алешку по-собачьему, — то наклонит голову к одному плечу, то к другому. Луна из-за крыши сарая светила ему на большеглазое лицо. Ох, должно быть, бойкий мальчик...

— Пойдем греться, — сказал он. — А не пойдешь, гляди, я тебя... Дратся хочешь?

— Не. — Алешка живо прилег. И опять они смотрели друг на друга.

— Пусти, — протянул голосом Алешка, — не надо... Я тебе ничего не сделал... Я пойду...

— А куда пойдешь-то?

— Сам не знаю куда... Меня обещали в землю вбить по плечи... И дома меня убьют за лошадь...

— Порет тятка-то?

— Тятка меня продал в вечное, ныне не порет. Дворовые, конечно, бьют. А когда дома жил, конечно, пороли...

— Ты что же — убежал, беглый?

— Нет еще... А тебя как зовут?

— Алексашкой... Мы Меньшиковы ¹⁾. Меня тятка, когда два раза, а когда три раза на день порет. У меня на заднице одни кости остались, мясо все клочками содранное.

— Эх, ты, паря...

— Пойдем, что ли, греться...

— Ну, пойдем...

Мальчики побежали в подклеть, где давеча Алешка видел огонь в печи. Тут было тепло, сухо, пахло горячим хлебом, горела сальная свеча в железном витом подсвечнике. На прокопченных бревенчатых стенах шевелились тараканы. Век бы отсюда не ушел.

— Васёнка, тятке ничего не говори, — скороговоркой сказал Алексашка низенькой бабе стряпухе. — Разувайся, Алешка. — Он снял валенки. Алешка разулся. Залезли на печь, занимавшую половину подклетья. Там в темноте чьи-то глаза смотрели, не мигая. Это была давешняя девочка, отворившая Алешке калитку. Она подалась в самую глубь за трубу.

— Давайте чего-нибудь говорить, — прошептал Алексашка. — У меня мамка померла. Тятка по все дни пьяный, жениться хочет. Мачехи боюсь. Сейчас меня бьют, а тогда душу вытрясут...

— Они вытрясут, — поддакнул Алешка.

Девочка за трубой шмыгнула.

— То-то и я говорю... Намедни у Серпуховских ворот видел цыгане стоят табором, с медведями... На дудках играют, в литавры бьют. Пляс, песни... Уйдем с цыганами бродить?.. А?

— С цыганами голодно будет, — сказала Алешка.

— Ну, ладно... А то найдемся к купцам чего-нибудь делать... А летом уйдем. В лесу можно медвежонка поймать. Я знаю одного посадского, — он их ловит, он нас научит... Ты будешь медведя за кольцо водить, а я — петь, плясать... У меня голос звонкий, все песни знаю. А плясать злее меня нет на Москве.

Девочка за трубой чаще зашмыгала, Алексашка ткнул ее в бок:

— Замолчи, постылая... Вот что, мы и ее с собой возьмем, ладно?

— С бабой хлопот многогато.

— К лету ее возьмем, грибы собирать, — она дура, дура, а до грибов страсть бойкая... Сейчас мы щей похлебаем, меня позовут на-

¹⁾ Александр Данилович Меньшиков, в будущем денщик Петра, правитель Ингерманландии, фельдмаршал, победитель шведов под Полтавой, светлейший князь Римской Империи.

верх молитвы читать, потом пороть. Потом я вернусь. Лягим спать. А чуть свет побежим в Китай-город, за Москву-реку сбегает, обсмотримся. Там есть знакомые. Я бы давно убежал, товарища не нашлось...

— Купца бы найти, наняться пирогами торговать, — сказал Алешка.

На крыльце бухнула дверь, — уходили гости, треща ступенями. Грозный голос Данилы крикнул Алексашку наверх.

9

В гостиных рядах на Варварке стоит низенькая изба в шесть окон, с коньками и петухами. Над воротами — баранья голова на стене. Ворота широко раскрыты, — входи, кто хочет. На дворе на желтых от мочи сугробах, на навозе валяются пьяные, — у кого в кровь разбита рожа, у кого сняли сапоги, шапку. Много запряженных розвальней и купецких, с росписными задками, саней стоят у ворот и на дворе. Здесь кружало, царев кабак, — входи веселей.

В избе за сосновым прилавком — седой, с черными бровями, суровый целовальник. На полке — штофы, оловянные кубки. В углу лампы. У стен — лавки, длинный стол. За перегородкой — вторая, чистая палата для купечества. Туда, если сунется яржка какой-нибудь или намазавший морду посадский, — окликнет целовальник, надвинув брови, а не послушаешь чество — возьмет сзади за портки и выбьет одним духом из кабака.

Там, во второй палате — степенный разговор, купечество пьет пиво имбирное, горячий сбитень. Торгуются, вершат сделки, бьют по рукам. Толкуют о делах, — дела ныне такие, что в затылке начешешься.

Здесь, в передней избе, у прилавка — крик, шум, ругань. Пей, гуляй, только плати. Казна строга. Денег нет — снимай шубу. А весь человек пропился, — целовальник мигнет под'ячему, тот сядет с краю стола, — за ухом гусиное перо, на шее — чернильница, и пошел строчить. Ох, спохватись, пьяная голова! Настрочит тебе премудрый под'ячий кабальную запись. Пришел ты вольный в царев кабак, уйдешь холопом голым...

— Ныне пить легче стало, — говаривает целовальник, цедя зеленое вино в оловянную кружку. — Ныне друг за тобой придет, сродственник, или жена прибежит, уведет, куда душу не пропил. Ныне мы таких отпускаем, за последним не гонимся. Иди с богом. А при покойном государе Алексее Михайловиче, бывало, придет такой-то друг уводить пьяного, чтобы он последний грош не пропил. Стой... Убыток казне... И этот грош казне нужен... А знаешь, что с такими-то уводчиками делали, кто пить отговаривал?.. Сейчас кричишь караул. Пристава его хватает и — в Разбойный приказ. А там, рассудив дело, рубят ему левую руку и правую ногу и бросают на лед... Пейте, соколы, пейте, ничего не бойтесь, ныне руки, ноги не рубим...

Сегодня у кабака народ лез друг на друга, заглядывая в окошки. На дворе, на крыльце не протолкаться. Много виднелось стрелецких кафтанов — красных, зеленых, клюквенных. Налетали стрельцы из Замоскворечья... «Что такое? Кого? За что?» Ничего не понять... Глаза дикие, волосы дыбом... «Ой, карман срезали... Держи вора...» Кинулись, поймали кого-то, вбили в снег. Оказалось — зря. Опять лезли к окошкам.

Там, в кабаке, в чистой избе стояли стрельцы и гостинодворцы. В тесноте надышали, с окошек лило ручьями. Стрельцы привели в избу полуживого человека, он лежал на полу и стонал, надрывая душу. Одежда изорвана в клочья, видно исцарапанное, сытое тело. В серых волосах запеклась кровь, нос, щеки — все разбито.

Стрельцы, указывая на него, кричали:

— И с вами то же скоро будет...

— Дремлете? А они на Кукуе не дремлют...

— Ребята, за что немцы бьют наших?

— Хорошо — мы шли мимо, вступились... Убили бы до смерти...

— При покойном царе разве такие дела были? Разве наших давали в обиду иноземцам проклятым?

Овсей Ржов, стрелец Пыжова полка, унимал товарищей, говорил гостинодворским купцам с поклоном:

— По бедности к вам пришли, господа честные гости, именитые купцы. Деваться нам стало некуда с женами, малыми ребятами... Вконец обхудали... Жалованье нам не идет второй год. Полковники нас замучили на надсадной работе. А жить с чего? Торговать в городе нам не дают, а в слободах нам тесно... Товару купить — не подступиться... Немцы всем завладели. Ныне уж и лен и пряжу на корню скупили. Кожи скупают, сами мнут, дьяволы, на Кукуе... Бабы наших, слободских, башмаков нипочем покупать не хотят, а спрашивают немецкие... Жить стало не можно... А не вступитесь за нас, стрельцов, и вы, купцы, пропадете... Нарышкины до царской казны дорвались... Жаждают... Ждите теперь таких пошлин и даней — все животы отдадите... Да ждите на Москву хуже того — боярина Матвеева, — из ссылки едет... У него сердце одебелело злобой. Он всю Москву проглотит...

Страшны были стоны избитого человека. Страшны, темны слова стрельца. Переглядывались гостинодворцы. Не очень-то верилось, чтобы кукуйские немцы избивали этого купчишку. Дело темное. Однако ж, и правду говорят стрельцы. Плохо стало жить, — с каждым годом скуднее, тревожнее... Что ни грамота: «Царь-де сказал, бояре приговорили» — то новая беда: плати, гони деньги в пророву... И — ничего нет, торговать становится нечем, на все иноземцы кладут лапы... Стали в Москве, по городам скупать хлеб и мясо, увозят в свою землю. Была, говорят, русская сила, да где она? Кому

пожалуешься, кто защитит? Верхние бояре? Они одно знают—выколачивать деньги в казну, а как эти деньги доставать — им все равно. Последние портки сними, отдай. Как враги на Москве.

В круг, стоявший около избитого, пролез купчина, вертя пухлыми пальцами в серебряных перстнях, сказал:

— Мы, то-есть, Воробьевы, привезли на ярмарку в Архангельск шелку сырца. И у нас, то-есть, немцы, сговорясь между собой, того шелку не купили ни на алтын. И староста ихний, то-есть, немец Вульфий, кричал нам: «Мы-де сделаем то, что московские купчишки у нас на правеже настоятся за долги, да и впредь заставим их, то-есть, нас, московских, торговать одними лаптями...»

Гул пошел по избе... Стрельцы: «А мы что вам говорим! Да и лаптей скоро не будет!..» Молодой купец, Богдан Жигулин, отсморгнувшись, выскочил в круг, тряхнул мазаными лампадным маслом волосами:

— Я с поморья, — сказал бойко, — ездил за ворванью. А как приехал, с тем и уехал — с пустыми возами. Немцы, Макселин да Биркопов, у поморов на десять лет вперед все ворванье сало откупили. И все поморцы кругом у них в долгах. Немцы берут у них сало по четверть цены, а помимо себя никому продавать не велят. И поморцы обнищали, и в море уж не ходят бить зверя, и разбрелись врозь... Нам, русским людям, на север и ходу нет теперь...

Стрельцы опять закричали, подсучивая рукава. Овсей Ржов схватился за саблю, звякнул ею, оскалился:

— Нам — дай срок — с полковниками расправиться... А тогда и до бояр доберемся... Ударим набат по Москве. Все посадки за нас. Вы только нас поддержите... Ну, ребята, подымай его, пошли дальше...

Стрельцы подхватили избитого человека, — тот завыл, мотая серой головой: «Ой, убииниили», — и поволокли его из избы, раслихивая народ, на Красную площадь — показывать.

Гостинодворцы остались в избе, — смутно! Ох, смутны, лихи дела! Тоже ведь свяжись со стрельцами: шпыни, им терять нечего... А не свяжешься — все равно бояре проглотят...

11

Алексашку на этот раз, после вечерней, выдрали без пощады, едва приполз в подклеть. Укрылся, молчал, хрустел зубами. Алешка на другой день три раза носил ему на печь каши с молоком. Очень его жалел. «Эх ты, как тебя, паря...»

Сутки лежал Алексашка в жарком месте у трубы и — отошел, разговорился:

— Этакого отца на кол посадить, на колесе изломать, аспида хищного... Ты, Алешка, возьми потихоньку деревянного масла, за образами, — я задницу помажу, к утру подсохнет, тогда и уйдем... Домой не вернусь, хоть в канаве сдохнуть...

Всю ночь шумела непогода за бревенчатой стеной. Были в печной трубе домовые голоса. Стряпухина девчонка просыпалась, со страху тихо плакала. Алешке приснилась мать: стоит в дыму посреди избы и плачет, не зажмуривая глаз, и все к голове подносит руки, жалуется... Алешка истосковался во сне, жалел мамку.

Чуть свет Алексашка разбудил его: «Будя спать-то, вставай...» Почесываясь, обулись поладнее. Нашли полкраюхи хлеба, взяли. Посвистав кобелям, отвалили подворотню и вылезли со двора. Утро было тихое, мгlistое. Сыро. Шуршат, падают сосульки. Черны извилистые, бревенчатые улицы. За деревянным городом разливаются совсем близко заря туманными, кровавыми полосами.

На улицах ленивые сторожа убрали рогатки, поставленные на ночь от бродяг и воров. Брели, переругиваясь, нищие, калеки, юродивые спозаранок занимать места на папертях. По Никитской гнали ревуший скот — на водопой на речку Неглинную. Навозом обозначилась дорога посреди улицы. С боков ее коровы проваливались в слабый снег по брюхо.

Вместе со скотом мальчики дошли до круглой башни Боровицких ворот. У чугунных пушек дремал в бараньем тулупе немец-мушкетер. «Тут иди сторожко, тут царь недалеко» — сказал Алексашка. По крутому берегу Неглинной, по кучам золы и мусора они добрались до Иверского моста, перешли его. Рассвело. Над городом волоклись серые тучи. Вдоль сырых огромных стен Кремля пролегал глубокий ров. Торчали кое-где гнилые сваи от снесенных недавно водяных мельниц. На берегу стояли виселицы, — по два столба с перекладиной. На одной висел длинный человек в лаптях, с закрученными назад локтями. Опущенное лицо его исклевано птицами.

— А вон еще двое, — сказал Алексашка: во рву на дне валялись трупы, полузанесенные снегом, — это — воры, во как их...

Вся площадь до пестрого, как павлиний хвост, Василия Блаженного был пустыня. Санная дорога вилась по ней к Спасским воротам. Над ними, над раскоряченным золотым орлом, кружилась туча ворон, крича тревожно, по-весеннему. Стрелки на черных часах дошли до восьми, заморская музыка заиграла на колоколах. Алешка стащил колпак и начал креститься на башню. Страшно было здесь. — Идем, Алексашка, а то еще нас увидят...

— Со мной ничего не бойся, дурень. — Они пошли через площадь. По той ее стороне тесно громоздились дощатые лавки, балаганы, рогожные палатки. Гостинодворцы уже снимали с дверей замки, вывешивали на шестах товары. В калашном ряду дымили печки, запахло пирогами. Со всех переулков тянулся народ.

Алексашка оставял без внимания — дадут ли по затылку, обругают: до всему ему было дело. Лез ужом сквозь толпу к лавкам, заговаривал с купцами, приценивался, отпускал шуточки. Алешка, разинув рот, едва за ним поспевал. Увидев толстую женщину в суконной шубе, в лисьей шапке поверх дорогого платка, Алешка за-

волочил ногу, пополз к купчихе, трясся, заикался: «У-у-у-богому, си-си-сиротке, боярыня матушка, с-го-го-голоду помираю...» Вдова-купчиха, подняв юбку, вынула из привешенного под животом кисета две копейки, подала, степенно перекрестилась. Побежали покупать пироги, пить горячий, на меду, сбитень. — Я тебе толкую — со мной не пропадешь, — сказал Алексашка.

Народу все подваливало. Одни шли поглядеть на людей, послушать, что говорят, другие — погордиться обновой, иные просто стянуть, что плохо лежит. В проулке, где на снегу, как кошма, валялись обстриженные волосы, зазывали народ цырюльники, щелкали ножницами. Кое-кого уж посадили на торчком стоящее полено, надели на голову горшок, стригли. Больше всего шуму было в нитошном ряду. Здесь бабы кричали, как на пожаре, покупая, продавая нитки, иголки, пуговицы, всякий пошивной приклад. Алешка, чтобы не пропасть, держался за Алексашкин кушак.

Когда опять вышли к площади, — кто-то пробежал, про что-то закричали. С Варварки поднималась большая толпа. Гикали, свистели пронзительно. Стрельцы несли на руках избитого человека.

— Православные, — со слезами говорили они на все стороны, — глядите, что с купцом сделали...

Положили его в чьи-то лубяные сани. Стрелец, Овсей Ржов, влезши на них, стал говорить все про то же самое: как немцы по злобе убили едва не до смерти доброго купца, и как верхние бояре скоро всю Москву продадут на откуп иноземцам... Алексашка с Алешкой пробрались к самым саням.

Алешка, присев на корточки, сразу признал в избитом человеке того самого пухлого, с маленькими глазками, в заячьей шапке посадского, кто на Лубянке продавал подовые пироги. От него несло водкой. Стонать он устал. Лежа на боку, мордой в соломе, только повторял негромко:

— О-ох... Отпустите меня, Христа ради...

Овсей Ржов, говоря, для верности крестился, кланялся церквам и народу. Стрельцы нашептывали в толпе. Разгоралась злоба. Вдруг закричали: «Скачут, скачут...»

От Спасских ворот по санному следу скакали два всадника. Передний — в стрелецком клюквенном кафтане, в заломленном колпаке. Кривая сабля его, усыпанная алмазами, билась по шелковому чепраку. Не задерживая хода, бросив поводья, он врезался в толпу. Испуганные руки схватили коня под уздцы. Всадник быстро вертел головой, щерил редкие желтые зубы, — широколобый, с запавшими глазами, с жесткой бородкой... Это был Тараруй, как прозвали его в Москве, князь Иван Андреевич Хованский, воевода, — боярин древней крови и великий ненавистник худародных Нарышкиных. Стрельцы, завидя, что он в стрелецком кафтане, закричали:

— С нами, с нами, Иван Андреевич! — и побежали к нему.

Другой, под'ехавший не так шибко, был Василий Васильевич Голицын. Похлопывая коня по шее, он спрашивал:

— Бунтуете, православные? Кто вас обидел, за что? Говорите, говорите, мы о людях день и ночь душой болеем... А то царь увидел вас с верху, испужался по малолетству, нас послал разузнать...

Люди, разинув рты, глядели на его парчевую шубу, — пол-Москвы можно купить за такую шубу, — глядели на самоцветные перстни на его руке, что похлопывала коня, — огонь брызгал от перстней. Люди пятились, ничего не отвечали. Усмехаясь, Василий Васильевич под'ехал и стал стремя о стремя с Хованским.

— Отдайте нам в руки полковников, мы сами их рассудим — вниз головой с колокольни, — кричали ему стрельцы. — О чем бояре на верху думают? Зачем нам мальчишку царем навязали, нарышкинского ублюдка?

Хованский утюжил краем рукавицы полуседые усы. Поднял руку. Все стихли...

— Стрельцы! — он привстал в седле, от натуги побагровел, горловой голос его услышали самые дальние. — Стрельцы! Теперь сами видите, в каком вы у бояр несносном ярме... Теперь выбрали бог знает какого царя... Не я его кричал... И увидите, — не только денег, а и корму вам не дадут... И работать будете, как колопы... И дети ваши пойдут в вечную неволю к Нарышкиным... Хуже того... Поддадут и вас и нас всех каким-нибудь чужеземцам... Москву сгубят, и веру православную искоренят...

Тут весь народ так страшно закричал, что Алешка испугался: «Ну, затопчут совсем...». Алексашка Меньшиков, прыгая по саням, свистел в два пальца. И разобрать можно было только, как Тараруй, надсаживаясь, кликнул:

— Стрельцы! Айда за реку в полки, там будем говорить...

12

На площади остались только распряженные сани да Алешка с Алексашкой. Избитый посадский приподнялся, поглядел кругом припухлыми щечками и долго отсмаркивался.

— Дяденька, — сказал ему Алексашка, подмигнув Алешке, — мы тебя до дому доведем, нам тебя жалко.

Посадский был еще не в своем уме. Мальчики повели его, — бормотал, спотыкался. Вдруг: «Стой!» — отталкивал мальчишек и матерно кому-то грозился, топал разбухшим валенком. Шли к Серпуховским воротам за реку. По дороге узнали, как его зовут: Федька Заяц. Двор у него на посаде был небольшой, на огороде — одно дерево с грачиными гнездами, но ворота и изба новые. «Вот они, пирожки, калачики, — обрадовался Заяц, когда увидел свой двор, — вот они, медовые, голубчики, выручают меня...»

Калитку отворила рябая баба с вытекшим глазом. Заяц оттолкнул ее, и Алексашка с Алешкой шмыгнули следом. «Вы куда? За чем?» — кинулся было он к ним, но махнул рукой и пошел в избу. Сел на покрытую новой рогожей лавку, начал себя оглядывать, — все рваное. Закрутил головой, заплакал.

— Убили меня, — сказал он кривой бабе. — А кто бил, за что — не помню. Дай чистое надеть. — И вдруг заорал, застучал о лавку: баню затопи, я тебе приказываю, крива собака!

Баба повела носом, ушла. Мальчики жались ближе к печи, занимавшей половину избы. Заяц разговаривал:

— Выручили вы меня, ребята... Теперь — что хотите просите... Тело мое все разбитое, ребра целого нет... Куда я теперь, — возьму лоток, пойду торговать? Охти мне... А ведь дело не ждет...

Алексашка опять подмигнул Алешке. Сказал: «Награды нам никакой не надо, только пусти переночевать». Когда Заяц уполз в баню, мальчики залезли на печь.

— Завтра пойдем вместо него пироги продавать, — шепнул Алексашка, — говорю — со мной не пропадешь...

Чуть свет кривая баба заладила печь: тестяные шишки, левашники, перепичи и подовые пироги, постные — с горохом, репой, солеными грибами, и скоромные — с зайчатиной, с мясом, с лапшой. Федька Заяц стонал на лавке под тулупом — не мог владеть ни единым членом. Алексашка подмел избу, летал на двор за дровами, выносил золу, помой, послал Алешку напоить Зайцеву скотину. В руках у него все так и горело, и все — с шуточками.

— Ловкач парень, — стонал Заяц, — ох, послал бы тебя с пирогами на базар... Так ведь продашь — уйдешь с деньгами-то, уворуешь... Больно уж расторопен...

Тогда Алексашка стал целовать нательный крест, что денег не украдет, снял со стены сорок святителей и целовал икону. Ничего не поделаешь, — Заяц поверил. Баба уложила в лотки под ветошь две сотни пирогов. Алексашка с Алешкой подвязали фартуки, заткнули рукавицы за пояс и, взяв лотки, пошли со двора.

— Вот, пироги подовые, медовые, полденьги пара, прямо с жара, — звонко закричал Алексашка, поглядывая на прохожих. — Вот, налетай, расхватывай! — Видя стоявших кучкой стрельцов, он приговаривал, приплясывая: — Вот, налетай, пироги царские, боярские, в Кремле покупали, да по шее мне дали, Нарышкины ели, животы заболели, а Языков да Лихачев не любят грибов.

Стрельцы смеялись, расхватывали пироги. Алешка тоже покрякивал с приговором. Не успели дойти до реки, как пришлось вернуться за новым товаром.

— Вас, ребята, мне бог послал, — удивился Заяц.

Михайла Тыртов третью неделю шатался по Москве: ни службы, ни денег. Тогда на Лубянской площади дьяки над ним надсмеялись. Ни земли, ни мужиков не дали. Князь Ромадановский ругал его и срамил, велел приходить на другой год, но уж без воровства, — на добром коне.

С площади он поехал ночевать в харчевню. По пути встретил старшего брата, и тот ругал его за несчастье и отнял мерина. Не догадался отнять саблю и дедовский пояс полосатого шелка с серебряными бляхами. В тот же вечер в харчевне, разгорячась от водки с чесноком, Михайла заложил у целовальника и саблю и пояс.

К Михайле прилипло двое бойких москвичей, — один сказался купеческим сыном, другой — под'ячим, а, вернее, попросту были кабацкие ярыжки, — стали Михайлу хвалить, целовать в губы, обещались потешить. С ними Михайла гулял неделю. Водили его в потайное место к одному греку, в подполье — курить табак из коровьих рогов, налитых водой: накуривались до морока, чудилась чертовщина, сладкая жуть.

Водили в царскую мыльню—баню для народа на Москве-реке— не столько париться, сколько поглядеть, посмеяться, когда в общий предбанник из облаков пара выскакивают голые бабы, прикрываясь вениками. И это казалось Михайле мороком, не хуже табаку.

Уговаривали пойти к сводне—потворенной бабе. Но Михайла по юности еще робел запретного. Вспоминал, как отец бывало, после вечерни, сняв пальцами нагар со свечи, раскрывал старинную книгу в коже с медными застежками, муслил палец, переворачивая засаленную с угла страницу, и читал о женах:

«Что есть жена? Сеть прельщения человекам. Светла лицом, и высокими очами мигающа, ногами играюща, много тем уязвляюща, и огонь лютый в членах возгорающа... Что есть жена? Покоище змеиное, болезнь, бесовская сковорода, бесцельная злоба, соблазн адский, увет дьявола...»

Как тут не заработать! Однажды завели его к Покровским воротам в кабак. Не успели сесть — из-за рогожной занавески выскочила низенькая девка с распущенными волосами: брови намазаны черно от переносья до висков, глаза круглые, уши длинные, щеки натерты свеклой до синевы. Сбросила с себя лоскутное одеяло и, голая, жирная, белая, начала приплясывать около Михайлы, — манить одной, то другой рукой, в медных перстнях, звенящих обручах.

Показалась она ему бесовкой, — до того страшна — до ужаса — ее нагота... Дышит вином, пахнет горячим потом... Михайла вскочил, волосы зашевелились, крикнул дико, замахнулся на пьяную девку и, не ударив, выскочил на улицу.

Желтый весенний закат меркнул вдали затихшей улицы. Воздух — пьяный. Хрустит ледок под сапогом. За сизой крепостной баш-

ней с железным флажком, из-за острой кровли лезет лунный круг, — медно-красный, — блестит Михайле в лицо... Страшно... Постукивают зубы, холод в груди... Завизжала дверь кабака, и на крыльце белой тенью раскорячилась та же девка: «Чего боишься, иди назад, миленький».

Михайла кинулся бежать прочь без памяти.

Деньги скоро кончились. Товарищи отстали. Михайла, жалея о с'еденном и выпитом, о виденном и нетронутном, шатался меж двор. Возвращаться в уезд к отцу и думать не хотелось.

Наконец, вспомнил про сверстника, сына крестного отца, Степку Одоевского, и постучался к нему во двор. Встретили холопы недобро, морды у всех разбойничьи... «Куда в шапке на крыльцо прешь!» — один сорвал с Михайлы шапку. Однако, — погрозились, пропустили. В просторных теплых сенях, убранных по лавкам звериными шкурами, встретил его красивый, как пряник, отрок в атласной белой рубашке, сафьянных чудных сапожках. Нагло глядя в глаза, спросил вкрадчиво:

— Какое дело до боярина?

— Скажи Степану Семенычу, друг, мол, его, Мишка Тыртов, челом бьет.

— Скажу, — пропел отрок, лениво ушел, потряхивая шелковыми кудрями. Пришлось подождать. Бедные не гордые. Отрок опять явился, поманил пальцем:

— Заходи.

Михайла вошел в крестовую палату. Заробев, истово перекрестился на угол, где образа завешаны парчевым застенком с золотыми кружевами. Покосился, — вот они, как живут богатые! Что за хоромный наряд! Стены обиты рытым бархатом. На полу — ковры и коврики, — пестрота. Бархатные налавочки на лавках. На подоконниках — шитые жемчугом наоконники. У стен — сундуки и ларцы, покрытые шелком и бархатом. Любую такую подкрышку — на зипун, или на ферязь, и во сне не приснится... Против окон — деревянная башенка с часами, и на ней — медный слон.

— А, Миша, здорово, — проговорил Степка Одоевский, стоя в дверях. Михайла подошел к нему, поклонился — пальцами до ковра. Степка в ответ кивнул. Все же, не как холопу, а как дворянскому сыну, подал влажную руку пожать.

— Садись, будь гостем. Давно не видались. Ты что ж в Москве — по делу?

Он сел, играя тростью. Сел и Михайла. На Степкиной обритой голове — вышитая каменьями туфейка. Лоб — боченком, без бровей, веки — красные, нос — кривоватый, на маленьком подбородке — реденький пушок. «Такого соплей. перешибить, выродка, и такому — богатство» — подумал Михайла и униженно, как и подобает убогому, стал рассказывать про неудачи, про бедность, заевшую его молодой век.

— Степан Семенович, для бога, научи ты меня, холопа твоего, куда голову преклонить... Хоть в монастырь иди... Хоть на большую дорогу с кистенем... — Степка при этих словах отдернул голову к стене, остеклянились у него выпуклые глаза. Но Михайла и виду не подал, — будто сказал про кистень так, по недоумению. — Степан Семенович, ведь сил больше нет терпеть нищету проклятую...

Помолчали. Михайла негромко, прилично вздыхал. Степка с недоброй усмешкой водил концом трости по крылатому зверю на ковре.

— Что ж тебе присоветывать, Миша... Много есть способов для умного, а для дураков всегда — сума да тюрьма... Вон, хоть бы тот же Володька Чемоданов, две добрые деревеньки оттягал у соседа... Леонтий Пусторослев недавно усадьбу добрую оттягал на Москве у Чижовых...

— Слышал, дивился... Да как ухватиться-то за такое дело, — оттягать? Шутка ли!

— Присмотри деревеньку да и оговори того помещика. Все так делают...

— Как это — оговори?

— А так: бумаги, чернил купи на копейку у площадного подъячего и настрочи донос...

— Да в чем оговаривать-то? На что донос?

— Молод ты, Миша, молоко еще не бросил пить... Вон Левка Пусторослев пошел к Чижову на именины, да не столько пил, сколько слушал, а, когда надо, и поддакивал... Старик Чижов и брякни за столом: «Дай-де бог великому государю Федору Алексевиичу здравствовать, а то говорят, что ему и до розговенья не дожить, в Кремле-де прошлую ночью кура петухом кричала...» Пусторослев, не будь дурак, вскочил и крикнул: «Слово и Дело!» Всех гостей с именинником — цап-царап — в приказ тайных дел. Пусторослев: «Так мол и так, сказаны Чижовым на государя поносные слова». Чижову руки вернули и — на дыбу. И завертели дело про куру, что петухом кричала. Пусторослеву за верную службу — чижовскую усадьбу, а Чижова — в Сибирь навечно. Вот как умные-то поступают... — Степка поднял на Михайлу немигающие, как у рыбы, глаза. — Володька Чемоданов еще проще сделал: донес, что хотели его у соседа на дворе убить до-смерти, а дьякам обещал с добычи третью часть. Сосед-то рад был ему и последнее отдать, от суда отвязаться...

Раздумав, Михайла проговорил, вертя шапку:

— Неопытен я по судам-то, Степан Семеныч.

— А кабы ты был опытный, я бы тебя не учил... — Степка засмеялся до того зло, Михайла отодвинулся, глядя на его зубы: мелкие, изъеденные. — По судам ходить — нужен опыт... А то, гляди, и сам попадешь на дыбу... Так-то, Миша, с сильным не связывайся, слабого — бей... Ты, вот, гляжу, пришел ко мне без страха...

— Степан Семеныч, как я — без страха...

— Помолчи, молчать учиться надо... Я с тобой приветливо беседую, а знаешь, как у других бывает?.. Вот, мне скучно... Плеснул в ладоши... В горницу вскочили десятка два холопов... Потешьте меня, рабы верные... Взяли бы тебя за белые руки, да на двор — поиграть, как с мышью кошка... — Опять засмеялся одним ртом, глаза не мигали. — Не пужайся, я нынче с утра шучу.

Михайла осторожно поднялся, собираясь кланяться. Степка тронул его концом трости, заставил сесть.

— Прости, Степан Семеныч, по глупости что лишнее сказал.

— Лишнего не говорил, а смел не по чину, не по месту, не по роду, — холодно и важно ответил Степка. — Ну, бог простит. В другой раз в сенях меня жди, а в палату позовут — упирайся, не ходи. Да заставлю сесть — не садись. И кланяться должен мне не большим поклоном, а в ноги.

У Михайлы затрепетали ноздри, — все же сломил себя, униженно стал благодарить за науку. Степка зевнул, перекрестил рот.

— Надо, надо помочь твоему убожеству... Есть у меня одна работа... Молчать-то умеешь?.. Ну, ладно... Вижу, парень понятливый... Сядь-ка ближе... — Он стукнул тростью, Михайла торопливо сел рядом. Степка оглянул его пристально. — Ты где стоишь-то — в харчевне? Ко мне ночевать приходи. Выдам тебе зипун, ферязь, штаны, сапоги нарядные, а свое, худое, пока спрячь. Боярыню одну надо ублагоутворить.

— По этой части? — Михайла густо стал заливаться краской.

— По этой самой — беса тешить. Без хлопот набьешь карман ефимками... Есть одна боярыня знатная... Сидит на коробах с казной, а бес ее свербит... Понял, Мишка? Будешь ходить в повиновении, как раб, — тогда твое счастье... А заворуешься — велю кинуть в яму к медведям, — и костей не найдут. — Он выпростал из-под жемчужных нарукавников ладони и похлопал. Вошел давешний наглый отрок. — Феокист, отведи дворянского сына в баню, да выдай ему исподнего и одежды доброй... Ужинать ко мне его приведешь...

Царевна Софья вернулась от обедни, — устала. Выстояла сегодня две великопостные службы. Кушала хлеб черный да капусту, и то — чуть-чуть. Села на отцовский стул, вывезенный из-за моря, на колени опустила в вышитом платочке просфору. Стулец этот недавно по ее приказу принесли из Грановитой палаты. Вдова, царица Наталья, узнав, кричала: «Царевна-де и трон скоро велит в светлицу к себе приволочь...». Пускай сердает царица Наталья.

Весеннее солнце жарко било разноцветными лучами сквозь частые стекла двух окошечек. В светлице чистенько, простенько, пахнет сухими травами. Белые стены, как в келье. Изразцовая с лежанками печь жарко натоплена. Вся утварь, лавки, стол покрыты холстами.

Медленно вертится расписанный розами циферблат на стоячих часах. Задернут пеленою книжный шкафчик: великий пост — не до книг, не до забав.

Софья поставила ноги в суконных башмаках на скамеечку, полужакрыв глаза, покачивалась в дремоте. Весна, весна, бродит по миру грех, пробирается, сладкий, в девичью светлицу... В великопостные-то дни... Спустить бы завеси на окошках, погасить пестрые лучи, — неохота встать, неохота позвать девку. Еще поют в памяти напевы древнего благочестия, а слух тревожно ловит — не скрипнула ли ступенька, не идет ли свет жизни моей, ах, не входит ли грех... «Ну, что ж, отмолю... Все святые обители обойду пешком... Пусть войдет...»

В светлице дремотно, только постукивает маятник. Много здесь было пролито слез. Не раз бывало металась Софья между этих стен. Кричи, изгрызи руки, — все равно, уходят годы, отцветает молодость. Обречена девка, царская дочь, на вечное девство, черную скуфью... Из светлицы одна дверь — в монастырь... В могилу... Сколько их тут, царевен, крикивало по ночам в подушку дикими голосами, рвало на себе косы, — никто не слышал, не видел...

Сколько их прожило век бесплодный, уснуло под монастырскими плитами... Имена забыты тех горьких дев. Одной выпало счастье! Вырвалась, как шалая птица, из девичьей тюрьмы... Разрешила сердцу — люби... И свет очей, Василий Васильевич прекрасный, не муж какой-нибудь с плетью и сапожищами, — возлюбленный со сладкими речами, любовник вкрадчивый и нетерпеливый... Ох, грех, грех... Софья, оставив просфору, слабо замахала руками, будто отгоняла его, и улыбалась, не раскрывая глаз, теплым лучам из окна, горячим видениям...

Разве можно назад загнать в терем такую? Легче убить... Через все перешагнет она, — через стыд и через кровь...

15

Заскрипели ступени. Софья вскинулась, пронзительно глядя на дверь, будто влетит сейчас в золотых ризах огненнокрылый погубитель. Губы задрожали, — опять облокотилась о бархатный подлокотник, опустила на ладонь лицо. Шумно стучало сердце.

Наклоняясь под низкой притолкой, осторожно вошел Василий Васильевич Голицын. Остановился без слов. Софья так бы и обхватила его, как волна морская, взволнованным телом. Но притворилась, что дремлет: сие было приличнее, — устала царевна, стоявши обедню, и поживает с улыбкой.

— Софья, — чуть слышно позвал он. Наклонился, хрустя парчей. У Софьи раскрылись губы. Тогда душистая борода его защекотала щеки, теплые губы приблизились, прижались сильно. Софья всколыхнулась, неизяснимое желание прошло по спине, горячей судорогой

растаяло в широком тазу ее... Подняла руки — обнять Василия Васильевича за голову,—и оттолкнула:

— Ох, отойди... Что ты, грех чай в пятницу-то...

Раскрыла умные глаза и удивилась, как всегда, красоте Василия Васильевича. Почувствовала, что он — нетерпелив. Покачала головой, вся заливаясь радостью...

— Софья, — сказал он, — внизу Иван Михайлович да Иван Андреевич Хованский с великими вестями пришли к тебе. Выйди. Дело неотложное.

Софья схватила его руки, прижала к полной груди и поцеловала их. Ресницы ее были влажны от избытка любви. Подошла к зеркальцу поправить венец и рассеянно скользнула по своему отражению: некрасива, но ведь любит...

— Пойдем...

У косячатого окошечка, касаясь потолочного свода горлатыми шапками, стояли Хованский и Иван Михайлович Милославский, царевнин дядя, — рябой и широкоскулый, с глазами щелками, весь потный, в новой, дарованной, шубе, весь налитый кровью от сытости и волнения. Софья, быстро подойдя, по-монашески наклонила голову. Иван Михайлович вытянул насколько возможно бороду и губы, — ближе подступить мешала ему шуба и прижатая к животу шапка, — прошептал:

— Матвеев уж в Троице... (Зеленоватые глаза Софьи холодно расширились). Монахи его, как царя, встречают. Мая двенадцатого ждать его на Москве. Только что прискакал из-под Троицы племянник мой, Петр Толстой... Рассказывает: Матвеев после обедни при всем народе лаял и срамил нас, Милославских: «Вороны, говорит, вороны на царскую казну слетелись... На стрелецких-де копьях хотят во дворец прыгнуть... Только этому-де не бывать... Уничтожу мятеж, стрелецкие полки разошлю по городам да на границы. Верхним боярам крылья пообломаю. Крест-де целую царю, Петру Алексеичу. А за малолетством его пусть правит мать, Наталья Кирилловна, и без того не умру, покуда так все не сбудется...

Лицо Софьи посерело. Стояла она, опустив голову и руки. Только вздрагивал рогатый венец, и толстая коса шевелилась по спине. Василий Васильевич находился поотдаль, в тени. Хованский мрачно глядел под ноги. Вздернул головой:

— Сбудется, да не то... Матвееву на Москве не быть...

— А хуже других, — еще торопливее зашептал Милославский, — срамил он и лаял князя Василия Васильевича Голицына. «Васька-де Голицын за царский венец хватается, быть ему без головы...»

Софья медленно обернулась, встретилась глазами с Василием Васильевичем. Он усмехнулся, — слабая, жалкая морщинка скользнула в углу рта. Софья поняла: решается его жизнь, идет разговор о его голове... За эту морщинку сожгла бы Москву она сейчас... Проглотив волнение, Софья спросила:

— А что говорят стрельцы? — Милославский засопел. Василий

Васильевич мягко пошел по палате, заглядывая в двери, вернулся и стал за спиной Софьи. Не сдержавшись, она перебила начавшего рассказывать Хованского: — Царица Наталья Кирилловна крови возжаждала... С чего бы? С жиру? Или все еще худородство свое не может забыть, — у отца с матерью на одном гороховом киселе сидела... Все знают, когда Матвеев из жалости ее взял жить к себе в палаты, — у нее и рубашки не было переменить... А теремов сроду не знала, с мужиками за одним столом вино пила на пирах. — У Софьи полная шея, туго схваченная жемчужным воротом сорочки, налилась гневом, щеки покрылись пятнами. — Весело царица век прожила и с покойным батюшкой, и с Никоном патриархом не мало шуток было шучено... Мы-то знаем, теремные... Братец Петруша, государь наш, — прямо — притча, чудо какое-то, — и лицом и повадкой ну, — чистый Никон... Братцем-то его звать и язык едва поворачивается... — Софья, стукнув перстнями, стиснула, прижала руки к груди. — Я девка, мне стыдно говорить с вами о государственных делах... Но уж если Наталья Кирилловна крови захотела, — будет ей кровь... Либо всем вам — головы прочь, а я в колодезь кинусь...

— Любо, любо слушать такие слова, — проговорил Василий Васильевич. — Ты, князь Иван Андреевич, расскажи царевне, что в полках творится...

— Кроме Стремянного все полки за тебя, Софья Алексеевна, — опять стал рассказывать Хованский. — Каждый день стрельцы собираются многолюдно у с'езжих изб, бросают в окна камнями, палками, бранят полковников матерно («Кха» — поперхнулся при этом слове Милославский, испуганно моргнул Василий Васильевич, а Софья и бровью не повела)... Полковника Бухвостова да сотника Боборыкина, кои строго стали говорить и унимать, стрельцы взвели на колокольню и сбили оттуда на землю и кричали: «Любо, любо...» И приказов они слушать не хотят; в слободах, в Белом городе и в Китае собираются в круги и мутят на базарах народ, и ходят к торговым баням, и кричат: «Не хотим, чтоб нами правили Нарышкины да Матвеев, мы им шею свернем...»

— Кричать они горласты, а нам видеть надобно от них великие дела! — Софья приподнялась на цыпочки, изломила брови гневом. — Пусть не побоятся на копыя поднять Артамо́на Матвеева, Языкова и Лихачева — врагов моих, Нарышкиных — все семья... Мальчишку, щенка ее, спихнуть не побоятся... Мачеха, мачеха... Чрево проклятое... Вот, возьми... — Софья сразу сорвала с пальцев все перстни, зажав в кулаке, протянула Хованскому. — Пошли им... Скажи им, — все им будет, что просят: и жалованье, и земли, и вольности... Пусть не заробеют, когда надо... Скажи им: пусть кричат меня на царство...

Милославский только махал в перепуге руками на Софью. Хованский, разгораясь безумством, скалил зубы. Василий Васильевич прикрыл глаза ладонью, не понять зачем, — быть может, не хотел, чтобы при сих словах видели надменное лицо его...

16

Алексашка с Алешкой от'елись на пирогах за весну. Житье — лучше и не надо. Разжирел и Заяц, обленился: «Поработал со свое, теперь вы потрудитесь на меня, ребята». Сидел целый день на крыльце, на припеке, глядя на кур, на воробьев. Полюбил грызть орехи. С лени и с жиру начали приходить к нему мысли: «А вдруг мальчишки утаивают деньги? Не может быть, чтобы не воровали хоть по малости».

Стал он по вечерам, считая выручку, расспрашивать, придираяться, лазил по карманам и за щеки, ища утайные деньги. По ночам стал плохо спать, все думал: «Должен человек воровать, раз он около денег». Оставалось одно средство: бить, застращать мальчишек.

Алексашка с Алешкой пришли однажды к ужину, веселые, отдали выручку. Заяц пересчитал и придрался, — копейки нехватает... Украли! Где копейка? Взял с утра еще вырезанную сырую палку, сгреб Алексашку за виски и начал бить с приговором, — раз по Алексашке, два — по Алешке. Отвозив мальчиков, велел подавать ужинать.

— Так-то, — говорил он, набивая рот студнем с уксусом и перцем, — за битого нынче двух небитых дают... В люди вас выведу, вьюноши, сами потом спасибо скажете.

Ел Заяц щи со свиной, куриные пупки на меду с имбирем, лапшу с курой, жареное мясо. Молоко жрал с кашей. Кладя ложку на непокрытый стол, тонко рыгал. Щеки у него дрожали от сытости, глаза заплыли. Расстегнул пуговицу на портках:

— Бога будете за меня молить, чада мои дорогие... Ешьте, пейте, — чувствуйте, я ваш отец...

Алексашка молчал, кривил рот, в глаза не глядел. После ужина сказал Алешке:

— От отца ушел через битье, от этого и подавно уйду. Он теперь повадится драться, боров...

Страшно стало Алешке бросать сытую жизнь. Лучше, конечно, без битья, да где же найти такое место на свете, — все быют. Зато покойно, работа легкая. На печи тайком плакал. Опять привиделась мамка во сне. Но нельзя же было отбиваться от товарища. На утро, взяв лотки с пирогами, мальчики вышли на улицу.

Свежо было майское утро. Сизые лужи. На березах пахучая листва. Посвистывают скворцы, задрав к солнцу головки. За воротами стоят шальные девки, — ленятся работать. На иной, босой, одна посконная рубаха, а на голове венец из бересты, в косе ленты. Глаза дикие. Скворцы на крышах, на скворешнях щелкают соловьями, заманивают девок в рощи, на траву. Вот весна-то!.. «Вот пироги подовые с медом...»

Алексашка засмеялся:

— Подождет Заяц нынешней выручки..

— Ой, Алексашка, ведь так — грабеж...

— Дура деревенская... А жалованье нам дьявол платил? Хребет на него даром два месяца ломали... Эй! Купи, стрелец, с зайчатиной, пара — с жару, грош цена...

Все больше попадалось баб и девок за воротами, на перекрестках толпился народ. Вот бегом прошли стрельцы, звякаясь ржавыми бердышами, — народ расступался, глядя на них в страхе. Чем ближе к Всехсвятскому мосту через Москву-реку, там стрельцов и народу становилось больше. Весь берег, как мухами, обсажен людьми, — лезли на сдалки и навозные кучи — глядеть на Кремль. В зеркальной воде, едва колеблемой течением, спокойно отражались зеленоверхие башни, зубцы кирпичных стен и золотые купола семидесяти кремлевских церквей, церквенок и соборов. Но беспокойны были разговоры в народе. За тведынями стен, где пестрели чудные, нарядные крыши боярских дворов и государева дворца, в этой майской тишине творилось неладное... Что—доподлинно еще не знали. Стрельцы шумели, не переходя моста, охраняемого с кремлевской стороны двумя пушками. Там виднелись пешие и конные жильцы, — дети дворянские, служившие при государевой особе. Поверх белых кафтанов на них навешаны за спиной на медных дугах лебединые крылья. Жильцов было мало, и, видимо, они робели, глядя, как с Балчуга подваливают тысячи народу.

Алексашка, как бес, вертелся близ моста. Пирогы они с Алешкой все живо сбыли, лотки бросили. Не до торговли. Жутко и весело. У всех накипело. Жить очертело при таких порядках. Жаловались. Грозил кремлевским башням. Старик посадский, взлезши на кучу мусора и снявши колпак с лысины, говорил медленно:

— При покойном Алексее Михайловиче так-то народ поднялся... Хлеба не было, соли не было, деньги стали дешевы, серебряный-то целковый казна переправляла на медный... Бояре кровь народную пили жадно... Народ взбунтовался, снял с коня государя, Алексея Михайловича, и рвал на нем шубу... Тогда многие дворы боярские разбили и сожгли, бояр побили... И на низу поднялся великодушный казак Разин... И быть бы тогда воле, народ бы жил вольно и богато... Не подержали... Народ слабый, одно—горланить горазд, застращены с малолетства... И ныне без единодушия того же, ребята, ждите, — плахи да виселицы, одолеют вас бояре...

Слушали его, разинув глаза и рты... И еще смутнее становилось и жутче. Понимали только, что в Кремле власти нет, и время бы подходящее — пошатнуть вековечную твердыню. Но как?

В другом месте выскакивал стрелец к народу:

— Чего ждете-то? Боярин Матвеев чуть свет в Москву в'ехал... Не знаете, что ли, Матвеева? Покуда в Кремле бояре, без головы, лаялись друг с дружкой — жить еще можно было... Теперь настоящий государь об'явился, — он вожжи подтянет... Данями, налогами так всех обложит, как еще не видали... Бунтовать надо нынче, завтра поздно будет...

Как в водовороте, кружились головы от таких слов. Завтра — поздно... Наливались кровью глаза... Мороком чудился Кремль, лениво отраженный в реке, — седой, запретный, вероломный, полный золота... На стенах у пушек — ни одного пушкаря. Будто вымер. И высоко — плавающие коршуны над Кремлем...

Вдруг на той стороне моста засуетились крылатые жильцы, донесли их слабые крики. Между ними, вертясь на снежно-белом коне, появился всадник. Его не пускали, размахивая широколезвийными бердышами. Наседая, он вздернул на дыбы коня, вырвался, потерял шапку и бешено помчался по плывучему мосту, — между досок брызнула вода, — цок, цок, — тонконогий конь взмахивал весело гривой.

Тысячи народа затихли. С того берега раздался одинокий выстрел по скачущему. Врезавшись в толпу, он вытянулся на стремях, — кожа двигалась на сизо обритой его голове, длинное, длинноносое юношеское лицо разгорелось от скачки, задыхаясь, он блестел карими глазами из-под широких, как намазанных углем, бровей. Его узнали:

— Толстой... Петр Андреевич... Племянник Милославского... Он за нас... Тише... Слушайте, что он скажет...

Высоким, срывающимся голосом Петр Андреевич крикнул:

— Народ... Стрельцы... Беда... Матвеев да Нарышкины только что царевича Ивана задушили... Не поспеете — они и Петра задушат... Идите скорей в Кремль, а то будет поздно...

Заворчала, зашумела толпа, ревя, кинулись к мосту. Заколыхались тысячи голов, завертелся среди них белый конь Толстого. Затрещал мост, опустился, — бежали по колена в воде. Расталкивая народ, молча, озверелые проходили сотня за сотней стрельцы. Где-то ударил колокол, — бум, бум, бум, — чаще, чаще, тревожнее... Отозвались колокольни, заметались колокола, и все сорок сороков московских забили набат...

В тихом Кремле кое-где, блеснув солнцем, захлопнулось окошко, другое...

17

От нетерпения перемешавшись полками, стрельцы добежали до Грановитой палаты и Благовещенского собора. Многие, отстав по пути, ломались в крепкие ворота боярских дворов, лезли на колокольни — бить набат: тысячепудовым басом страшно гудел Иван Великий. В узких проулках между дворов, каменных монастырских оград и желтых стен длинного здания приказов, — что окнами на реку, — валялись убитые, и ползали со стонами раненые боярские челядинцы. Носилось испуганно несколько оседланных лошадей, их ловили со смехом. Крича, били камнями окна.

Стрельцы, народ, тучи мальчишек (конечно и Алексашка с Алешкой) глядели на пестрый государев дворец, раскинувшийся на четверть кремлевской площади. Палаты, каменные и деревянные, высокие терема, приземистые избы, сени, башни и башенки, расписанные красным, зеленым, синим, обшитые тесом и бревенчатые, соединены множеством

переходов и лестниц. Сотни шатровых, луковичных крыш, чудных вер-хушек, ребрастых, пузатых, колючих, как петушьи гребешки, блестяли золотом и серебром. Здесь жил владыко земли, после бога первый...

Страшновато все-таки. Сюда не то что простому человеку с ору-жием подойти, а боярин оставлял коня у ворот и месил по грязи пеший, ломил шапку, косясь на царские окна. Стояли, глядели. В грудь бил надрывно голос Ивана Великого. Брала оторопь. И тогда выскочили перед толпу бойкие крикуны:

— Ребята, чего рты разинули? Царевича Ивана задушили, царя Петра, может, они сейчас кончают. Айда, приставляй лестницы, ломись на крыльцо, требуй к ответу!

Гул прошел по многотысячной толпе. Резко затрещали барабаны. «Айда, айда» — завопили дикие голоса. Кинулось десятка два стрель-цов, перелезли через решетку, выхватывая кривые сабли, взбежали на Красное крыльцо, застучали в медную дверь, навалились плечами. «Айда, айда, айда» — ревом пронеслось по толпе. Заколыхались над головами откуда-то захваченные лестницы. Их приставили к окнам Грановитой палаты, к боковым перилам крыльца. Полезли. Лязгая зубами, кричали: «Давай Матвеева, давай Нарышкиных!..»

18

— Убьют ведь, убьют... Что делать, Артамон Сергеевич?..

— Бог милостив, царица. Выйду, поговорю с ними... Эй, послали за патриархом? Да бегите еще кто-нибудь...

— Артамон Сергеевич, это они, враги мои... Языков сам видел, — двое Милославских, переодетые, — со стрельцами...

— Твое дело женское, — молись, царица...

— Идет, идет! — закричали из сеней. Вонзая в дубовый пол острие посоха, вошел патриарх Иоаким. Исступленные, в темных впадинах гла-за его устремились на низенькие окна под сводами. С той стороны к цветным стеклышкам прильнули головы стрельцов, влезших на лест-ницы. Патриарх поднял сухую руку и погрозил.

Наталья Кирилловна кинулась к патриарху. Ее полное лицо было бело, как белый плат под чернолисей шапочкой. Уцепилась за его ледя-ную руку, часто целуя, лепетала:

— Спаси, спаси, владыко...

— Владыко, дела плохие, — сурово сказал Артамон Сергеевич. Патриарх повернул к нему расширенные зрачки. Матвеев мотнул квад-ратной, пего-седой бородой, отвислыми книзу щеками. — Заговор, пря-мой бунт... Сами не знают, что кричат...

Похожий на икону древнего письма, орлиноглазый, тонконосый, Матвеев был спокоен: видал много всякого за долгую жизнь, не раз был близ смерти. Одно чувство осталось у него — гордое властолюбие... Сдерживая гнев, трепетавший в мешках под глазами, сказал:

— Лишь бы из Кремля их удалить, а там уж расправимся...

За окнами жутче раздавались удары и крики. По палате из двери в дверь пробежал на цыпочках тот, кого стрельцы и бояре ненавидели хуже сатаны, — красавец и щеголь, двадцатичетырехлетний и уже боярин, брат царицы, Иван Кириллович Нарышкин, про кого говорили, что будто бы примерял на голову царский венец. Черные усики его казались наклеенными на позеленевшем лице: словно он видел завтрашние пытки и страшную смерть свою на лобном месте. Размахивая польскими руками, крикнул:

— Софья пожаловала!—и скрылся за дверь. За ним вслед проковылял на кривых ногах карлик, ростом с дитяту. Держась за шутовской колпак, плакал всем морщинистым лицом, тоже будто чуя, что завтра предаст своего господина.

В палату быстро вошли Софья, Василий Васильевич Голицын и Хованский. Щеки Софьи были густо нарумянены. Вся — в золотой парче, в высоком жемчужном венце. Приложив к груди руки, низко поклонилась царю и патриарху. Наталья Кирилловна отшатнулась от нее, как от змеи, только замигала глазами, — смолчала.

— Народ гневается, знать, есть за что, — сказала Софья громко, — ты бы с братьями вышла к народу, царица... Они бог знает что кричат, будто бы детей убили... Уговори, посули им милости, — того гляди они во дворец ворвутся...

Говорила, а белые зубы ее постукивали, зеленые глаза мерцали радостным возбуждением. Матвеев шагнул к ней:

— Не время сводить бабьи счеты...

— Тогда выдь ты к ним...

— Смерти не боюсь, Софья Алексеевна...

— Постойте, — сказал патриарх, стуча посохом, — не то надо... Покажите им детей, Ивана и Петра...

— Нет! — крикнула Наталья Кирилловна, хватаясь за виски. — Владыко, не позволю... Боюсь!..

— Вынесите детей на Красное крыльцо, — повторил патриарх.

19

И вот, завизжал замок на медной двери на Красном крыльце. Толпа придвинулась, затихла, жадно глядя. Замолкли барабаны.

Алексашка повис, вцепившись руками и ногами, на пузатом столбе крыльца. Алешка, не отставая (хотя и оборвали в толкотне уши), находился подле товарища, разинув рот, будто на яву видел сказку из тех, что в зимние вечера, при свете лучины, рассказывают скуки ради голодные, поротые мужики.

Дверь распахнулась. Увидели царицу Наталью Кирилловну во вдовьей черной опашени и золотопарчевой мантии. Взглянув на тысячи, тысячи глаз, упертых на нее, царица покачнулась, мантия соскользнула с плеч. Чьи-то руки протянули ей мальчика в пестром узком кафтанчике. Царица, с усилием вздернув животом, приподняла его, поста-

вила на перила крыльца. Мономахова шапка с'ехала ему на ухо, открыв черные стриженные волосы. Круглолицый и тупоносенький, он вытянул шею. Глаза круглые, как у мыши. Маленький рот сжат с испугу.

Царица хотела что-то сказать и зашлась, закинула голову. Из-за ее спины выдвинулся Матвеев. По толпе прошло рычание... Он держал за руку мальчика постарше, с худым равнодушным личиком, отвисшей губой.

— Кто вам лгал, — стариковским, но сильным голосом заговорил Матвеев, изламывая седые брови, — кто лгал, что царя и царевича задушили... Глядите — вот царь Петр Алексеевич на руках у царицы... Здоров и весел... Вот царевич Иван, — приподнял подмышку равнодушного мальчика и показал толпе. — Оба живы божьей милостью... (В толпе стали переглядываться, заговорили: «Они самые, обману нет»). Стрельцы! Идите спокойно по домам... Если что надо, есть какие просьбы и жалобы, — присылайте челобитчиков...

С крыльца в толпу сошли Хованский и Василий Васильевич. Кладя руки на плечи стрельцам и простым людям, уговаривали разойтись, но говорили будто с усмешкой. Из присмирившей толпы опять раздались злые голоса:

— Ну, что ж, что они живы...

— Сами видим, что живы...

— Все равно не уйдем из Кремля...

— Нашли дураков... Знаем ваши сладкие слова...

— А потом нам ноздри рвать у приказной избы...

— Выдайте нам Матвеева и Нарышкиных...

— Ивана Кириллыча Нарышкина... Он царский венец примерял...

— Кровопийцы, бояре... Языкова нам выдайте...

— Лихачева Алешку... Долгорукова... Ромадановского Григория Григорьевича...

Все злее кричали голоса, перечисляя ненавистные имена бояр. Наталья Кирилловна опять побелела, обхватила сына. Петр вертел круглой головой, — чей-то голос крикнул со смехом: «Гляди-ка, — чистый кот». С крыльца сбежал, весь в алом бархате, в соболях, в звенящем оружии, князь Михайла Долгорукий, сын стрелецкого начальника, холеный и надменный, — закричал на стрельцов, размахивая нагайкой:

— Рады, сарынь, сучьи дети, что отец мой больной лежит. Вооруете... Заворовались... Прочь отсюда, рвань, псы, холопы...

Попятились было стрельцы перед свистящей нагайкой... Но не те времена, — не так надо было разговаривать... Задышали, засопели, потянулись к нему:

— Начальник!.. А с колокольни ты не летал?.. Да ты кто нам, щенок?.. Бей его, ребята!..

Взяли его за перевязь, сорвали, — в клочья разлетелся алый бархатный кафтан. Михайла Долгорукий выхватил саблю и, пятясь, отмахиваясь, взошел на крыльцо. Стрельцы, уставя копья, кинулись за ним.

схватили. Царица дико завизжала. Растопыренное тело Долгорукова полетело и скрылось в топчущей, рвущей его толпе.

Матвеев и царица подались к двери. Но было уже поздно: из сеней Грановитой палаты (проведенные туда тайно Иваном Милославским) выскочили Овсей Ржов с товарищами.

— Бей Матвеева, — закричали они.

— Любо, любо, — заревела толпа.

Овсей Ржов насел сзади на Матвеева. Царица взмахнула руками, прильнула к Артамону Сергеевичу. Царевич Иван, отпихнутый, упал и заплакал. Круглое лицо Петра исказилось, перекопилось, из маленького рта выбилась пена, он вцепился обеими руками в пегую бороду Матвеева... «Оттаскивай, не бойся, рви его, — кричали стрельцы, подняв копья, — кидай его нам».

Кто-то оттащил царицу, отшвырнул Петра, как котенка. Огромное тело Матвеева с разинутым ртом высоко вдруг поднялось, задело сапогами за перила и перевалялось на уставленные копья.

Стрельцы, народ, мальчишки (Алексашка с Алешкой) ворвались во дворец, разбежались по сотням комнат. Царица с обоими царевичами все еще была на крыльце, без памяти. К тем, кто остался на площади, опять подошли Хованский и Голицын, и в толпе закричали:

— Хотим Ивана царем... Обоих... Хотим Софью... Любо, любо... Софью хотим на царство... Воли хотим!.. Обид не помнить... Столб хотим на Красной площади, памятный столб, — чтоб воля наша была вечная.

Конец первой главы

Встречи

Рассказ

СЕРГЕЙ МАРКОВ

Ник. Анову

1

Когда у меня разорвалась вязаная перчатка и нитка скрутилась, как голубая проволока, Матвей Иванович долго и любовно помогал мне в моем горе. Мы починили перчатку с трудом солдат, качающих чужого ребенка. После мы пили чай и смотрели в окошко на зимний закат, встающий над степью. Кроме меня и Матвея Ивановича, за столом сидели наш сосед, агент уголовного розыска Лапич, корпевший над хитрыми формулами дактилоскопа Бертильона, и хозяйка. Она в тысячный раз рассказывала нам о днях ее высокой службы в фирме Мюра, когда сам великий князь, купив у ней перчатки, вслух выразил свое удивление по поводу ее красоты.

Легенда о великом князе давно надоела нам, как надоели кривые улицы Петропавловска-Акмолинского, нелепый пустырь с мерзлым бурьяном, карауливший наши окна, и хрипенье увенчанных розанами часов в сумрачном коридоре.

Когда хозяйка ушла, гремя чашками, Матвей Иванович еще раз осмотрел перчатку. Его рябое лицо с пегими бакенбардами, похожими на крылья, было покрыто улыбкой.

— От чего в какой раз зависит жизнь, — сказал он. — Ведь эту дрянь я сейчас везде купить могу, ее в нашей лавке — хоть завешайся. Рубль двадцать пара!

(Слово «лавка» Матвей Иванович в разговоре всегда выделял: он, суровый властитель галантерейного отдела кооператива, гордился своим назначением).

— Лупу мне надо, — буркнул сосредоточенный Лапич, — а ее у вас нет.

— Ты не перебивай... Ты, может, захочешь, чтоб мы телескопами торговали. Ты слушай, о чем я хочу говорить. Тут такая теория жизни, что можно удивляться моему испытанию. Вот ты, наверно, про комиссара с будильником слышал?

— Да, — ответил я, насторожившись. Меня начинали занимать слова Матвея Ивановича. Лапич также отложил в сторону свои бумаги с оттисками и придвинулся к нам.

— Тут, брат, все тебе было: и перчатки, и часы-будильник. Я только удивляюсь, почему мне жизнь обратно вернулась? Знаете вы, что я — с Горькой Линии, и, конечно, был хоть сам и казак, но в гусарском полку. Время-то какое было — темляки на клинках от крови ссыхались и ломались. Бил нас Каширин, бил Блюхер, и мы били, да только пришлось нам отступать. Тут мы и слышали про комиссара Будильника. Лют был он и у седла возил средний саквояж бурмалинового цвета, а в том саквояже — часы - будильник.

Болтали пор того комиссара разное: будто поймаёт он кого из наших, спытает, какой он масти, будильник вынет и наугад стрелку на звон поставит.

Гусар иль казак там его спрашивает:—Зачем? А он как бы отвечает: — Я судьбу вашу будильником решаю без всякого пристрастия!..

Значит, как часы зазвонят — пошел гусар к богу с рапортом. Такой был слух про него пущен... Конечно, это наши больше одну тень на плетень наводили, потому что произошел один случай с яицким егерем...

Привели к Будильнику из штаба пленного егеря, комиссар и берет бурмалиновый саквояж, достает свой смертельный тихход. А егерь сам мундир скидает, чтоб кровью его не замарать, и вынимает из правого кармана часы чистого золота, на шестидесяти камнях.

Сам после и говорит:

— Не хочу по твоим часам помирать, помру по своим; они каждую четверть звонят!

Будильник смотрит на егеря, а тот после своих нахальных слов требует у комиссара папиросу.

Комиссар от такого оборота аж усы закусил и спрашивает егеря:— Ты из каких чертей будешь?

А егерь ему не уступает и режет в ответ:—Я—егерского! Яицкого полка дьявол!.. А ты папирасы не жалея, а то жизни всего семь минут остается!

Будильник тогда произносит:

— Ты почему думаешь, что я тебя казнить хочу?

Егерь весь слух про будильник передает без стеснения.

Комиссар вдруг как захохочет.

— Липа одна про мой будильник ходит! Он у меня не для казни, а для вечного воспоминания. Вашего брата мы и без часов расстрелять можем. Сейчас ты для меня одно дело должен сделать! — и подает комиссар егерю будильник в руки. Прибавляет еще, что егерь сам знает, как с будильником поступать надо. Что за чудеса!

Пленный в момент часы к вострому своему уху приложил и говорит:

— Дело легкое, исправить в два счета можно!

Да... Выходит, дело тут вот в чем было: за день до того испортился у комиссара будильник, а яйцкому егерю в штабе допрос делали и дознались, что он есть бывший варшавский часовых дел подмастерье... Стукнули Будильнику, он и потребовал егеря к себе, а егеря всю агитацию и пропаганду знал и думал, что его по будильнику шлепнуть хотят. Ну, значит и решил, если погибать—так с треском, для того и папиросу просил.

— Починил он будильник-то, — закончил Матвей Иванович, — и стрелять его не стали за отчаянность души и золотые руки. А потом и дознались, что у комиссара будильник-то был не простой, а наградной, и берег его хозяин шибко. Был он ему от верхуральских трулящих поднесен, как народному герою, с надписью: «Пробил час...», и еще насчет всемирного пожара...

— Да, — сказал громко Лапич, — он думал, егеря-то, что его Курносая приласкает, по затылку погладит!

Матвей Иванович рассердился. Лимон в его стакане колыхнулся тревожно, как поплавков.

— Вечно ты, Лапич, со своим уголовным наречием... Ну, скажи просто — смерть по-нашему, а то — Курносая... Да и не мешай рассказывать, сиди тише.

— Налево есть! Тащи нищего по мосту, — захохотал Лапич.

Рассказ продолжался.

— Но что самое чудное было, — с Будильником баба ездила, бывшей монашеской категории. Бровью черна, говорили, с лица смугла, лебедь американский, а не баба! Конь под ней в яблоках, уздечка в серебре. Под грудями у ней маузер висит в деревянной коробке. Слышать, была она из-под Ишима монашина, а имя ей: Туркия, скорей, конечно, прозвание...

— Видел ты, что ли, ее?—перебил рассказчика Лапич, но Матвей Иванович не ответил ничего. Он был чем-то сейчас возбужден, бакенбарды прилипали к рябым щекам, моя перчатка, попавшая к нему в руки, прыгала в широких пальцах.

— Вот и вышла история с перчатками... Когда отступали мы, послали меня в разведку. Со мной — двадцать сабель, ребята все свои, с Горькой Линии. Едем мы тайгой все в гряде; стремя о стремя рубит. Вдруг видим, нам навстречу вершны едут. Стой, ребята! Однако, опамтовались — свои... Погоны на одлечьях, пики — в общем, легкая кавалерия. Впереди на сером коне подбоченился офицер молодой, да такой, ровно мальчик, из Неплюевского корпуса кадет. Голос у него тонкий, как иголка. Я еще на него подивился, больно, мол, молод. Носок на сторону в стремях взял и строго спрашивает: — Какого полка?

Мы ответ даем честь по чести. Он нас спрашивает насчет направления, фуража и прочих наших дел. А тут со мной рядом Гошка Чунтонов, с Акмолинска, стоит — на нем кожаные перчатки до локтя, а под низом еще вязаные. Ни у кого из нас такого богатства в те поры не

было, и Гошка за перчатки свои крепко держался. И вот со встречной стороны, как карась из сети, дядя этакий вывертывается; рожа — три дня не обплюешь — красная да толстая. Не парень, а окорок в сапогах. Берет он Гошку за руки и стягивает с него перчатки. А Гошка-то у нас штатским был, в роде проводника, без всяких погон. Я его раньше знал и потому взял к себе. Тот-то окорок несусветный и подумал, что с вольным человеком все можно делать.

Гошка, конечно, дает протест, но мои ребята молчат. А уж перчатка-то одна у окорока на руке, а вторую он стаскивает. Я тут не вытерпел, выехал вперед прямо к несовершеннолетнему офицеру и говорю:

— Простите, господин капитан. (Нарочно его чином выше называю). По моему простому солдатскому слову это — разбой. Уймите своего человека, прямо в глаза говорю: безотцовщина у вас.

— У офицера, видно, ноги затекли, он правую ногу из стремя вынул и колено на луку положил. Брови у него играют, личность строгая. Однако, он улыбнулся мне и говорит: «Правда твоя, гусар, нельзя этого делать. Молодец, что сказать прямо не боишься». Подзывает он краснорожего к себе. Тот побелел, однако, с коня слез. Сейчас, смотрю, двое спешились, отряхнули плетки, положили грабителя и спрашивают офицера: «Сколько прикажете?» Тот, глазом не моргнув, говорит: «Двадцать от меня, а тридцать от гусара!». А неплюевский кадет спокойно так сам считает все удары и приговаривает.

После этого он мне руку пожал.

— Молодец, говорит, ты... Мы еще увидимся с тобой, а пока — прощай.

И увел несовершеннолетний поручик своих людей обратно в лес...

— Где же Будильник? — спросил недовольно Лапич. — Выходит, ничего и нет в твоём рассказе про него. Липа одна!

— Обожди! — почти крикнул Матвей Иванович. Он едва не разорвал мою перчатку, все время играя ей, и Лапичу пришлось ее отобрать.

Стены плыли в табачном дыме, вернувшаяся хозяйка стояла молча в углу, слушая рассказ. Сейчас были особенно резки запах холодной клеенки на длинном столе и порывистая одышка потухающего самоуара.

В коридоре торопливо защелкали унылые часы. Было поздно, но спать никто не хотел.

Пока еще не разделенное волнение Матвея Ивановича чем-то давило нас. Он расстегнул свою куртку, похожую на мундир ополченца, и махнул рукой.

— Ну и накурили вы, ребята. Лапич дым, как дракон, жрет, а я, словно молоканин... Я всегда судьбой волнуясь, и сейчас будет главная теория... Значит, пошли дальше одни сплошные бои, хлопнули меня пулей ниже бедра, и попал я в город Канск в собачий ящик. Хожу я по камере, думаю и гадаю, как рядовой гусар, пошлют меня в поднебес-

ную область или нет. Чую я, что в городе ручьи текут, голуби по крышам ходят и что не только малые ребята, но и самостоятельные люди тех голубей шестами пугают, что лошадь, и та сейчас этой поре рада. Вы, молодые ребята, только подумайте: каково это бывает, когда человек думает о жизни своей. Мысль у меня была такая, где меня похоронят и дойдет ли домой известие? Рылся я в кармане и нашел пулю свинцовую, на конце надкушена. Это мы в эскадроне с ребятами спорились, у кого зубы крепче. Нашло на меня сам не знаю что, беру я пулю на ладонь и смотрю на нее целыми днями. Сам думаю: вот есть сейчас гусар Матвей Иванович и не будет его скоро. Пуля дело малое, а однако, трудно о ней думать. Я как бы уговаривать ее стал — не трогай, мол, меня, — вот до чего глупость доходила. В это время архангел из мадьярцев в красных штанах под дверью ключами стучит, и входят ко мне три человека в собачьих шапках. А я сижу и думаю: они за моим житьем пришли, и вид у меня скучный и в роде как щеки ознобом пошли. Бумагами смертными трясут, спрашивают: кто такой? я отвечаю. Выходит один из них вперед, с лица чернявый, молодой, в долгой шинели с лентой на рукаве, и так тонко говорит:—Здорово, гусар! Признаешь, поди, меня? Перчатки-то кожаные были, помнишь? — А сам обернулся к своим и доказывает, что не надо меня стрелять, и про перчатки заявляет. А я весь как в кизячном дыму—глазам больно, биение сердца сильное, руки, ровно их кто отрубил, — отнялись.

Смотрю я на тонкого солдата и признаю его; такой же молодой неплюевский кадет и усов нет, лицом красив и бородавочка по над левой щекой.

— Господин поручик, — говорю, — признаю вас вполне. В тайге мы с вами встречались, только не пойму, почему вы в этой форме?

Смеется он и отвечает:

— Я только день поручиком-то и был, а сам я отряда Будильника - комиссара человек. Нужно нам было тогда дела сделать, вот мы под вашу масть и работали.

И прибавляет потом, что стрелять меня не будут все за те перчатки и что домой я могу ехать безусловно спокойно. Бумагу мне такую дадут, по которой никто меня по дороге казнить не может, даже матрос.

Из тюрьмы мы вместе вышли, и архангел-мадьярец нас до дверей проводил и табаку на дорогу давал; я хоть и не курю, да взял, чтоб человека не обидеть.

Попрощался я на углу со своим встречным человеком, бьет меня снутри всего, а он смеется и спрашивает, зачем я с лица скучный, когда я радоваться должен.

Отвечаю я ему:

— Томление у меня в печенках теперь от думы. Не могу я никак умом постичь, — вот сегодня я собирался на смерть — и нет ее сейчас, а может, опять подойдет и снова ничего вперед не узнаешь!.. Не трус я, ребята, сами знаете, а вот часто так думаю и об'яснить ничего не могу.

— Дело простое,—лениво сказал Лапич,—помрем—и точка, убиваться за это не надо. И ты после этого парня-то того не видел?

— Нет, помню, простились,—он и пошел, мой избавитель-то, с товарищами прямо по улице.

Матвей Иванович поднялся из-за стола.

— Ну, ребята, спать пора. Утром мне в лавку надо рано.

— А это бывают такие случаи,—сказала до сих пор молчавшая хозяйка.—Я, когда у Мюра-то была, великого князя только по порtretу и признала...

Ее никто не стал слушать. Когда мы стали расходиться, я подумал, что Матвей Иванович долго не будет спать. И это было именно так, потому что ночью я слышал тихие, но твердые шаги, переkreщающие его комнату.

2

Я запомнил эти дни, когда широкое степное солнце вставало над глиняными кровлями Менового Двора, а муллы с синими от застарелой туземной чесотки лбами кричали на зыбких зеленых минаретах. Скучные сады были украшены теплой паутиной, спутавшей жилистые руки тополей. В степи перегорала полынь, а на пригорках сохли верблюжьи кости. Я, Лапич и Матвей Иванович ходили вечерами за реку или сидели в старой крепости на глухом чугуне могилы генерал-поручика, погибшего сто лет тому назад на копьях непокоренной им орды. Раз мы случайно выкопали здесь старое, покрытое багровой коростой ржавчины ядро. Лапич долго взвешивал его на руке, а после передал Матвею Ивановичу. Тот положил ядро на обрыв и одним толчком ноги сбросил его вниз. Ядро покатилося по откосу, обрастая облаком пыли, гулко упало в воду и ушло на дно, выгнав на поверхность жирные круги сияющего ила.

— Зачем это? — спросил я.

— Судьбу человеческую я потопил,—ответил коротко Матвей Иванович.—Зачем на нее смотреть? Ты вот меня в музей водил, а мало в нем пользы человеку—все мечи да копья. Зачем их выказывать? Пусть в земле лежат. Вот я сейчас еще судьбу свою потоплю.

Он порылся в карманах и вынул тяжелую пулю от винтовки Гра, надкушенную на конце, ту самую пулю, которую он рассматривал в камере тюрьмы перед расстрелом. Короткий кусок металла, похожий на орлиный помет, владел мыслью человека.

Лапич удивленно посмотрел на Матвея Ивановича и незаметно толкнул меня в бок.

— Мозги, что ли, у него штопором пошли? — шепнул он мне.—Что за цирк?

Матвей Иванович, бросив пулю в реку, сел на могилу и стал разбирать надпись. Он опять был бледен, рысьи бакенбарды, сбитые сейчас набок, закрывали рот, и Матвей Иванович выплевывал их.

— Не могу ничего объяснить, — сказал он с отчаянием. — Не могу понять, почему вот река, церква, дерево живут, к ним люди ходят, а меня пуля укусит, или шашка ударит, — помру. И я кого ударял или, может, ударю, и тот жить не будет. Почему живой я остался, — тоже не пойму. Ну, скажите, ребята, почему? Через перчатки я живой хожу... Ну, а перчатки-то ведь вещь... А я-то человек? Выходит, что вещь-то выше человека по категории. Поэтому-то дерево живет, церква живет, а я-то что? Ведь я по разряду выше должен быть?

Мы долго успокаивали Матвея Ивановича, увели его в степь, в солончаки, где мы лили воду в норы тарантулов, заставляя их выпрыгивать наружу. Тарантулов размеренно и неумолимо убивал каблуками Лапич.

Матвей Иванович попрежнему ходил в лавку, вечером истово пил чай, читал вслух письма с Горькой Линии и рассказывал боевые истории.

Лапич возился со своими оттисками, исчезая временами на целые недели. Появляясь снова в доме, он снимал старую шинель, клал в стол наган и коротко говорил:

— Трех заштопорили сегодня. Ребята—во! Под Каркаралами скамейки рублили с мокрухой и к нам залетели...

Когда мне вскоре пришлось уезжать из города, Матвей Иванович и Лапич купили мне у бродячего китайца бумажный цветок на проволочном стебле. Лепестки были наполнены запахом теплого фуксина, а весь цветок походил на радужный кочан.

3

Я еще забыл рассказать здесь о Лапиче. Этот хмурый человек в черной солдатской рубашке имел, как имеют все люди, своего собственного врага.

Враг пришел к нему с протянутой рукой, с еще неосознанным желанием зла. Все произошло в один вечер, когда мы застали у себя сидящего за столом длинного бритоголового парня с разрубленной правой ноздрей и кривыми губами. После Лапич всегда клялся, что он сразу по этим признакам безошибочно почувствовал всем сердцем вред пришельца.

Губа у него квашеная, — объяснял нам Лапич. — Это самый вредный человек; бывают такие, — с фомкой за пазухой ходят.

— А меня, ребяташки, зовут Африканом, а фамилие мое Анпилов... Но меня бабы зовут Риком все больше, и вы, дорогие ребяташки, не стесняйтесь. Я с вами вместе жить буду—возле кухни каморка,—и мы все свои... У вас, интересно, кто в проферанс играть умеет? Могу научить... Я даже игру «Богдыхан» знаю, имущества у меня, как у турецкого нищего, а стеснять я никого позволить себе не могу... Ежели кто мне подушку на время даст, — тому я скажу спасибо...

При этих словах Рик протянул свои пальцы, похожие на стеариновые огарки, прежде всего Лапичу.

— Удивительно знакомая вывеска, — сказал задумчиво Рик. — Мы с тобой, братуха, в городе Казани на жидовском кладбище не встречались?

Рик захохотал, довольный своей остротой, а Лапич нахмурился, но промолчал.

— А я до настоящего времени в крепости Кушка жил, да вот сюда вздумал прибыть. У меня внутренность легкая — ночью вздумал, а утром поехал, и вот сейчас нахожусь на этом стуле. Вы все, поди, при казенных должностях?

— Да, — ответил Матвей Иванович, — а вы какой специальности?

— Я? — гордо спросил Рик. — Пальцев считать нехватит. Я подводный герой, это, во-первых. Далее, в цирке наблюдал за кровавыми зверями, пожарным был, с китайцем Ван Хин-ганом, по-нашему Игнашкой, с учеными мышами ходил. А в крепости Кушка я мороженым торговал, но у коменданта катар желудка был, и через это я и уехал... Имею звание народного водолаза, только бумагу я потерял, но объявление об утере документов есть.

Рик выворачивал рваные карманы, доставая лоскутья старых бумаг, хлопал Лапича по плечу и называл Матвея Ивановича папашей.

Из сбивчивых рассказов Рика выяснилось, что здесь в городе он намерен поступить на пивной завод на место закупорщика бутылок и что это место ему обещал дать его старый товарищ. При этом Рик подмигнул, давая понять, что его работа будет сулить некоторые выгоды и всем нам.

Рик прочно влез в нашу жизнь, проложив себе путь крепкими локтями. Через неделю, сидя в комнате Лапича, рассказывая ему о «персидском городе Испогань», в котором будто Африкан побывал в свое время, Рик увидел висящие на стене ботинки. Это были крепкие новые английские башмаки, из тех, которые были навезены к нам интервентами.

Рик сначала презрительно подкинул их на ладони, а после спросил Лапича:

— Сколько?

— Что, сколько?

— Продай!

После Лапич говорил, что он сразу не сообразил всей опасности предложения Американа, как он называл Рика, путая его имя. Но они довольно быстро сторговались, и Рик немедленно натянул башмаки на свои верблюжьи ступни.

— А что касается денег, — сказал Рик, — то мы, многоуважаемый, люди свои, и я тебе их отдам на той неделе в среду, в три часа...

Но через два дня, придя домой, мы нашли оставленную Риком записку.

«Дорогая, — писал он хозяйке, — я временно уехал в Восточную Федерацию к своим ребятам. Между нами есть кое-какие денежные

пустяки, в которых прошу не сомневаться. То же самое передайте товарищу Лапичу. Переведу телеграфом. Анпилогов».

Разумеется, Рик денег высылать и не думал. Это обстоятельство вывело Лапича из себя, и он решил во что бы то ни стало отыскать Африкана и отобрать у него ботинки.

— Я его, гада, в Нарыме найду,—говорил Лапич.—С подобными личностями надо вести борьбу. Мне башмаков не жалко, мне идею жалко. Сегодня он ботинки возьмет, а завтра кресты с колокольни спилит. Ихнего брата поважать нельзя... Вот я еще у себя в управлении посмотрю, нет ли Американа этого в альбомах. Оттиски-то я уже смотрел, но ему на рояле играть не приходилось — пальцев нету... Но я его и так найду. Это будьте уверены.

Лапич барабанил пальцами по столу. Лапич вынимал из кармана прощальную записку Рика и перечитывал ее в сороковой раз.

Брови агента тогда были похожи на спутанную пыльную паутину, а по лбу проползали морщины раздумья.

Он вообще был человеком странным и молчаливым. Раз Лапич купил на улице красный воздушный шар на длинной нитке, принес домой и привязал к ножке кровати. Шар кочевал по комнате под самым потолком, медленно вращаясь и скручивая беспрестанным движением звенящую нитку. Сам Лапич лежал на кровати и, задрав голову, смотрел на багровую поверхность шара, отражавшую блестящие лужки на спинке кровати и оконные стекла. При этом Лапич беззвучно смеялся и размахивал длинной рукой. Созерцанию шара Лапич предавался во время дневного отдыха.

Лапич также любил картинки, которые он покупал на базаре. Тут были и бракоровские красавицы с лебедями, похожими на белые чайники, Наполеон в красных штанах, портрет Анжелики Балабановой и реклама, изображавшая усатого человека, переплывающего море в громадной галоше.

Наполеона Лапич назвал Полей, в минуты раздумья снимал его со стены для того, чтобы лишний раз увеличить цветным карандашом природную красноту штанов Бонапарта.

После отъезда Африкана в далекую и прекрасную Восточную Федерацию Лапич стал вести себя более странно, чем когда-либо. В одну из ночей он перепугал весь дом внезапным выстрелом из револьвера, долго не мог успокоиться, хотел продолжать стрельбу и добился того, что нам пришлось отобрать у него револьвер.

Мишенью для пули был воздушный шар. Простреленный насквозь, он лежал в углу, сморщенный, как летучая мышь.

*Свой поступок Лапич объяснил тем, что во сне к нему приходил Рик. Африкан, нагло улыбаясь и отвесив губу, пытался стащить с Лапича сапоги. По словам спавшего, Рик при этом произнес загадочную фразу: «А ты мороженого не хочешь?»

После этого Лапич и выстрелил в хитрую и злую рожу Рика.

Утром Лапич стыдливо сунул в карман возвращенный ему револьвер и снова заговорил о похищенных ботинках и о неотвратимой мести.

Мечь зрела, как тяжелое яблоко на дереве, как черная граната на солдатском поясе. Мечь должна была взорваться гневом!

4

Итак, я уехал из Петропавловска-Акмолинского в другой тусклый и глухой город, задыхающийся в кольце глухих степных дорог.

Такие города окружены сторожащими их ветряными мельницами, похожими на великанов, поднявших к небу одну руку.

Сюда обыкновенно приезжают седые и вечно пьяные канатоходцы, заявляющие публике о том, что каждый из них обязательно в 1898 году переходил по канату Ниагару, в теплой пыли таких улиц сидят безумные нищие с облезшими медными чашками. Лица нищих похожи на мятый чернослив, сведенный синей судорогой.

В эти дни я писал рассказы о тоске, труде и любви; в эти часы и месяцы цветущие сады казались облаками, опустившимися на землю. В рассказах говорилось о радости сознавать то, что на груди далекой сейчас женщины всходит красный полумесяц от поцелуя.

Герой рассказа болел от разлуки, но помнил о своем полумесяце, не веря в то, что время возвестило полумесяцу его закат. Герой сделал полумесяц бессмертным, герой стрелял дроф в степи, рыл арыки и болел малярией. Зеленоглазая лихорадка склонялась над его цыновкой, но он глотал хину, чтобы снова рыть арыки, думать о бессмертии полумесяца и совать в костер тугие жгуты, скрученные из кривых листков последних писем.

В эти дни в клетках чумазных базарных кузниц бились тяжелые жеребцы, а синие бритвы уличных цырюльников, кочующая пыль и отяжелевший ломоть дыни в руках веселого бродяги казались откровением.

В один из призрачных вечеров мне надоели мои бумаги и выдуманые люди, и я простился с героиней рассказа в ту минуту, когда она сидела, сняв туфли, на кровати и ее ногти мерцали под черной паутиной чулка. Мне захотелось сейчас жить своей жизнью, бродить по рассыпанным снопам фонарного света, сидеть над пустой водой реки, чувствуя, как мир пахнет сейчас холодной пылью, черными водорослями и сладкой древесной корой.

Я шел по городской площади, когда наткнулся на большую толпу, окружившую высокого человека в белой рубашке. Человек был закрыт от меня спинами киргизов, толстыми халатами с узорами, похожими на обойные цветы.

Когда киргизы расступились, я увидел, что высокий человек стоит у длинного треножника с привинченной к нему большой подзорной трубой. Белый великан водил трубой по далекому небу, как дулом зенитной пушки, и труба излучала призрачное мерцание.

— Сейчас мы найдем планету Марц, уважаемые наблюдатели,— кричал человек,— за пять копеек, граждане, вы можете смотреть все долины и возвышенности, а также вулканы, каналы и, возможно, даже колодцы. Прошу запомнить, что один профессор в городе Париже заявил всем министрам и греческому царю, бывшему в те поры там, что на планете Марц находятся неизвестные вольные жители, которые жнут и сеют. Иначе им каналы необязательны.

— То-есть что они жнут и сеют? — спросил кривобокий плантатор, хозяин лучших в Акмолинске владений на берегу Ишима.

— Табак и кукурузу, окромя редису, — ответил коротко бродячий звездочет и снова закричал: — А вот предоставляю луну. Должен, граждане, заявить, что про настоящие пятна народ болтает зря, заявляя, что эта видимость того, как Каин Авеля на себе тащит. Дорогие наблюдатели, я стою на защите науки: никаких Каинов и Адамов нет, а это есть вид морей с долгими островами и теплыми краями!

Люди смотрели в трубу на Марс и луну, высокий звездочет сумел скоро созвать на площадь чуть не весь Акмолинск. Перед трубой проходили и городской идиот Чепчик, и владелец кумысной Абиш Сатыбаев, начальник бань Пустынников, секретарь исполкома и, наконец, все семейство карликов Голлервинтер, державших буфет в городском саду и прославивших город.

Сам глава семейства лилипутов, Август Карлыч, был похож на старый пенек, опутанный тонкими отростками корней. Он сначала вынул кошелек, осторожно отсчитал восемь пятаков и попросил табурет. Звездочет перенес телескоп к ступенькам церкви, и все карлики рассматривали Марс оттуда. Абиш Сатыбаев — конкурент Августа Карлыча — почему-то вообразил, что со ступенек церкви Марс виден лучше и немедленно полез туда.

Тогда верующие, в том числе и плантатор с Августом Карлычем, воспротивились этому, заявив, что Абиш, как немаканный не имеет права на пребывание у дверей русского храма.

В ответ Абиш крикнул Августу Карловичу, что карлики скоро отравят город богатствами своего буфета. Отец шести лилипутов назвал Абиша «паразитом» и погрозил ему кулачком, похожим на маковую шишку.

Пустынников вышел вперед и закричал, что сознательное население города вообще должно приспособить церковь для других целей, а именно — перенести в нее Народный дом, при чем Пустынников определенно имел в виду заезжего звездочета:

— Ведь колокольня-то высокая — целая консерватория. Будешь ты там сидеть со своей трубой, и трудящие, а также киргизы будут разглядывать звездный горизонт.

— Нет моей солидарности! — закричал плантатор, махнув рукой. — Ты, нуда слободская, может, баню в церкви произведешь, а? Ну, скажи, произведешь?

— Захочу и устрою! — закричал Пустынников. — Даже с семейными номерами!

Граждане города Акмолинска долго спорили. Зеленая ночь бросала свой причудливый свет на фигуры людей. Карлики пошли домой, и по стене церкви проплыли их тени, похожие на вереницу ползущих крабов.

Человек с телескопом не унывал. Он вытер трубу черной тряпкой, снова повернул телескоп и стал говорить на этот раз о Венере.

Но тут произошло событие, надолго запомнившееся обитателям города, от старых наездников из Казачьего до коновалов, плантаторов и воров из Слободки.

Внезапно из-за угла церкви вышел высокий человек в военной шинели.

Его солдатская фуражка была надвинута на лицо; человек шел, слегка согнувшись, держа правую руку в кармане. Он не был знаком никому из жителей города, хотя впоследствии уверяли, что незнакомец был не кем иным, как буйным хорунжим Оплешиным, убежавшим в Китай и приславшим каждую весну грозные письма с обещаниями взять Москву и по пути повесить местного аптекаря Ушацкого. Письма хорунжего Оплешина привозились из Чугучака вожатыми караванов и прощенными казаками, возвращавшимися домой.

Когда пришелец шагнул по направлению к треножнику, владелец телескопа кинулся в сторону, но во-время нашелся и закричал:

— Комета Венера...

Он не закончил, потому что человек в шинели положил руку на плечо звездочета.

— Венерические дела тут у тебя... мороженым торгуешь, мелким маком?

Пришелец водил тяжелым револьвером.

— Жить ты мне мешаешь, — растерянно сказал звездочет. — Только с моей крови ты не поправишься!

— Давай, подымай трубу. Идем.

— Куда?

— Ну, ну. Мути воду!.. Будешь ты на киче качаться. Смотри, ноги не шупай!

— Да я шупать и не думаю, — с отчаянием прошептал звездочет.

— По-испански говорят — видать, кто такие, — язвительно сказал плантатор.

Звездочет поднял трубу на плечи и пошел впереди молчаливого пришельца. Толпа разошлась, обсуждая происшествие, и только один Абиш Сатыбаев долго стоял возле церкви. Он заплатил пятак вперед, но не увидел Венеры...

Город, притаившись, слушал шаги приближающегося рассвета. Когда я пришел домой, я увидел, что роза, подаренная мне Матвеем Ивановичем и Лапичем, скоробилась и потемнела, сделавшись похожей на лоскут сожженной бумаги.

Свежий ветер качал занавеску и бросал в комнату обрывки сме-ха влюбленных, прощающихся с ночью. Когда я закрыл уставшие глаза, я не увидел ничего, кроме роя золотых зерен, кружившихся в мгн-ком и теплом тумане, покрывшем веки.

5

Но все же героиня рассказа о тоске, труде и любви натягивала на тонкую руку большую кожаную перчатку. Около локтя билась синяя ветка жилы, женщина старалась закрыть ее краем перчатки, похожим на черный лопух. Это не удавалось ей, и она закусывала ниж-нюю губу, так что по нежной коже метались белые пятна. Она в отчая-нии бросила перчатку и стала есть лиловый сладкий лед, от которого ломит в висках. Мороженое появлялось на свет из недр светлого, как газетовый гроб, длинного ящика.

Над ящиком стоял Африкан Анпилогов, только на его щеках росли бакенбарды Матвея Ивановича.

Африкан прикладывал руку к груди и говорил:

— Зовите меня, мадам, просто Риком. Вы этим доставите мне наслаждение.

Меня охватывало бешенство, и в его объятиях я кричал героине неслыханные дерзости. Зачем люди, выдуманные мной, преследуют меня?

Вот герой пришел и стал рядом с белым ящиком. На его ногах степные наездничьи сапоги, он приехал после долгой разлуки к ней. Он, как зобатый алтаец, лелеет одну тупую мысль, — он хочет уви-деть красный полумесяц на ее груди.

Жалкий и трусливый убийца дроф и розовых цапель, начитав-шийся Гумилева! Он должен знать, я добыю этого, он будет знать, что полумесяц давно исчез, его прогнали другие жадные губы.

Но он сам виноват в этом, мой герой с желтыми кудрями.

Три недели тому назад ты ссадил с седла спокойного искателя чужих коней, ты, простой гидротехник, получающий деньги от Нар-комзема. Ты прострелил всаднику лисий малахай, а после спокойно смотрел на рыжий мех, украшенный теплыми звездами крови.

Но весь ужас в том, — вся тоска, — что сейчас ты можешь за-плакать и от этого тебе будет лишь хуже! Героиня спокойно скажет, что ты сейчас нездоров; тебя мучат остатки малярии, ты издерган жизнью среди камышей и песков. Она проглотит остатки лилового льда так, как ты проглотишь этой ночью толстую пулю.

Тебе нужно просто уйти, качнув желтой головой, изучить фигур-ное плавание и написать труд, который надо назвать: «К вопросу о направлении движения сыпучих песков на юго-западе Казакстана».

Но ты начитался хороших и плохих стихов, над тобой сейчас смеется, отвесив губу, сам Африкан Анпилогов, укравший бакенбарды у гусара с Горькой Линии.

И ты сегодня застрелишься!

Хочешь, я расскажу, как все это произойдет?

Ты (опять плохая традиция!) снимешь комнату в гостинице, подойдешь к окну с зеленоватым стеклом и увидишь в нем, как в зеркале, свое бледное лицо и потом другое — смеющееся, матовую ключицу с багровым полумесяцем под ней.

После ты, герой моего рассказа, напишешь на крышке пустой папиросной коробки надоевшую всем формулу и почувствуешь, как засунутый в рот револьвер холодит прицельной мушкой небо. Широкая струя крови упадет на стол, застынет на круглом животе оставленного самовара.

Я нарочно придумал тебе эту смерть.

Пока не поздно, пиши труд о песках!

... Герой с ненавистью смотрит на подбородок женщины. На нем висит мутная капля растаявшего льда. Она дрожит, падает, рождая отрывистый звук. Еще капля — и еще падение...

Как стучат эти мутные лиловые жемчуга!

6

Я проснулся... Тонкая дверь сгибалась под чьим-то плечом. Когда я распахнул ее, в комнату втиснулся человек в зеленой шинели.

Это был Лапич.

Он прошел на середину комнаты, остановился и несколько минут ничего не говорил, как бы приходя в себя и оглядываясь вокруг.

На нем почему-то была надета черная портупея, в руке качался портфель, распухший от втолканного туда какого-то бесформенного предмета.

Лапич улыбался тихо, как лунатик, и продолжал раскачивать портфель. Потом он вдруг наполовину расстегнул портупею и спустил ее с одного плеча, словно подтяжки.

— Надоела мне сбруя, — наконец, сказал он, шмыгнув носом. — Насилу тебя нашел, адрес забыл. Ну и стучался же! Ну и дыра у тебя, стыдно в такой дыре сидеть... Пойдем тут в одно место, побалакаем, бусанём для пакости немного, а?

Мы вышли из дома и скоро очутились в великолепных владениях Августа Карлыча Голлервинтера.

Несмотря на ранний час, столики были облеплены посетителями. Чепчик пил кумыс с солью на потеху начальнику бань Пустынникову, а сам хозяин играл на бильярде, лежа на его углу, дрыгая ногой при каждом ударе.

Когда мы сели за стол, Лапич потянул меня за рукав и заставил взглянуть вниз. Из недр раскрытого под столом портфеля на меня глядели пресловутые английские ботинки, покорившие в свое время сердце Африкана Анпилогова...

— Вот, — с гордостью заявил Лапич, — выявил и вчера вечером застопорил. Будьте уверены, что у меня не сорвется, я самого Мишку Культяпого поймал, а не то что подобных Американов! В подозрительную трубу глядеть стал, легкий табак курит. Заправлял вчера про луну такое, что сам, наверно, дышать смешался. Дай ему волю, так он луну отвинтит и на ба́не продаст!

Лапич щелкнул замком портфеля и довольно покрутил головой. Уши его просвечивали на солнце, как обрывки капустного листа.

— Взял я его за бóбочку, говорю: скидай коней. А он замечтал тут, что я его разменять хочу. Потеха одна! Однако, сапоги снял. Дал я ему амнистию, а он давай бог ноги со своей трубой. Тьфу, гад! Губа квашеная, ноздрю ровно черти когтями рвали.

Лапич махнул рукой, задев стакан с бумажной розой, качавшейся над нашим столиком. Быстрая тень воспоминаний прошла по его лицу.

— Помнишь, мы с Матвеем Ивановичем тебе такой розан дали? Я в свою очередь вспомнил о Матвее Ивановиче.

— Псих он, — ответил равнодушно Лапич. — Как был псих, так и остался. Вышли там одни пустяки, пожалуй, говорить не стоит.

— А что?

— Да так, перед обедом можно еще рассказать! Если уж хочешь, могу. Смотрим мы, смутный он какой-то стал, все на койке лежит; молчит больше. А однажды приходит домой в паре; дамочка или барышня с ним... Не совсем одинарная. Красоты особой нет, глаза быстрые. Посидели они, поговорили, а после он нам заявляет, что, мол, эта гражданка его супруга. Нашей каблэ, конечно, все это в диковинку — скипидаром пахнет, поскулить над таким делом можно. Разглядели мы ее хорошенько, — ничего ба́ба. Брови — что дегтем наведены — черные, на щеке, в роде как дробинка, — ро́динка, голос тонкий. Плечико одно спустилось вниз и по над грудью пятнышко красное — ровно ее кто поцеловал крепко. Стала она к нам все чаще ходить, а он как дурной делается вместо радости... Может, он с радости и сдурел, но как-то не так... Олей ее звать, вот он вдруг и закричит, вместо ласкового слова, ну как тогда вот: — Не хочу через вещь счастье иметь! Человек я или вещь? Не буду через прѣдмет жить и погибать. — И шухарит вот так все. Какой-то правды добивается и у меня, и хозяйки даже, а мы ему ничего ответить не можем... И смеяться с его дурости нельзя... А она, Ольга, сидит да плачет... Ровно водокачка базарная... Подойдет к нему, обнимает, целует, баки его окаянные ладошкой гладит, а он — что идол — одно свое тянет... Да, вот как человек склеиться может.

Лапич на минуту замолчал. Нагнувшись, он поставил портфель под стол.

Утреннее солнце качалось на пене, выраставшей из пивных стаканов.

Чепчик, выпив три бутылки страшной смеси, гладил живот костлявой рукой. Пустынников, взяв мел, украшал спину висящего на

биллиарде Августа Карловича большим крестом. Карлик изображал сейчас паука-крестовика.

— Пищит да лезет, — кричал Август Карлович, когда смятая луза раздувалась зеленым нарывом после каждого удачного удара.

Я смотрел на Лапича. Он пил пиво, лениво рассматривая окружающих. Кружка висела на его пальце, как на розовом крючке. Лапич был спокоен, лучи улыбки шли по твердым щекам к углам прищуренных глаз.

— Дикошарый человек он, — продолжал Лапич, вдруг оживляясь. — Ты, может, помнишь, как он нам тогда ночью про комиссара Будильника говорил, про перчатку, как он за вольного человека заступался, еще его после казнить хотели, да выпустили?

Тут такое происшествие случилось, что я ему верить сначала не желал. Однако, все выходит правда, как по книгам. Дамочка-то, Оля его, в лавке встревала в первый раз, сама пришла гребенку покупать. Между имя сразу какой-то разговор был, и она его признала. Где-то, значит, раньше видела, я так понимаю.

А он ее не признает... Тогда она ему в ответ два слова говорит, и после них наш гусар — хлоп, как порченный, на пол... Шум в лавке, крик — пожар в богадельне во время землетрясения!.. Привезли его к нам домой на гуже кассир с дамочкой Олей. Имей в виду, месяц целый Матвей Иваныч в постели лежал не в соевом уме... Кричит про предметы опять... А она возле него сидит, руку на лоб кладет и сама нет-нет да как водопровод, — ревет, убивается. Смотрит на него, будто на нем узоры написаны и шепчет разное, что, мол, на смертной дороге для людей встречи расставлены... Потом смеяться зачинает, слезы вытерет и говорит: — Глупая я какая! — поцелует его, на часы посмотрит и порошков даст. Про себя никому ничего она не говорит... Только раз увидела в окошко — киргиз вершний бежит — и заявляет: — А я, товарищ Лапич, к этому делу очень даже способна, только больше казачье седло обожаю... У меня, мол, кобыла Любка была, да ей ноги снарядом перебило, и я ее в глаз застрелила...

Лапич закрыл лицо кружкой, но быстро поставил ее на стол.

— Понимаешь теперь? Переплет-то какой получился... Догадайся, прошу тебя, ну...

— Не знаю, Лапич, — смутно ответил я, сам не зная почему и скрывая внезапное волнение, вызванное началом догадки.

— Так дамочка Оля — монашина... Туркиня... У ей конь в яблоках был и долгий шпалер... Гусар-то наш ее в тайге встревал, понял? Она в форме при погонах была и в тюрьму приходила. Не случись того, Матвей Иваныча взяли бы в конверт да к монастырю на вышку... Он через это про предметы кричал — перчатки да гребенку... Одна опера, а не происшествие. А нам, малярам, что — пускай люди живут, и нам шишек сшибать хватит...

Лапич улыбнулся и вынул ботинки из портфеля.

— Говорю, — история, одно слово... Но все же у меня больше смеху... Я Американа-то как нашел...

Он вдруг замолчал, рассматривая башмаки.

Я молча чертил пальцем на столе какие-то буквы, — начала мгновенных слов, рождавшихся в моем сознании. Я, человек, решавший на бумаге судьбы людей, заставлявший их жить, любить и умирать, сейчас сразу понял, что мой герой не зря делал полумесяц бессмертным.

— Гад толстомордый, — громко сказал Лапич, — все подборы сбил, придется чинить... А комиссар Будильник замечтался от громких подвигов и походов и фон барону Унгерну передался. С тех пор о нем не слышать... Ну, пойдем, что ли?..

Мы вышли из комнаты, сотрясавшейся от грома бильярдных шаров. День был похож на яблоко, покрытое жаркой пылью. В аллеях сада сияли шелковые ноги женщин. Женщины смеялись в тени зеленых древесных крыш и обмахивались веерами из горьких веток тополя...

Они смеялись так потому, что каждой из них будет непонятным мой рассказ о красном полумесяце, восходящем на теплых, вздрагивающих чашах!

Но все они знают о полумесяце, как и героиня, глотавшая лиловый лед. Только она закрывала грудь, тугую долину, разделяющую чаши. Она не хотела, чтобы полумесяц увидел другой человек, губы которого возвестят полумесяцу закат.

Я шел и думал так, пока не увидел Африкана Анпилогова. Он стоял с девкой, похожей на розовый пряник. Девка поводила плечом и кокетливо спрашивала Рика:

— Вы, кавалер, с какого кладбища будете?

Африкан дрыгал босой ногой, покрытой бурой шерстью, похожей на скрученную проволоку, и что-то отвечал насмешливой красавице.

Рик, заметив нас, миролюбиво сделал ручкой и крикнул:

— Еду в далекий город Ашхабад. Кому приветы передавать?

Повторяю, что день был похож на яблоко, покрытое горькой и жаркой пылью.

Лучи солнца опускались, как клинки, на сверкающие крыши.

Эти же лучи падали на светлую оправу трубы бессмертного Африкана Анпилогова, когда он на наших глазах пересек серую площадь и вышел на дорогу, которая, наверное, приведет его к золотым границам прекрасной Восточной Федерации.

Апрель, 1929 г.

Москва.

Л е т о

ОСИП КОЛЫЧЕВ

— Дай мне косточек плодовых
Без покровов и в покровах!..
Я возлюбленным плодам
Кровь и плоть мою отдам...

Слава, слава длинным сливам
С антрацитовым отливом!..
Самого себя кизил
Крепким зубом прокусил.

И в прорезавшейся косо
Крупной кости абрикоса
Золотой миндалик лег,
Как торжественный залог.

Все сады земного шара
Я ладонями обшарю.
Красной кровью надо мной
Льется августовский зной.

Будь, как чешуя сазанья,
Молодое осязанье!
Как взбесившаяся рысь,
Обонянье, наострись!

Как природа, неотесан
Розоватый мрамор десен...
От ореховой лузги
Зубы мудрости туги...

— Долго прижимайте к небу
Снятую с деревьев сдобу!..

Плотно ощущайте плод,
Падающий прямо в рот!..

Все сады земного шара
Я ладонями обшарю.
Красной кровью надо мной
Льется августовский зной...

Небо льется кровью синей...
Я иду по Украине,
По Молдавии иду
В молоке, в икре, в меду...

Вот и все мои трофеи:
Лошадиный шмель на шее
И навозная оса,
Севшая на волоса...

День убоя и удоя,
С комариною зудою,
Полной миской молока
Держит левая рука...

Ночь насестов и скворешен —
Полной шапкою черешен
Без единого стручка
Держит правая рука...

Плоть от плоти, кровь от крови!
Я гадючий, я коровий,
Я полынный...

И дупло
Мне заимствует тепло...

ДМ. СЕМЕНОВСКИЙ

* * *

Нет, не пойду я в свою конуру, —
Пусть меня знобит и мочит!
Слепо моргает фонарь на ветру,
Будто погаснуть хочет;
Милый, не гасни! И так темна
Улица наша грустная.
В тучах изорванных скрылась луна,
Скрылась луна захолустная.
Ветер-налетчик и дождь-бандит
Сад раздевают покорный.
Вечер-дозорный в окошки глядит,
В плащ завернувшись черный.
Вижу и я через сетку дождя
Печку, хозяйку, опару.
Рыхлый супруг под портретом вождя
Мучит лениво гитару.
Счастлив он тем, что имеет кровать,
Зеркало, теплый ватер...
Милый, хороший! А мне — наплевать
На зеркала и кровати.
Сердце мое нарывает тоской.
Нищий, презренный, гонимый,
Брежу я юностью, полем, рекой,
Дом вспоминаю родимый.
Бедный отец мой! На вечный покой
Лег он на старом погосте.
Беды, болезни, заботы — толпой
К маме повадились в гости.
Жалко ей братьев моих и сестер,
Жаль ей меня, как в детстве...
Золото поля, цветочный простор,
Вы — у меня на сердце!..
Мерно качает фонарь головой
В ветряном свисте и визге,
Будто о скользкую грудь мостовой
Хочет разбиться в брызги.
Небо безлунно. Грязны пути.
Жмутся к заборам прохожие...
Милый, не надо! Хороший, свети
Нам в вечера непогожие!

Люди и факты

1. ВАСИЛИЙ РЯХОВСКИЙ. Колдун. — 2. М. КАЗАС. Кашгарские очерки. — 3. С. ОБРУЧЕВ. С аэроплана на оленей.

1. КОЛДУН

О черк

Василий Ряховский

Землянка на юру

Переваляло на тысяча девятьсот двадцать третий год, когда деревни, глухие местечки выплеснули в городá несметную силу «чающего движения» люда, когда гуднувшие по-новому после долгого отдыха заводы собрали растерянных по хлебным местам рабочих, и в деревнях остался твердый кадр извечных, ненаносных землеробов.

В глухую деревушку, приткнувшуюся к мелколесью, вместе с первыми грачами пришел человек. Был он по обличью своему городской, — потому оказался в деревне приметным, бабы гадали, спорили и, наконец, вспомнили: — Свой! Халимон Девкин. Еще годов десять как пропал из деревни, везде легкой жизни искал. Пришел на свой корень.

А вечером на собрании пришелец угрюмо поклонился мужикам и сказал громким басом с протяжкой: — Мне бы землицы. Работать на ней думаю.

Мужики подняли его на смех:

— На чем? На блохе, что ль?

— Когтем, знать, ковырять будет!

— Работяга известный!

А Филимон оглядел всех незамутившимся взглядом и сказал попространнее:

— Смеяться тут будто нечему. Землю свою я взять по декрету могу, а раз беру, значит, я ее и приведу к делу.

И взгляд его был прост, проникновенен и притушил шутки. Мужики обозлились: новое дело, земли захотел, когда только что разделили! Сказали разногласие:

— Земли тебе нету. Жди дележки.

Филимон выслушал, подумал немного, все ждали, что он станет просить, жаловаться, а он тряхнул головой и надел шапку.

— Куда ты, дьявол?

— Куда же? Теперь в уезд.

Мужики опешили и растеряли злобу: вот это налом. И заговорили по-другому:

— Нельзя своего мужика обижать. Вырезать!

— Ясное дело!

Филимон снял шапку и опять встал на прежнее место: дело обертывалось по-хорошему. Но ведь мужик изменив в чувствах в своих, и часто рядом с проникновенной жалостью уживается в нем едкое желание попытаться человека, выведать его силу и, если она упряма, пообломать, подвести под свой уровень. Когда начали думать, откуда взять новичку земли, сзади, из-за спин кто-то сказал с запалом:

— Вырезать ему на юру участок!

Все поддержали:

— Авось и верно! Земля чистая, никто там не пашет, а ему раздолье, — пусть покажет свою удаль.

Филимон попробовал возразить:

— Товарищи! Глина там, бой самый. Куда вы меня...

Ему не дали договорить:

— Ты храбер, на земле хочешь сидеть? Так вот тебе и самое место. Пишите, чего там!

И написали в протоколе, что «залежная земля, в количестве на три едока отводится под участок Филимону Девкину».

С собрания разошлись мужики в селье. Шутили, путаясь в черноте ночи, хряская податливыми ляйтями звонкую корку последних морозов.

— Он там наработает!

— Небось, дьявол его сломай, не возьмет! Была ему нужда бока мять после вольной жизни.

— Уйдет, ясно. Это он так, дурочку из себя строит.

И все были уверены, что незванный гость смоеется, не дождавшись сева.

Весна шла неспешно, будто ждала, пока мужики отойдут от зимней стыни, напарят спины на припеках и нальются хмелем оттаявшей земли. Бродил по полю шалый ветер, выедал последние шкварки ржавого снега, отыгрались овраги, земля запросила соху и зерно, и каждый вечер видно было из деревни, как на юру моталась одинокая фигура, меряла шагами заброшенное место.

— Неужели сядет тут?

— Быть того не может. На этой земле воробья не прокормишь.

— Наломистый черт!

Бабы говорили о другом:

— Место, девушки, нехорошее. Там только некрещенный может ночь ночевать.

И вспомнили, как на юру замерзла Марья Ряжская, по ночам видели там люди белых коров с огненными глазами, и не одного проходящего уводили в лесок чудные голоса. Вот, совсем недавно, по весне случился грех с Фунтиком. Был он мужик нескладный, рябой и маломерок. Пошел по ночи в соседнее село, выпил там и развеселенький шел домой. Дошел до юра и пропал. Шли сзади люди, звали Фунтика, кричали, — сгинул мужик. А через неделю нашли его у опушки раздетого: спит себе, свернувшись калачиком, — заснул на вечные времена, а белье с пиджаком положил под голову.

И бабы о Девкине решили:

— Его оттуда в одну ночь выживет.

...Приокские весны неярки. Земля здесь не одевается в пестрые наряды, цвет в лугах мелкий, неприметный, лиственные деревья чахлы, зато небо необъятно просторно, солнце растопляет лесные запахи, они текут густые, как молодой хлебный квас, пьянят и наливают тело буйной радостью. Вечерами чернота сосновых перелесков курит тонко смолой, в лугах плавают зыбкий туман, и дали — неохватные, замутившиеся к горизонту, — уводят мысль в другие края, к иным берегам.

Филимон подолгу сидел в вечеру на своем взлобке, с него видно было далеко: по сторонам залегли села, потянулись исполосованные поля, — все было перед глазами знакомое и новое, подозрительно приглядывавшееся к его начинанию.

С первыми теплыми ночами он бросил деревенскую зимнюю квартиру и перебрался сюда. Невелик скарб, по пальцам сосчитать можно. Единственно, что показалось зрителям его переселения достойным внимания, — большая трехрядная гармонь. Нес ее шестилетний Митька, изгибаясь на сторону, и гармонь оглядывала провожавших холодными рядами клавишных пуговиц, словно поддразнивала.

В эту ночь поддеревни не спало, все ожидали, что вот-вот нечистая сила наподхватит незваного пришельца в места ее обитания, растрясет его вместе с гармоньей так, что духа не останется.

Но на юру все было спокойно. Вылезла красная надутая луна, облила поле неживым светом, и с проклятого места вдруг прибежали глухие переливы: Филимон играл на гармонии. И медлительные вздохи дальней мелодии рвали мертвенность ночи, казались нездешними голосами, рождающими непонятный страх.

Первая ночь прошла покойно. На деревне решили в один голос:

— Он — колдун, рыжий дьявол, не иначе.

А колдун с того дня начал пускать на новое место корень. Целыми днями рылся в земле, таскал из леса сушь и ветки, резал дерн, и к троице на юру горбом вылезла землянка в одно окно, — ладная, приглаженная дерном.

И по ночам, вместо огненных глаз белых коров, глядел оттуда одинокий огонек человеческого жилья.

Чортов клин

Дни в деревне, что пласты дерна из под плуга: отвернешь один, за ним другой такой же рыхлый, развалистый, — и так без конца.

Покрутили мужики головами, глядя на нового хозяина бесовских мест, поахали бабы над душой человеческой, продавшейся нечистому, — и все затянула частая сетка своих забот, летней подгонистой работы.

Филимон первое лето потерял сон: пока сделал землянку, — подоспел сенбкос, а там близко жниво, — ржи хоть не было, но овес с викой весело кудрявились вокруг куреня, греча цвела белым платком, — а там не за горами зима: жилье надо готовить людское. И пока жена с сынишкой копались на грядках, затеял он постройку фундаментальную. Натаскал мешком из лощинки глину, нарубил в лесу кольев и принялся за дело: мазать избу-глинобитку. Когда укрепил колья и начал заплетать плетни, пришли с деревни мужики. Стали поодаль.

— Дворец строишь?

Филимон, не отрываясь от работы, сказал:

— Не дворец, а акрополь.

Мужики переглянулись:

— Это что же такое?

— Храм. Земле поклоняться.

— Нет, сурьезно?

— Я вам сурьезно и говорю.

Потом те, что постепеннее, подошли ближе и спросили пытливо:

— Неужели на самом деле жить тут будешь?

— А как же?

— Пустое дело, малай. Надорвешься. Тут крепкому мужику, лошадному есть нечего будет, а ты последнюю гармонь проешь. Бросал бы, пока не надорвался.

Пока они говорили, Филимон выбил полстены. А вечером горел здесь костер, весело пыхтел на огненных языках чайник, и Филимон разводил уставшими руками длинные мехи, — играл марш, словно подтверждал свое упор-

ство, свою власть над глиняным неродивым юром.

Непонятный человек Филимон оказался, ни на какую полочку его не уложишь: ни о чем никого не просит, в деревню заходит редко и слов не теряет даром, говорит обдуманно и больше притчами. Оттого тянуло к нему мужиков, — разгадать хотелось, — ходили к нему, приглядывались к его работе над избой.

Но однажды последняя уверенность в здравомыслии Филимона покачнулась. Поехали мужики пар двойть, дорога шла мимо «хутора», вдоль посева чечевицы (хороша удалась в этот год на нови!); глядь, вместо зеленого поля сплошная чернота.

— Что такое?

Филимон почесал в бороде и сказал, по обычаю своему, кругло и обоснованно:

— Под рожь завалил. Навозцу-то еще не наготовил, так травкой пока сдоблю глинину.

У мужиков глаза изо лба полезли. Резонно спросили с сочувствием:

— Ты... как это, с головой-то, не кружится?

— Ничего пока. А это дело по науке допустимое.

И заговорили мужики после того с озлоблением:

— Чортов клин, а не голова на плечах у него!

— Дали дьяволу землю гадить только!

— Это надо бы раньше знать.

Звание «чортов клин» держалось за Филимоном ровно год, пока на следующее лето сама земля не сняла его: по чечевице заброшенная глина выгнала огруженную рожь, такую, какой не помнили старики на лучших навозных полосах.

— Клин-то клин, а, пожалуй, догадлив.

Белая хатка

В городе была выставка картин. Пестрая, как лицо тихой провинциальной жизни: рядом со смелым мазком прилизанное бессилие. И оттого обозрение выставки нагоняло скуку, как блуждание по кладбищу. Но вот в дальнем углу почувствовалось оживление. Ли-

ди подходили, толкались и уходили, неопределенно посмеиваясь. (Слышалось:

— Да чепуха же это! Дичь!

«Дичь» занимала самый конец витрины и представлена была двумя картинками в самодельных аляповатых рамках. Белая хатка в маках и необычная, непохожая на себя, одевшаяся в новую одежду старушка земля, напившаяся дождем и зажегшая радостный светильник — радугу. Краски были непривычны для глаза, но лежала на всей картине печать большой мудрости, силы личности, воспринявшей землю такую, что хотелось глядеть долго на эти синие, желтые, черные полосы, чтобы проникнуть в тайники мысли, породившей эти образы.

Меня тронули за рукав.

— Что, аль нравится?

Я обернулся и сразу окунулся в широченную улыбку, раздвинувшую густо-красные прядки усов и утерявшуюся в заросли такой же густой, с багровым отливом бороды. И глаза лучились навстречу дремучие, черные, как угли, с желтыми просветами. Был этот человек низкоросл, широкоплеч, на ногах стоял твердо, словно готовый к напору со стороны. И пока я разглядывал его, он, улыбаясь, говорил сочным голосом:

— Ругают все... Я это написал. Говорят, сумасшествие. По-вашему, верно?

Это было мое первое знакомство с заокским колдуном Девкиным, о котором я ничего не знал, и потому спросил его ни с того ни с сего, пряча смущенье:

— Вы—художник?

Он махнул рукой и, глядя на картину, бормотал в бороду:

— Какой там! Так просто. Учиться хотел да бросил, а вот опять рука выиграла... Мужик я, крестьянствую.

И, пригласив меня взглядом слушать дальше, заговорил охотнее:

— Это мой хутор. Мазанка. Писал-то я ее зимой по памяти, как видел летом. Можно сказать, поэтическое одиночество переживаю. А это «После грозы» я написал, верно, по глупости. Показалось мне, что все после грозы бывает в таком цвете, ну, и напачкал.

Говорил он так, словно хотел представить свои картины шуточной затеей, но в дремучих глазах стояла прочная уверенность, что если написано и не совсем так, зато очень близко к истине, которую он осознал крепко, и только он один.

«Белая хатка» на всем протяжении выставки не оставалась без зрителей. Красные маки, буйным стадом окружившие стены, дрожали солнечными пятнами, несли в бездушную пустоту зала свежесть гульбивога ветра, терпкий дух нагретой земли и говорили о просторе поля, обнявшего хуторок сказочного мужика Девкина.

Меня больше интересовал он сам. За эти дни я встретался с ним раза три. Он ходил по учреждениям без всякого дела, приглядывался к людям, прислушивался, точно молчаливо заряжался новыми словами, полученные сведения собирал старательно, дабы не растерять и донести их до деревни.

В последний раз я встретил его на выходе из редакции газеты.

— По какому это вы сюда делу?

Девкин смущенно улыбнулся и сгреб в горсть бороду. Глянул на меня, потом — глаза в землю. И еще раз. Я догадался:

— Уж не стихи ли?

Он развел губы в улыбке и, тряхнув головой, отвернулся в сторону.

— Пишете?

— Пишу...

И засмеялся гулко и сыто.

— Лезут в голову... Один все время. Ну, напишешь иной раз.

— Покажите.

Он испуганно взметнул руками:

— Помилуй бог! Я даю их тем, кто меня не знает. И то с опаской. Видите, какое дело...

Мы шли по улице. Ржавел на мостовой снег, солнце дробилось в стеклах окон, горячее, яркое, и от домов ложился голубые тени. Девкин широко шагал неуклюжими валенками, мял сыпучий снег и говорил:

— Весна скоро. Закипит у меня на хуторе, только поворачивайся. И про стихи с картинками забудешь. Приезжайте ко мне воздухом вздохнуть. Не пожалеете. Хатка у меня теперь

теплая, светлая, сenco на сеновале. Раздолье. А? Небось, кисните тут?

Я дал ему слово приехать.

И все тягучие недели до настоящей весны, когда солнце забавляется нашей нетерпеливостью, — то греет, а то насылает хрупкие утренники, — мне мерещилась белая хатка, красные маки и широкая улыбка колдовского мужика.

Галифе и мужицкие портки

В приходе Девкина и о первых его шагах на земле мне рассказал по дороге возница Иван, — высокий, испитой мужик, то и дело дергавшийся сухими лопатками в стремлении убедить гnedую кабылёнку бежать попроворней. Но та, убаюканная растолканным ходом телеги, вяло отмахивала хвостом понуканья, шла неторопливо и только под уклоны пробовала трясти костистым задом, — тогда меня било в пустой телеге, вытрясая внутренности.

Сообразно ходу лошади беседа наша тянулась длинно. Иван словоохотливо рассказывал мне обо всем примечательном на пути: о разгромленной в стороне усадьбе, где теперь жили беспризорные ребята, и, будто, вели хозяйство «на деле», о перекрестке дорог с изгнившим голубцом, где возчик вина в казенку видел ночью чорта на престоле, и о своих дорожных страхах. О Девкине Иван сказал вначале коротко:

— Примудрый рыжий колдун.

Потом, подталкиваемый моими расспросами, разговорился и рассказал о выделе Девкину земли, о его мазанке и запаханной «чувике».

У Ивана длинное лицо с криво поставленным ноздрятым носом и большие серые глаза. Когда он говорит о ему самому непонятном, глаза у него темнеют, и весь он делается серее и прибитее.

— Ведь подумать надо, мил человек. Што Халимон? Он голова крутая. Его так вот просто не возьмешь, а все оттого, что по городам потолкался. Булочником был, учился картины писать, потом к хлыстам, говорят, ходил. Он науку ба-а-льшую принял, вот оттого он и все и делает не по-нашему. Вы

возьмите хутор. Уйти на отруб одному, без единой скотининки, ума надо много, редко кто состоит на месте, если не сделает лататы, а ведь он што поту хлебнул, старанья, так, может, с него сто рубах соль с'ела. И все к делу. Теперь у него хлеба больше всех, корова с телкой первые во всем селам, свиней каких отпитал! И, главное, — сад. Подумать надо, наши старики, может, пра-пра-и прадеды с этого клина снопинки не взяли. Юр и был юр, а он там рай себе устроил.

И потом, взмахнув кнутом, поставил точку:

— Нет, нам всем у него поучиться надо. И — учимся.

Засмеялся Иван неожиданно, напугав затрусившую сразу лошадь.

— И не потёма. Нет того, чтобы в землю пулиться, как раньше богачи. Что он на гармошке доказывает, прямо кости трясутся. А сам, дьявол рыжий, все глазом, глазом — живо больно!

Смеялся он заразительно, но я не отвечал ему: жара и бесконечное толканье разморили. Дорога вилась покатой обочиной лугов, в стороне тянулся редкий лес с частыми пнями на полянах, похожими на раскиданные шапки. Солнце висело почти над головой, устоявшийся воздух дрожал над лугами, остеклевенный, жаркий, и только в лесу слышен был птичий гомон, входивший в уши убаюкивающей музыкой, от которой несовладаемо тянуло в тень, в прохладную траву, чтобы забыть про пыльную дорогу, изверски тряскую телегу и безжалостно внимательное солнце.

Хутор мы завидели издалека. Дорога взбежала на курган, и отсюда разлеглась во все стороны покатая равнина — с селами в мочежинах, заросших плакучей осокорью, с лугами, изрезанными витыми стежками, глянули в небо голубоглазые пруды, — и надо всем дрожал такой покой и умиротворение, точно земля, истомленная в солнечных об'ятях, легла безвольная, податливая рукам человека.

Под'ехали к хутору, — солнце покинуло верхнюю полку, испаренное, опустилось ниже, клало розоватые пятна на поля, верхушки леса и на кудрявую россыпь облаков, словно тужилось

удержаться на месте и не катиться к горизонту.

— А вон и колдун. Ишь, мотается!

Я глянул по направлению руки Ивана, и на самом взлобке, выпиравшем из равнины круглолобым холмом, заметил белую фигуру. Она передвигалась меж высоких—не то трав, не то кустов, доходящих до пояса. А Иван, неизвестно чему обрадовавшийся, погнал кобыленку вскачь, телега одногососо затараторила, выбивая из меня остатки сил. Я, перекосив лицо в погугах сдерживать крик, улыбался Ивану. Он то и дело обертывался в мою сторону и кричал, надувая жилистую шею:

— Вы ему особенно-то не тово! Придерживайте язычок-то, он, враг, хитрый и с подвохом. Недаром наши коммунисты его не обожают. Язык востёр. Ну, и где надо—возьмет их и притяпает. Они ему «Что, мол, ты — не истинный мужик, ты собственность блюдешь». А он им: «То-то, вы вот, коммунисты, все для всех, а что-то галяфе-то у вас на мужицкие портки будто не всхожи». Ну, те и зlobятся. Народ, известно. А он праведный человек, даром что колдуном зовется...

...Июньские вечера сини и многоголосы. В лесу шел треск, усилившийся отзывчивым эхом, словно по сухим вершинам карабкались сотни невидных существ, над верхушками взлетали стайки грачей и ныряли в синеву неба. С лугов доносило голоса ночников в табуне, блудливым глазом всплывал отблеск дальнего костра, а вблизи, вокруг нас, над нами струился сыпучий шелест трав, ожидающих росы и прохлады.

Филимон сидел на корточках у потухающего костра, сдвигал в кучу сереющие огоньки углей, и лицо его, освещенное снизу, казалось мне медно-литым и загадочно неподвижным. Борода, удлиненная тенью, сливалась с мутной белизной рубахи, и руки казались щупальцами этой чудовищной бороды, проворными и не скупившимися на движения.

Я полулежал на кучке сена, сбоку от меня высился холм, поросший бурьяном, и, когда я обертывался в эту сторону, темные метелки, казалось, тянулись, выпираемые тьмой, к потухаю-

щему костру. Филимон перехватил мой взгляд и улыбнулся, широко раздвинув губы и лякнув зубами.

— Это тоже следствие моего волшебства. Не понимаете? Бугорок-то этот. Тут я третьего году своего младенца похоронил. Ну, народу это и удовольствие, что я поддерживаю свою репутацию. Не крестит, не хоронит с молитвой и нечистого не боится—ведь это колдун, да еще настоящий!

И ухал лешачьим смехом — гулким и сыпучим, а угольно-черные зрачки глаз, окруженные белками, рождали воспоминания о детских страхах и о водянном.

Потом сразу стих, встал, нырнул в сумерки, слышно, переговорил с кем-то за избой и подошел с другой стороны.

— Корову забыли запереть. За ночь удерет чорт-те куда.

И сел рядом, обняв колени.

..— Ну, вот вы все хотели знать, откуда у меня все это—и картины, и книги, и этот хутор. Дело получается длинное, но я постараюсь вам покороче. Всего-то не расскажешь...

Котелок и лапти

...Я сызмальства ушел из деревни. Бедность, темнота, необузданная, — ну, и махнул рукой, пошел в Питер по пекарному делу. А это занятие веселое: день паришься у печи, а ночь горюшь,—пили уж очень сильно пекаря. Я, было, навикать стал к делу, да бросил, думаю, не на этом свет сошелся, понцем чего покружнее. И попал я раз к хорошему человеку; он меня попытал, порасспросил, а потом и толкнул на механические курсы. Пошел, приняли, стал учиться, а живу все у своих булочников за спасибо. На курсах стал баловаться рисованием, и это, кому нужно, заметили, толкать на это дело стали. И так я завертелся, что просто страсть, дохнуть некогда, весь день на занятиях, а вечером—книжки. Читать я был жестокий, уже если возьму книгу, то чтоб до корня и не сходя с места. За те годы я перечитал горы, и такая у меня в голове мешанина получилась, что очумел совсем. Стал думать: а на кой чорт надо машины строить, зачем рисовать, раз ты кру-

пинка и так и умрешь крупинкой, а над тобой есть хозяин? Иду, бывало, по улице, и покажется мне, что это не я ногами двигаю, а другой кто-то; меня, будто, и нет совсем, я стою в стороне и только наблюдаю. Схватишь себя за голову, покачаешь ее из стороны в сторону, ну, и отойдет...

...От такой думы стал ходить по сектам. У молокан был, у баптистов, — везде бестолочь. Тут меня и надоумили сходить к толстовцам. Пошел, да так меня там прихватило, что я обеспамятовал. Курить бросил, пить бросил и — до чего дошел! — мясо перестал есть! Обосновал это все по философской системе, убедил себя и осилил.. В лаптях даже ходил.

Пока Филимон сгонял с лица раздумчивую усмешку, я спросил его:

— Почему это?

— Да как же? Кожаная обувь с живого организма, нельзя носить.

— Ну?

— Ну и надел лапти. Смею сколько было! Я тогда уж служил в магазине продавцом, костюмчик имел английский, котелок и все такое, — и вдруг лапти. Надумал я выйти на люди в лаптях, — боюсь. С неделю было так: обуюсь, дойду до парадной двери и назад. Потом ничего. Смеялись люди, но ведь в Питере какой там тебя будет разглядывать, там легко, и я, чтоб себя проверить, в деревню в таком виде приехал. Так со всех сел собирались глядеть. Чудно! Одет чисто, в котелке, с гармоньей, деньги есть, а в лаптях. Вот с тех пор я и прослыл чудаком у себя, пока в колдуна не превратился.

— Что же теперь?

— Теперь чудить некогда. Бросил я эту затею. Но главная суть осталась все ж таки. Основу блюду: не обижай человека. Все люди по-своему хорошие, пока жизнь их не сдавит. Думаю иногда, что мало мы уделяем себя большим вопросам, на пустяки размываемся. А ведь в этих больших вопросах и созревает человек для понятия всей жизни.

Костер петух, и тьма поспешно затянула дыру в своей ткани, скрыв от меня Филимона. Звезды мерцали в вышине, часто утыкав небо, млечный путь проступал голубой дорогой от леса на луга.

Филимон вздохнул и завозился в борде.

— Я и сейчас вижу с толстовцами. Зимой отделаюсь от работ и на недельку-другую трогаюсь в Москву походить по приятелям. К Черткову, к Гусеву, Николай Миколаичу, зайду, — много душевного услышишь от них.. Через Толстого я и о земле стал думать. В чем вся задача жизни? В том, чтобы делать приятное и посильное — раз, и два — найти такие условия, когда жизнь повернется к тебе своей праздничной стороной, покажет тебе всю свою красоту. А в этом — главное умиление. Я вот тут пятый год роюсь в земле, — сколько я увидел подлинного такого прекрасного в труде своем: для меня заходит солнце, накрываясь парчей зари, для меня поет в траве ветер, — кто поймет это, кроме человека, живущего на земле? Художники? Тютки! Они сидят в мастерской, киснут и, если выдерутся на этюды, то получают, что им дают. А я сам выбираю. И потом — труд. Это — большое дело. Кто меня кормить должен? Какой-нибудь бедняк, измотавшийся с сохой по безродной земле? А у меня у самого руки есть и смекалка. Я и работаю и пишу картины.

Я перебил:

— Значит, по-вашему, все должны пахать землю?

Филимон долго молчал, мял пальцами бороду и потом сказал тихо и раздумчиво:

— Понимаю я и нужность техники. Что деревне нужны и коллективы и трактора — это тоже без очков ясно. На земле не будет полного счастья без овладения машиной.. Это уж я тут начал понимать, когда горб себе наломал и нужду деревенскую полной горстью хлебнул.. А только..

И повысил голос, задышал часто, блеснул глазами, отразившими звезду.

— Где же твердое понятие? Не пойму я. Себя человек постигнет только в единении с природой, а машина развивает в человеке лень. Жизнь — есть движение, а, если все будут делать машины, и человек будет только наблюдать, значит, в нем ослабнет движение, и он должен вымирать. По-вашему, как?

Я не мог ему ответить сразу, ошеломленный большой внутренней силой этого человека, решающего вечные проблемы. Передо мною встал символический образ мужика, копающегося в плодородных недрах земли и задавшегося целью постигнуть назначение существования человека, найти пути к светлому будущему.

Потом я сказал:

— Жизнь идет не к тому, чтобы дать счастье одному человеку. Надо оздоровить все общество, тогда и каждый вздохнет по-иному.

Филимон слушал меня, не прерывая, в темноте я различал тускло мерцавшие блески его глаз,—он не отводил их в сторону,—и я почувствовал необычайную теплоту, колыхнувшуюся внутри, захотелось говорить много и долго. Мне показалось, что слушает меня не один Филимон, а и пригложная ночь, вся земля, которой слова эти нужны, чтобы зацвести новыми, невиданными цветами человеческой радости.

— Обновить жизнь один не может, надо всем тесной стеной идти,—тогда только толк будет. Ибо силы, пригибающие слабого, велики, и для одного не подъемны. Вот ты живешь полнокровной жизнью, достиг внутренней гармонии,—а это прочно? Ведь сидишь-то ты, небось, на барской земле, ее надо было для тебя кому-то отвоевать, нужна была сила,—организованная, неодолимая,—а где она? У одного? Нет, в огромной спаянности всего обездоленного люда, измотанного неподъемной работой на благо другого. И зря ты, друг, так думаешь.

— Об чем?—Филимон упер в меня невидной бородой.—Об чем?

— Вот о чем. Ты упускаешь главное, что душевный покой вырастает на экономической сытости. А чем деревня будет сыта, как ее сделать сытой,—ты не договариваешь.

— Сытой-то? Да, тут, верно, душевной полнотой ничего не сделаешь...

— Вот-вот!—Я обрадованно вскинул руками. Филимон помогал мне отыскать слабое место в его монолитной непреклонности. Было видно, что он старался примирить две непримиримости: толстовство и голоса живой жизни—суровой и заставляющей бороться

с ней иными путями,—и, думая одно, он, делает совершенно другое.

И я говорил после мирно посапывающему Филимону:

— Жизнь тебя не гладила по голове, это видно, но ты не увидел на своем пути главного: что только путем завоевания машины, путем покорения ее организованному человеку, трудовому, возможно изменение проклятых условий

Филимон посапывал, с силой выдыхая воздух носом, молчал,—и это молчание, мне казалось, прикрывало огромную внутреннюю работу этого человека, но был ли он со мной согласен, я не знал.

Разошлись мы поздно. Выходила за лесом луна, и черные верхушки сосен и елей, казалось, вылезали из гигантского костра, готовые вспыхнуть. В лугах ржал жеребенок,—разливисто и неугомонно. Ему не отзывались.

Искусство и покойники

Проснулся я от шороха в сене, открыл глаза,—в ворота били солнечные стрелы, голубыми лесенками они тянулись в сумрак сарая, а снизу, из-под стога рыжая голова и зубы—крепкие, рассыпающие неслышную улыбку.

— Поднимаетесь?

Я вскочил быстро и начал одеваться. Филимон сел на бревно и говорил поспевающим голосом, утеревшим ночную суровость:

— Не спешите. Авось, вам ехать некуда. Мне, верно, нельзя так тянуться. Да я и не привык. Как петух третью песню полыснет, меня камнем к подушке не притянешь. Люблю росу и туман,—не нагляжусь никогда... А нынче я уж на село сходил.

Моя неловкость становилась гнетущей: люди наработались, а я, как живой показатель городской лени, тянусь до обеда. И, сдавленный неловкостью, я упрямо молчал, а Филимон все говорил и говорил, словно по пути из села внутри него прорвалась дыра, и в нее сыпались сдерживаемые веселые слова.

— Какое дело! Вы знаете, как проникает искусство в народ? Агитацией, пропагандой? Если так соображаете, чепуха к вам в голову лезет. Наши мужики через меня поняли значение жи-

вописи. Поняли! И знаете, как? Не смейтесь тодько: через покойников. Да, да! Первое время приходили ко мне, толковали: «Кой ты чорт на холстине дурака выписываешь! Рисовал, бы святых хоть. В церковь бы купили, а то какие-то травы, да небо. Кому это надо?» Нет, думаю, поймете, неправда. Умер у нас один старичок, всеми почитаемый. Родные сокрушаются: «Даже портретика не осталось, горе-то какое». Я и говорю: дайте, мол, я его нарисую. Взял, да и зарисовал в гробу. Вышло очень удачно, хотя я портреты никогда почти не пробовал. Все взахались: вот так здорово, ай, как всхоже! Денег мне, подарков. С тех пор и пошло. Как покойник,—так ко мне: сними портретик, сделай милость. Ну, и делаю. А другой посмотрит рисунок с мертвеца, покрутит головой с сожалением, что нет у него такого счастья—покойника, и просит: «Зайди как-нибудь, девочку бы мне, а?» Или еще случай. Глот тут у нас один есть, поспорить со мной захотел: ненавистно ему, что народ ко мне льнет, и задает мне: «Ты, говорит, мастер на все руки, мертвецам рожи малюешь, а ну-ка намалюй мне избу, что я вот строить буду по весне». Гляжу,—с подвохом едет мужик. Что же, говорю, давай, авось, и сумею как-нибудь. Нарисуешь? Да, попробую. Да ведь ей еще нету? Ну, что же из этого? Взял у него размер бревен, расспросил об окнах, о крыльце, и нарисовал ему фасад. Что же, получилось точь в точь, после разговоров было,—воз!—а ребяташки в школе на учителей насели: научи рисовать, как колдун рыжий может. И отцы за ними. Сейчас много карандашами баловаться стали, ко мне заходят иногда за советом.

За воротами послышался голос. Филимон торопливо вскочил, затолкал меня к выходу:

— Молочка выпить, хозяйка ругается. Заговорил я вас тут.

И—в ворота:

— Идем!

Солнце поднялось на завтрак, а в тени избы на траве дрожала еще роса, и хатка с этой стороны казалась голубой.

Филимон, шагая сзади, говорил мне в спину:

— Нынче за мной приезжали тоже покойничка запечатлеть. Верст за шесть отсюда. Спрос на искусство растет.

Молоко мы пили перед хаткой, в окружении толпы маков—высокорослых и с кроваво-красными сгустками цветов. Их было бесчисленное множество, они недоуменно разглядывали нас желто-восковыми сердечками, на которые упорно лезла пчела.

Стоял кругом гуд и сладкий аромат. Молоко было непередаваемо вкусно.

Собственническая гигиена

Весь участок Девкина можно обойти в полчаса. Хатка в соседстве с островерхим погребком, два-три хлевушка посреди владений, а вокруг неглубокая канава, почти закрытая жидкой зеленью гибкостволых липок—питанием будущей пасеки. Липки посажены широкой аллейкой, и пока трудно представить себе тенистый коридор аллей: сейчас здесь растет картошка, рядом сизые вихры калусты о-бок с плотной стеной зеленопёрой ржи в цвету. За ржаной карточкой прогонистая полоса густо-зеленого клевера—красного, белого,—над ним тонкое курево цветочного дыхания,—оно тает под солнцем и наливает голову сладким звоном. В самом дальнем углу у Девкина питомник. Дички яблонь, груш, мичуринских тонковеток, молодые прививки, которые на будущую весну увеличат стокорневой садик.

В этом углу мы задержались. И пока Филимон с женой,—толстобедрой, белокурой женщиной, с широким поставом глаз и с ленивой, непонятной усмешкой,—возились около дичков с ножицами, лопатками, я прилег на борвок у канавы и спросил:

— Ну, как же теперь мужики, дружат с вами?

Дарья первая обернулась и распевно послала мне в лицо:

— У, надоели, как почесота!

Филимон, не глядя в сторону, подрезал молодые побеги. Ответил после долгой паузы:

— Это верно, в кишки в'елись. Сейчас еще ничего, за делом идут. А первую зиму, как на повинность шли,—каждый день. Всякому желательно было

полугатать меня: «Да как ты жить будешь, да получится у тебя что?» — словно я сам-то не знаю, страшно мне, али нет. Придут и горюют: «Небось, тебе, малый, скушно тут?» Выходит, говорю, вам скушно,— вот вы ко мне и прётесь за версту. Ведь я-то к вам не иду, значит, мне весело. Дела себе не найдут по зиме, вот и слоняются по соседям, пока на печь не потянет. А тут ли нет дела?

И Филимон хозяйственно обглядел питомник, плюнул на ладони и взялся за лопату. При каждом наклоне у него спадали на лицо волосы—необычно светлые рядом с бордовой бородой.

— У них в своем доме дел не находится, а мне дыхнуть некогда. Оттого и темны мы и нет у нас ничего, что дело не любим, никакой ни к чему привязанности не имеет. Ведь подумать надо, целый день сиди и не двигайся! Ведь это хуже тюрьмы! А им и горя мало. Вот и иду-ут ко мне по первой зиме. Верно, баловал я их книжонками, читал по всей ночи, и так привыкли, что книжек сорок прочитали. Заверну я им, бывало, Виктора Гюго или Лондона (выговаривал он почему-то Лондо́на), — ни дыхнут, сидят.

Я представил себе тесную светелку Девкина, и само собой у меня вылезло:

— Небось, накурят?

Филимон засмеялся.

— Отучил я молодчиков. И каким манером! Написал на листе и приклеил к стенке: «От куренья портятся легкие, с табаком человек вдыхает в себя яд, разрушающий его организм, что, мол, отравляются не только те, кто курят, но и находящиеся в том же помещении некурящие». А внизу крупно: «И от дыма портятся картины». Это и проняло, — что картины. Так-то, о здоровье, разговора бы не было, а раз картины портятся, тут, ребята, живой убыток. Бывало читаю час—и: «Стой, Филимон, курнуть надо». И—на улицу. После говорить стали: «Сидишь у тебя и ни званья голова не шалеет. Видно, верно, что табак вредит. Вот у себя-то мы как надвошимся, так всю ночь голова хрястит. Надо бы, верно, отвыкать при ребятишках-то, им ведь ба-а-альшая вередка с этого». Отвыкайте, мол, чудного

в этом ничего нет и невозможного также.

— ...Ну, вот и был у меня всю зиму клуб. Я с ними тоже пробайбачил время зря, а на другой год — довольно. Придут, а я или плотничаю (столы делал для больницы), или переплетом занимаюсь. Войдут: «Как же, малый, почитаешь?» Нет, не выйдет, говорю, занят. Ну, и отстали. А после я и им дело дал. Пришел на собрание и говорю: лугов у нас много, по старнице¹⁾ прут растет первосортный,— что бы подумать корзины плести артелью? Выгода будет, как вы думаете? Поглядели на меня, пошутили: ты сам, рыжий демон, не сидишь на месте и нас хочешь закрутить,— но согласились. И теперь три года как артель зачалась. Первая в округе: девчонки, ребята так набили руку, что в Москву продавать стали. И меня не тревожат больше. Догадались.

После мы бродили меж широких гряд земляники, спутанных бесчисленными усиками, из-под лопастых листьев застенчиво выглядывали первые ягоды,— белотелые, покрасневшие сверху робким румянцем. Филимон любовно раздвигал пальцами листья, ухмылялся и кричал. И во всей его склоненной, нескладно спитой фигуре было столько напряженного внимания, осторожности к растениям, словно он боялся разрушить волнующую его гармонию гряд. Потом сорвал розовую ягодину, поглядел на нее, придвигая к глазам, положил в рот и, не смыкая губ, хрустнул ее зубами. И растаял в улыбке, отвернулся от меня, махнув рукой.

— Сладость необыкновенная... Поищите себе.

И говорил надо мной, пока я раздвигал жесткие лапки листьев:

— Вот взять сады. До меня в нашей деревне ветла одна горемычная сучала. А у иного и ветлы не было, чистое за двором поле, а он годов сорок на корню сидит и хоть бы палку в землю сунул. Увидали у меня садишко и зачесались. «Да как же это ты, да каким манером?» Тебе, говорю, не манер, тебя оглоблей бить надо. Хорошо, ви-

¹⁾ Старое русло Оки.

дишь? Чего ж ты зад-то раньше тёр? Уж яблок бы об'елся. Ну, и стали разводить. Я им дичков, прививок даю—на расхват. Эка, говорит, раньше кабы догадаться!

Повесть о гармошке, бывшей семь месяцев в советском раю

Вечером Филимон играл на гармошке. Мехи у его гармони синие с золотыми цветочками, и при каждом разводе цветочки словно подмигивали, и после того, казалось, гармонь рыдала глубже и торжественнее. Играл Филимон все строгое и тягучее, с лица у него сразу сдвинулось приветливое выражение, нос вытянулся, и глаза мерцали сурово из-под приспущенных бровей. Глядя на его руки, с трудом верилось, что это его корявые пальцы бегают по глазкам клавиш, — то жестко-напористые, то неслышные, испускающие тихие вздохи, сливающиеся с музыкой тающего в лугах вечера.

В этот раз небо не выпустило звездных выводов, с востока наполнили свинцовые облака, затянули меркнувшую синеву и приглушили сумеречные голоса. И гармонь Филимона, казалось, звенела и плакала о неудавшемся звездном игрище, о растаявших в вязком сумраке голубых волоках тумана, об урезанном луговом просторе.

В игре Филимона было что-то древне-величественное, будто земля воздавала хвалу небу за дневную ласку и скорбела о нежеланных часах ночи, приносящей едкие росы и непогодь. Я разметался и не заметил, как Филимон кончил играть и подсел ко мне.

— Не заснули от моего треска? Чего доброго! Я забываюсь за этой штукой, и горе и радость — все дело с этой трехрядной подругой. Раз меня с ней разлучили, и это время было самое тяжелое...

Поймав мое вопрошающее движение, Филимон глухо усмехнулся и продолжал:

— Какое дело вышло! На первом году здесь, зимой дали мне лист на продналог. Я знаю, что я, как вышедший на отруб и безлошадник, освобождаюсь от налога полностью. Написал заявление в вик и головы не ломаю. Бац!—перед святками меня вызывают в сельсовет.

Налог, говорят, вноси. Я стал доказывать им свои права, а они и слушать не хотят: из волости тут приехали с зачисткой. Давай, а то продажу назначим. А! Так? Ну, ладно. Я и давай им дурочку заводить. Списывай, мол, ваша власть. Пошли волостные на хутор. Подходим к избе, они обглядели все,—пожали плечами: нет ничего, чисто поле. Входим в избу. Я отхожу к стороне, даю им ход. Посмотрели они на избу и повеселело у них: чистота, картины, значит, есть, что потрясти у парня. Зря, говорят, ты ломаешься, платил бы лучше. Живешь ты ишь как. Я говорю: это все ведь декорация, стенки-то (и колупнул краску ногтем), стенки-то, мол глиняные, это только моя чистоплотность вам глаз засорят. А картины что,—картины ведь это мешки (я на мешках все больше пишу). Они смотрят. Ну, а мякотного что у тебя есть? Про одежду это. Говорю: мякотного охалки две овсяного еще уцелело. Нет, ты не дури, одежи мы спрашиваем. Одежи? Вот ежели у жены фартук, или портянки с меня. Обозлились, стали резче расхаживать. Увидали гармонью. Это что? Вот и продадим. Взял один в руки, пробует играть, а ничего не выходит. Я опять свое: немецкая, мол, где вам играть на ней, лучше уж я. И эдак хладнокровно взял гармонью и заиграл. Они тут взвозились. Берем! Верите. Ну, и взяли. Не стал я просить, да и бесполезно было.

...И семь месяцев моя гармошка ходила по советскому раю, драли ее на все лады для пополнения государственного бюджета.

— Дело мое путалось по всяким станциям, тянулось, а тут сельская комиссия при разверстке скидок возьми, да и скинь с меня полностью. Получилось так: волость нажимает, чтобы у меня торга произвести, а о постановлении скинуть ничего не знает. Когда мне сказали, что налог сброшен, я пошел в уезд, взял справку и захожу в вик. Тут, говорю, у вас моя гармошка обретается, нельзя ли мне ее опять на место взять, поиграла и хватит. «Нет,—один умник нашелся, — мы ее продадим скоро». Ну, я ему и сунь бумажку. Проглядели и говорят: отдать надо. Посылают сторожа куда-то. Приходит тот

и давай по матушке пушить. «Она, говорит,—не отдает гармонью. Меня в шею наладила». Кто такое, думаю? Председатель обозлился и написал записку, меня посылает самого... в рай. Это у них так одна избушка называлась, где у ответственных веселые игрища протекали. Иду. Прихожу, в избе полно баб. Сидят за столом, вино пьют, разботели, лица вот такие масляные. Ну, думаю, попал раб божий. Вошел и так смирихонько от двери: —Гармошку бы мне мою. Одна, главная, давай меня всякими словами, а я ей записку. Прочитала,—ну, надо отдать. И выносит мне мою голубушку всю разбитую, облупленную. Взял я ее и стою. А та мне: «Гармонь-то какая-то чумовая, никто на ней не может ничего». Я говорю: Верно это, я вот еще умею кое-чего. Да и развел им на поларшинчика. Как все бабы грохнут, выскочили из стола и завихрились. Я им наподдаю. Они мечутся и диву даются: ай да рыжий!

— Ну и ушел я оттуда. После председателю—хороший парень—и говорю: собираюсь повесть писать под заглавием: «Странствие гармошки по советскому раю». Он мне: «Ладно, парень, где горит, там и трещит. Не взыщи уж дюже-то». Я и не стал докапываться, потому он-то к раю никакого касанья, это все молодежь там с бабами плясую устраивала.

Земной рай Девкина

В день своего отъезда я, наконец, получил возможность видеть загадочно колдуна со стороны: пришли с деревни два мужика, которые пахали ему землю. Один—перекошенный, износившийся подлётком, к пятидесяти, с мочальной бородой и в шапке, другой—молодой, краснорожий, точно налитый соками, кряжистый.

Они сидели на бревне перед избой, долго говорили о делах, слышались слова:

— Эта цифра дешева.

— Как раз будет.

— Да ты считай: два раза под рожь...

Когда я подошел, они резко оборвали разговор, и мужики недружелюбно обернулись мне навстречу. Постарше который протянул:

— Из городу? То-то вижу я...

Потом, словно вломив что-то, улыбнулся, показал изъеденные зубы, и кончик сморщенного носа стал похож на сливу. Смахнул с носа прозрачную капельку и снял шапку.

— Интересуетесь нашим помещиком? Теперь все к нему тянут. Любопытственно, как мужик по-новому начал жить.

Филимон, глядя под ноги, пробурчал недовольно:

— Не мели пустое.

Но тот не переставал смеяться и, настроенный говорливо, хлопал его по плечу.

— Коммунистом тебе быть надо. Толк ты в этом знаешь. Только ты вот что мне,—перед товарищем, по сурьезному,—говоришь ты, коммунизм принесет жизнь хорошую, а отчего ж ты сам-то от людей отделился?

Разговор принимал интересную форму. Я решил молчать до конца, чтоб дать возможность Филимону объяснить мужику толком о коммунизме, а что он станет объяснять, меня в этом убедил его строгий лик и туго поджатые губы. Мужик все мельтешил, но теперь в его словах не было смешка, была пытливость и неясно выраженная боль:

— Ну, всех подгонят под один ранжир, вставай по звонку, обедай тоже, где ж тут свобода-то? Мне, может, другого захочется? Как ты?

Филимон молчал долго, слушал мужика, глядя дремучими глазами переставив себя, и под солнцем лицо его казалось еще багровее, резче. Потом он заговорил. Заговорил без поучительной нотки, просто, как бы убеждая самого себя, и прислушиваясь к внутренним голосам:

— Не понимаешь ты, и вообще мало кто доходит головой до этого. Ты вот кто? Мужик, пахарь? А, может, ты талантливый по другому делу? Может, ты художник, философ, музыкант? Но раз ты родился в деревне,—твой удел лапти и соха. Понял? Вот отсюда и наши лентяи. Ему, говорят, не хочется работать. А нет на земле такого человека, чтобы работать не любил, нету! Надо только дать ему любимый труд, к чему он сроден. Он полюбит его и отдаст ему всю душу. И лентяев я не

осуждаю, нельзя этого. Только без понятия можно. А коммунизм-то и есть то самое золотое время, когда человеку дано будет заниматься сродным делом. Люди по-разному устроены: один любит землю, другой книжку, третий, вон, небо, чтоб завоевать вселенную. При коммунизме, сказано, каждому по способностям. Тогда всего хватит у людей, рай будет. А ты мне про казарму, в роде солдатского поселения. Голову надо иметь.

У мужика на лицо пала глубокая тоска. Он слушал Филимона, и в глазах у него отражались дали, словно он вглядывался, силясь увидеть рай, о котором говорил Девкин.

— Ты, может, плясать вот любишь. Из тебя при нормальной жизни талантливый плясун бы вышел.

Мужик вяло развел бороду улыбкой:

— Плясать... кто ж плясать не любит, когда на сердце вольготно...

— Ну, вот! А тебя каторжная жизнь сунула в курную избу, надела тебе хомут на шею, и пляши с ним вокруг нужды впрысдаку. Головой коммунизм понимать надо. К тому идем и придем. И—скоро.

Молодой мужик во все время речи Филимона глядел ему в рот, и на лице у него то ширилась улыбка, то задерживало глаза пеленгой большого раздумья. Когда кончил Филимон, он вскочил на ноги и, не осидив выговорить нужного слова, взмахнул руками, хлопнул себя по бокам:

— Ах, ты! Вот!

— Об чем ты?

— Глубоко говоришь ты. От сердца. Вот бы как на собрании говорить надо. Выворачиваешь все. Рай, говоришь, будет? Будет, мать его в гроб!

И махал руками, как ветряк, приведенный в бешеное движение порывом взмахнувшей из-за дальнего горизонта бури.

После пожилой мужик, сидя на корточках перед Филимоном, говорил, обращаясь в мою сторону:

— Вот, поглядишь, и коммунисты не даже тебя любят, а говоришь ты много лучше ихнего об ихнем же. Голова у тебя, рыжий, крепко сколочена, и землю ты все равно как мать родную любишь.

И—ко мне:

— Ведь вот, товарищ дорогой, как там тебя,— всю нашу округу перевернул без всяких собраний. Глядят на него люди и с зависти к нему у себя все по-другому делают. Жадён ты до земли, рыжий. Ишь, глаза-то, как у лучшего, горят!

Опять шутили, перекидывались словами, но за всем этим твердо стояла картина земногорая, которой разбередил сердца мужиков Девкин.

За двором, на скошенной луговине, сыто мычала корова.

Земляная сила

Обратно меня взялся довести председатель сельского совета, зашедший накануне к Девкину с просьбой переписать посемейно-имущественный список.

Выехали мы до солнышка. Утро было серенькое—в ночь поморосил дождик, и теперь дали плотно застилала серая мгла, придорожные травы ныли и слезились, над лесом непогоже кричали галки. Хутор Филимона полинял, загустел темными тонами и, отходя взад, сливался с космами тающего тумана.

Председатель сельсовета— молодой мужик, недавний комсомолец, статный в своем вытертом френче, с коком обвядших кудрей, вылезавших из-под сдвинутой на затылок кепки. По тому, как он обглядел на ход телегу, походил, охорашивая сбрую, вокруг лошади, поправил с заботливой миной через седёлок, можно заключить о его хозяйственности и домовитости. А тон речи, обрывистый и на городской манер нересыпанный книжными словечками,— плотно пристал к его облику и не казался резким.

В начале пути разговор был отрывист: тянуло подремать, и кислое утро квасило мысли. Но потом, когда дождевая пелена раздалась на стороны, пропустила ослепительные стрелы солнца, все кругом засверкало, заискрилось,— ехать стало веселей, и мы разговорились. Мне захотелось узнать, что думает этот представитель молодой деревни, подкованный на обе ноги коммунистическими лозунгами, о Девкине—земляном человеке, мечтающем на своем юру о земном рае.

— Девкин? — председатель обернулся ко мне, потом почесал переносицу, напустив на лоб хмури.

— Мы с ним не ладим. Он как-то все по-своему расценивает. И не тянется к общественной работе. Даже в сельсовет не хочет войти, хотя за него все единогласно.

— Ну?

— Но что он полезный человек, в этом у нас никакого сомнения. Да я вам подробней расскажу.

Он перекинул ноги через грядку телеги и сел рядом с мною.

— К примеру, хозяйство. За это время, глядя на него, мужики совсем по-другому начали относиться. Вот прошлый год перешли на многополье, а отчего? Увидели, у него клевер, корма, смена хлебов урожаем поднимает почти вдвое, — взвонились. А раньше руками махали: «Сделай хоть семнадцать полей, земля больше положенного ей не даст, одни слова только!» Ну, Девкин их сразу убедил. Затем сады. Видали у него питомник какой? Тоже мужиков зависть взяла. Начали сажать яблони друг перед дружкой, опять о пчеловодстве заговорили по-старинному... И корзины. Пустяк, кажется, а это здорово пополняет бюджет хозяйства, не говоря уже о сокращении хулиганства. У нас ведь народ ухватистый, озорной, а от безделья по вечерам и лезет всякая чухь в голову.

Я спросил:

— А идеология?

Председатель колупнул ногтем в кудельке кудрей.

— Тут у нас с ним разрез. Он больше о туманном говорит, не проникается нашей платформой. Только думаю я...

И с улыбкой:

— Как вы думаете—не вредно ж, что он так говорит? Мужики его понимают, да и нам живая польза. Земляной он человек, бытовой.

Я понял, что он хотел сказать—самобытный—и не поправил его. Мне вдруг вспомнился вчерашний разговор с мужиками у хатки. Филимон воодушевленно говорил о силе земли. Для него земля—щедрая на ласки любовница, он с криком вырывает эти ласки и, опьяненный ими, часами глядит в

глубину неба, вдыхает дыханье трав, —и тогда он счастливый на земле человек. И еще вспомнилось: жуткий блеск почерневших глаз, алчный оскал рта:

— Человека-мужика переделать можно. Только не словами,—он их сам наговорит короб,— а вот этими руками!

И размял, стискал жилистыми пальцами комок земли, перетер в пыль и отбросил в сторону.

Мужики глядели на него долго, не моргая, и отвернулись, когда Филимон передохнул, сел на бревно и сказал повядшим голосом:

— Это он поймет.

...Я не слышал того, что говорил мне председатель, и ухватил его речь с середины:

— Книжки любить стали—приучил он всех за зиму, к школе иное отношение. Вот прошлую зиму двоих ребят в губернию послали—одного в художественный, другого в сельтехникум. И это ему радость. Смеется и бороду царапает.

— Колдун, говорите?

— Ну, это его бабы так зовут. Да он, пожалуй, в самом деле колдун. Трудно головой обнять все, что он сделал на своем юру, а уж бабы, те сразу на нечистого.

Утро разыгралось. Облака скатились к горизонту, легли там притаившиеся, готовые в любой момент проглотить солнце. А оно распалаяло землю, сушило травы, и во ржах били перепела.

К городу мы под'ехали опустошенные тележной тряской, полдороги не перекинулись словом. И только при в'езде в слободы начало спадать полевое отупение, председатель весело заглянул мне в лицо и докончил прерванный разговор:

— Об таких колдунах книжки писать надо. Чтоб другие знали.

И я обещал написать. Обещал и позабыл. Только недавно вспомнил.

Первый оттиск своей обрывочной записи непременно пошлю тому деловому хозяину—председателю сельсовета, комсомольцу. На консультацию.

2. КАШГАРСКИЕ ОЧЕРКИ

М. Казас

Предисловие

Кашгарские очерки представляют собой ряд набросков из жизни Китайского Восточного Туркестана или, как его иначе называют, Кашгарии.

Край этот интересен тем, что здесь мусульманский Восток сохранил в полной чистоте свою седую старину, чего нельзя сказать о других пограничных с нами восточных странах, — о Турции, где буржуазная революция сбросила многие характерные для Востока черты, секуляризировала в большинстве земли духовенства, где мужчины заменили свои одежды и фески европейским платьем и шляпами, а женщины сорвали с лица покрывала.

В кольце соседних с СССР мусульманских стран Восточный Туркестан является страной, сохранившей в неприкосновенности старые нравы и обычаи.

Край этот, граничащий с Индией, Памиром, СССР и Тибетом, интересен как место столкновения индийской, китайской и мусульманской культур. Здесь наши границы, после Памира, более чем где бы то ни было сближаются с английскими владениями, пограничную линию которых англичане, особенно в последнее время, весьма сильно укрепляют.

Китайцы, заинтересованные в охране своей юго-западной границы от различных кочевых народов, неоднократно овладевали этим краем, но частые восстания внутри страны заставляли их отступать.

Однако, Восточный Туркестан самостоятельным, как отдельное государство, никогда долго не бывал.

Население его, разбросанное по оазисам, не было связано единством происхождения и общностью интересов. В каждом оазисе велось натуральное хозяйство, а потому интересы своего маленького оазиса для жителей были ближе, дороже и понятнее, чем интересы всей узбекской народности, разбросанной по разным местам, отделенным друг от друга значительными пространствами песков и пустынь. Перед-

ко вспыхивали отголоски прежней племенной и религиозной вражды, что давало возможность легко овладеть этой страной.

Наибольшего расцвета Восточный Туркестан достиг, как самостоятельное государство, в 70-х—80-х годах, при Якуб-беке, выходец из Ферганы, который, овладев этим краем, сумел поднять его благосостояние. Сумел объединить на национальной почве отдельные части страны, заручился поддержкой Англии и Турции, но китайцы, воспользовавшись внутренними трениями, начавшимися среди мулл и ходжей, смогли снова и уже навсегда завладеть этим краем, входящим в настоящее время в состав Синь-Цзянской провинции.

Хотя народ, вследствие жестокого ярко колонизаторского режима, замучен и аполитичен и ведет растительное существование, но все же китайцы всегда опасаются новых революционных вспышек, особенно со стороны Советского Союза, с которым хотя и поддерживают связь, но это делается лишь по необходимости, в силу больших экономических связей между Кашгарией и Советским Союзом.

Дорога.—Кашгар.—Жизнь колонии

Все существующие (открытые) дороги из Киргизии к Восточному Туркестану—в большей своей части верховые горные тропы, которые местами цепляются за каждый выступ, дающий возможность поставить лошади ногу. Нужно пройти через перевалы, из которых самый большой Терек-Даван,—12½ тыс. футов.

В зимнее время тропинки заносятся снегом, и лошади не могут пройти,—тогда приходится пользоваться яками, типа тибетских. Они пробивают дорогу среди снегов, а затем уже могут итти и лошади.

Яки лето и зиму живут в горах, где имеется много пастбищ. Если яка заставить летом спуститься с гор в нижние долины, то он зачастую гибнет от жары.

Иногда в горах бывают обвалы, весьма опасные для едущих. Большие камни, сброшенные при беге дикими козами и архарамы, падая с гор, увлекают за собой целую грудку камней, сметающих все на своем пути.

Мне красноармейцы рассказывали один случай с басмаческой бандой. Дело было зимой. Были получены сведения, что через одно горное ущелье должны пройти басмачи. Отдали распоряжение закрыть все выходы из него. Спустя некоторое время безрезультатного ожидания, решили, что басмачи прошли какими-то, им одним известными, путями. Однако, весной, когда снег начал таять, совершенно случайно раз'езд нашел в этом ущелье на дне горного потока много трупов, по которым удалось установить, что басмачи здесь действительно были, но их смел в пропасть большой обвал.

Пейзаж суров и красив. Растительность—субальпийской флоры—особенно в весенние месяцы дает очень пестрый ковер цветов, где можно встретить даже эдельвейс с его медвяным запахом. Особенно красива своей яркой зеленью тянь-шаньская ель, растущая словно из камней. Приятно вдыхать ее щекочущий ноздри пряный смолистый запах.

Дорога идет все вверх, медленно поднимаясь и постоянно меняя пейзаж. Вы проезжаете то по зеленой, шумящей ручьями, долине, то поднимаетесь по безводной и скалистой местности, то выбираетесь на зеленое нагорье, где снова появляется вода и пасутся стада яков.

Под'ем становится более крутым, и лошади прямо ползут по склонам гор, где протекает арык по искусно вырытому на круче ложу. Внизу виднеются пенящиеся горные потоки.

Иногда вы под'езжаете к киргизским яйлыкам (кочевка), где располагается несколько десятков юрт. Кругом пасутся стада. Еще издали слышатся голоса перекликающихся пастухов. Здесь вы можете отдохнуть, напиться айрану (род кислого молока).

Наконец, добираетесь до снеговых вершин (Терек-Давана), начинается спуск, и реки начинают течь в обратном направлении.

Вы под'езжаете к нашему пограничному посту, где кучка красноармейцев обязана проводить годы, вы же в течение одних суток чувствуете на своем дыхании всю тяжесть пребывания здесь. Сердцебиение учащается после прохождения нескольких саженей.

Здесь особенно тяжело красноармейцам зимой в раз'ездах, где всюду безлюдье, приходится ночевать во время сильных морозов на открытом воздухе. Однако, все трудности пребывания в таких условиях не отражаются на красноармейцах, вид у них здоровый, свежий.

Несмотря на изолированность, за дальностью расстояния, от местных центров, чувствуется, что они всегда в курсе политической жизни, у них бывают кружковые собрания, виден живой интерес ко всему, мысль бьется. На все это я указываю для сравнения с китайским постом по ту сторону границы.

Действительно, убожество там ужасное во всех отношениях. Насколько китайские солдаты не развиты и темны, настолько наши красноармейцы культурнее и развитее их. Среди солдат нет грамотных. Большинство их мусульмане, комсостав состоит из китайцев, который все же получает жалованье, хотя и ничтожное. Солдаты же никакого жалованья не получают. Живут на полуголодном пайке. Обмундированы они очень плохо и разношерстно, но большинство одеты в какие-то серые, под цвет их лиц, куртки, так что имеют вид арестантов. Возраст их различен, можно встретить 15-летнего мальчика и 45-летнего бородача. Обучения почти нет. Многие, особенно китайцы, курят опиум, играют в особые костяные карты. В общем от всего этого остается впечатление какого-то безразличия, мертвой жизни, что составляет резкий контраст с нашими красноармейцами-пограничниками.

Тотчас по переходе границы начинается среди голых красных и серых гор спуск в Кашгарскую долину. Мрачно и неприветливо здесь,—пустыня, растительности почти нет, лишь кой-где вездесущая колочка. Затем постепенно начинается кашгарский оазис, появляется зелень, кишлаки, где вы

после ряда дней верховой езды можете пересесть в экипаж, на котором добираетесь до самого Кашгара. Вы даже не замечаете, как въезжаете в город, ибо перед ним на десяток верст тянется непрерывный кишлак и сады.

Кашгар представляет собой типичный восточный городок, обнесённый в своей старой части высокими глинобитными стенами с рядом ворот, которые всегда запираются после известного часа, о чем возвещает выстрел из пушки. Утром, также по выстрелу пушки, ворота отпираются.

Пушечными выстрелами отмечается каждый выезд губернатора из своей резиденции. Приезд к нему высоких гостей (консулы) также отмечается выстрелами из пушек.

Узкие кривые грязные улочки тянутся среди серых глинобитных заборов. Если смотреть сверху, то видишь массу плоских серых крыш, только выделяются по своим размерам мечети. Базарные улочки закрыты сверху цычовками или досками для защиты от лучей палящего солнца.

Среди толпы пробираются ослики, навьюченные разными товарами, большей частью фруктами и овощами.

Прибываем в советское консульство, расположенное в стороне от города. Консульство занимает довольно большую, всю в садах, территорию, окружённую высоким забором. Когда-то здесь царское правительство держало большой отряд казаков, для которых имелись казармы. Была своя почта, телеграф, русский рубль имел равное с местной монетой хождение в стране. Была своя таможня и... тюрьма, ибо сами чинили суд и расправу. В общем чувствовали себя «как дома». Капитуляционный режим с консульской юрисдикцией узаконивали это положение.

В случае каких-либо недоразумений с местными властями имелись для «поддержания престижа» казаки.

Царское правительство выкачивало за бесценок из страны все, что было возможно.

В бытовом отношении процветало царство, кутежи, жили так, как ведут себя солдаты в только что завоеванной стране, где начальством все поз-

волено. Пили неделями, забывая счет дням. Сознывая собственную безнаказанность, покупали себе женщин-кашгарлычек. В старых делах консульства есть много данных о казаках, которые насильовали мусульманок, но китайцы были бессильны наказать русских солдат.

В общем, описание у Щедрина жизни господ ташкентцев будто бы взято из жизни русской колонии в Кашгаре.

Советская же колония живет, конечно, иначе, чем жила старая русская колония. Но жизнь идет монотонно, скучно. Совслужащие знают свою службу в городе, куда едут по утрам, и снова в Сарман (наименование местности, где находится консульство). Развлечения: теннис, городки и верховые прогулки, — этим все исчерпывается.

Советская колония живет так, как часто живут у нас в маленьких захлавленных городках. Живут, как под стеклянным колпаком: жизнь каждого на виду, ни одно движение не укроется от досужего глаза, ибо вся жизнь протекает в стенах консульской территории. Поэтому все друг другу надоедают до чрезвычайности, отсюда мелкие дразги и прочее, тем более, что работы относительно мало, а досуга, особенно у женщин, много.

Есть клуб, но мало посещаемый. В самом городе нет ничего интересного для колонии, кроме покупок; гулять нельзя, так как за вами будут ходить толпы оборванных и грязных нищих и просто зевак, часто хватая вас из любопытства руками.

Газет в Синь-Цзяне не издается ¹⁾, общее представление у колонии о стране довольно смутное, да и интереса особого к изучению ее не замечается. Живя в Китае, не знают Китая. Единственный источник информации — это газетные сведения о Китае, поступающие из Союза. Но газеты приходят довольно нерегулярно и часто задерживаются китайцами. Все это в совокупности дает почву для отрыва и от жизни Союза.

¹⁾ Имеются сведения, что в самое последнее время приступлено к изданию китайской газеты в гор. Урумчи. — Ред.

Китайцы-колонизаторы

Китайцы в Восточном Туркестане в своем большинстве являются чиновниками и военными. Некоторое количество их находится в деревнях, куда они попали вначале в качестве переселенцев из Центрального Китая или отставных солдат, а затем нашли более выгодное и подходящее им дело ростовщиков, выжимающих соки из бедного местного населения.

Жизнь китайцев в Туркестане протекает как жизнь типичных колонизаторов. Китайцы приезжают сюда исключительно с целью обогащения. Заполучив ту или иную должность путем или покупки ее, или протекции, они рассматривают ее как свою сатрапию, или, как область, в которой они полновластны и бесконтрольны.

Живут китайцы очень обособленно. Они не только стараются не соприкасаться с местным мусульманским населением, но даже и между собой они весьма чинятся, считаются с рангами и служебным положением друг друга, в зависимости от этого они и поддерживают связи между собой.

Китаец, переезжая в новую, чуждую для него страну, остается тем же китайцем, каким он был у себя, в Центральном Китае: он неразлучен со своими верованиями, привычками и сюда переносит всю обстановку, которая его окружала на родине. Он одевается в столь характерную для него одежду, ничего не заимствуя от местного населения.

В имеющихся китайских лавках он находит все, что ему нужно. Все привозится из Центрального Китая, включая до продуктов питания в виде различного типа консервов. В этом отношении китайцы напоминают своих близких здесь соседей — англичан в Индии, которые также стараются создать уголок Англии всюду, где они живут.

Имеется всюду китайский театр, где идут пьесы исключительно из периода империалистического Китая и весьма примитивные по своему содержанию, в роде трагедии «Тай Пин-чин», в которой приводится эпизод из междоусобных войн в царствование одного из императоров Да-Сунской династии.

Пренебрежение китайцев к местным мусульманам таково, что они их рассматривают, как низшую расу. Своего отношения они не скрывают и говорят, что узбеки — это народ, который понимает только палку, что культура, якобы, чужда узбекам, что они способны лишь повиноваться, да и то не всегда. Разговоры среди кашгарлыков на политические темы не допускаются и влекут за собой наказание.

В общем можно сказать, что китайцы в Синь-Цзяне являются образцовыми колонизаторами, это показывает вся история здешнего края, особенно их политика по завоеванию его, по подавлению революционных вспышек среди кашгарского населения.

Политические течения среди китайцев весьма характерны для здешних мест и связаны с самой системой управления.

Система управления, созданная здесь с первых дней китайской республики, продолжала существовать и существует без всяких изменений, при чем в отношении признания центральной власти существует принцип: признавая официально всякое правительство, которое будет находиться в Пекине, на местах вести свою прежнюю линию. Так был последовательно признан Чжан Цзо-лин, а затем нанкинцы. Но местные чиновники всемерно стараются препятствовать к проникновению сюда каких-либо велений, которые могли бы изменить status quo. Газет здесь никаких не издавалось, сведений из Китая почти не поступало, поэтому все современные события в Китае здесь не нашли своего отражения.

За последнее время среди китайцев, прибывавших из Центрального Китая на службу в Синь-Цзянскую провинцию, были и тайные члены Гоминдана, которые образовали не только в Урумчах, столице Синь-Цзяна, но и в ряде других крупных городов небольшие чанкайшистского типа ячейки. К ним кое-где примкнула местная китайская молодежь из бюрократов, отдельные фрондирующие чиновники, — в конце концов эти ячейки, за исключением урумчийской и еще некоторых, превратились в нечто в роде «оппозиции его величества». Им свойственна была из-

вестная доля свободомыслия, но тако-го, которое соответствует видам начальства и лишь выпячивает их благонамеренность. К диким син-цзянским порядкам эти либералы относились отрицательно, но вопрос о реформах, признаваемых ими необходимыми, они откладывали до окончания войны в Китае.

На коренное мусульманское население смотрели по-колонизаторски. Деятельность кружков сводилась к осторожной антисоветской пропаганде, проектированию мероприятий против деятельности наших хозяйственных организаций в Синь-Цзяне. Этим самым они заставляли губернаторов отдельных областей Синь-Цзяна прислушиваться к их голосу в области «охранительных мероприятий».

В кружках мечтали о воссоединении Синь-Цзянской провинции со Средним Китаем, но под углом сохранения прежнего положения в провинции.

Китайская администрация опасалась также проникновения со стороны СССР революционных веяний и принимала ряд мер, которые определяли отношения Союза с Синь-Цзяном как существование «худого мира, который лучше доброй ссоры».

Однако, истинная физиономия здешних китайцев выявилась после официального признания ими Нанкина. Этому предшествовали следующие события. Сохранение вечно нейтралитета для Синь-Цзяна и, в частности, для Кашгарии, становилось все труднее и труднее.

Год тому назад на жизнь генерал-губернатора Синь-Цзяна было совершено покушение. Были данные предполагать, что здесь участвовали гоминдановцы.

Когда Пекин был взят нанкинцами, генерал-губернатором была дана телеграмма с заявлением о признании Нанкина всем Синь-Цзяном.

Группа во главе с Фанем, комиссаром иностранных и внутренних дел, составлявшая ячейку гоминдана, решила воспользоваться этим случаем (признание Нанкина) и произвести переворот, имея целью перебить всю бюрократическую головку Синь-Цзяна и взять власть в свои руки, при чем была

уверенность на поддержку со стороны Нанкина, относившемуся к ген.-губернатору Яну отрицательно и считавшему его лицом, которое будет препятствовать к проникновению в Синь-Цзян проектов и идей Нанкина.

Группа Фаня начала с убийства ген.-губернатора, убитого во время званого обеда, вместе с ним убили командующего войсками и ряд крупных китайских чиновников.

Провел все это лично сам Фань, используя свое положение. Помощь ему оказала группа учеников военного училища и незначительная часть солдат.

Объединившиеся консервативные силы было решили группу Фаня ликвидировать—рассстрелять, что и было срочно произведено одновременно с назначением другого ген.-губернатора из консерваторов.

Причиной неудачи этого переворота была надежда Фаня, что только путем убийства Яна и его приближенных он сможет взять власть. Фань недостаточно учел общую ситуацию в Синь-Цзяне, не озаботился поддержкой со стороны провинциальных администраторов, а главное, не привлек на свою сторону местные военные силы.

Я не говорю о том, что Фань не был поддержан ни одной из тайных гоминдановских ячеек на местах.

Спустя некоторое время началась по всему Синь-Цзяну борьба не только со всякими гоминдановскими течениями, но и вообще со всеми оппозиционно настроенными и инакомыслящими, при чем позиция остальных квази-гоминдановских ячеек резко переменялась в сторону содействия правительству по изъятию инакомыслящих, дабы избежать репрессий по отношению к ним.

Местное население

Основное население Кашгарии составляют кашгарские узбеки, которых у нас в Средней Азии называют кашгарлыками. Что касается киргизов, живущих в горах, преимущественно скотоводов, и других народов, то их влияние на экономическую жизнь страны весьма незначительно, можно сказать, что узбеки здесь играют доминирующую роль.

Кашгарские узбеки, имея много общих черт с советскими узбеками, однако, имеют и различия, объясняющиеся большим влиянием на них проходивших через этот край разных народов. Жизнь в оазисах и слабые связи между ними создали резко отличающиеся друг от друга типы узбеков, иногда даже не понимающих языка друг друга.

Местами можно найти резко выраженный монгольский тип или тип арийский, с чисто таджикскими чертами.

Язык кашгарских узбеков представляет собой совокупность не только чисто узбекских слов, но и слов китайских, индийских, монгольских и древнеперсидских.

Местные узбеки отличаются также и в одежде, при чем китайцы их называют «чанту» — чалмоносцы, ибо все кашгарлыки носят на голове чалмы.

Положение женщины - кашгарлычки здесь значительно хуже и тяжелее, даже по сравнению с дореволюционным положением женщин-узбечек в Средней Азии. Прежде всего женщина здесь есть предмет купли-продажи.

Раннее начало половой жизни—с 10—12 лет,—особенно у бедняков, которые поскорее стараются продать свою дочь, вызывает преждевременную старость.

Распущенность нравов влечет за собой частую смену жен кашгарлыками; редко можно найти женщину, которая к 40 годам не была бы 5—6 раз замужем. Детей—мальчиков,—как правило, берет при разводе себе муж, девочек иногда отдают матерям.

Женщина, живя абсолютно изолированно, все внимание устремляет на то, чтобы удержать мужа и не допустить, чтобы он брал других жен, или, если их несколько (число жен у богатых обычно 3—4), сохранить первенство.

В отличие от пользующейся большей свободой киргизской женщины, которая несет все тяготы жизни, даже больше, чем муж, жизнь узбечки протекает, за исключением крестьянки, почти в полном бездельи. Вся работа и добывание средств к существованию лежит на мужчинах.

Главные занятия кашгарлыков—земледелие, кустарные промыслы и торговля. Они прекрасные земледельцы и, когда часть кашгарлыков уходит на

отхожий промысел в Среднюю Азию, их у нас в кишлаках охотно берут на работу, особенно для обработки хлопковых и рисовых полей и по уходу за шелковичным червем.

Среди кашгарлыков много кустарей, особенно по производству местной хлопчато-бумажной ткани—маты, которая находит большой сбыт в стране.

Как на характерное явление, нужно указать, что здесь все без исключения связано с землей.

Занимаются земледелием не только крестьяне и кустари, но и купечество, обладающее большими земельными угодьями. Многие из купцов сами не ведут обработки земли, а сдают ее в аренду, либо исполу, либо из трети, в последнем случае они снабжают крестьян необходимым сельскохозяйственным инвентарем и зерном для посева, а также и налог китайцам платят не арендаторы, а владельцы земель.

В Кашгарии нет помещиков и феодалов, ибо китайская политика в этом отношении привела к ликвидации самостоятельности узбекских и монгольских князей.

С одной стороны, натуральное хозяйство большинства оазисов, а с другой стороны, постоянные поборы с населения, чинимые китайцами, сузили потребности у населения, не только у бедных, но и у богатых, и создали положение, при котором удовлетворить потребность в необходимом не так трудно, поэтому особой нищеты нет.

Зато имеются целые нищенские орденна на манер турецких, которые имеют каждый свои районы для сборов подаяния.

Стол бедняков состоит в день из нескольких лепешек из кукурузной муки и какой-нибудь похлебки. Богатый питается приблизительно так же, разве только кукурузные лепешки заменит пшеничными. Сытное угощение допускается только тогда, когда приходят гости.

Странно видеть, что люди, обладающие большими денежными средствами, живут хуже, чем наш середняк-крестьянин. Это частично объясняется со стороны кашгарлыков боязнью китайцев, внимательно следящих за «образованием» населения и учитывающих

это при взятках и всяких поборах. Отсюда вытекает стремление прибедняться.

Увеличение народонаселения пока не отражается на положении крестьянства, особенно не ухудшает его, а лишь вызывает увеличение посевной площади, возможное еще для ряда лет. Особенно заметно увеличение посевов вокруг городов, которые за последние 10 лет после прекращения связи с Советским Союзом весьма выросли. Объясняется это тем, что ранее ряд фабрикатов — ситец, вообще мануфактура, керосин, сахар и прочее — шел из России. После 1918 года, в связи с прекращением поступления извне, местное население, будучи предоставлено само себе, вызвало к развитию ряд производств кустарного типа — увеличение и улучшение выработки мяты, производство свечей, спичек и, вместо сахара, особого вида меда из риса.

От прекращения сношений с Россией особенно пострадало городское купечество среднего и мелкого типа, которое было в своей большей части проглочено небольшой кучкой крупных купцов, имевших возможность вынести кризис от прекращения торговли.

Возобновление сношений с Советским Союзом весьма усилило торговлю, и во многих городах появились целые ряды лавок, торгующих исключительно советскими товарами.

Наблюдая развитие нашей торговли в Кашгаре, невольно вспоминаются слова покойного Павловича¹⁾ о том, что наша политика в Западном Китае должна способствовать развитию национальных сил, всеми силами способствовать этим государствам превратиться в самостоятельные организации, которые будут в союзе с нами.

Позиция же китайцев в отношении торговли с нами определяется их заинтересованностью, как спрута, высасывающего зоки из населения, всегда чувствующего китайский гнет.

Вспышек борьбы против этого гнета было мало. К восстанию, поднятому китайской организацией Ге-Лао-Хой, примкнула часть, правда ничтожная, узбеков. Это восстание было относи-

тельно недавно, в 1912 г., когда организация Ге-Лао-Хой завладела страной, свергнув и казнив местную администрацию. В эту организацию входила китайская и мусульманская беднота. Состав Ге-Лао-Хой — чернорабочие, солдаты, слуги и безработные. Принципы ее были до некоторой степени социалистическими. Ге-Лао-Хой имела своей целью революционное преобразование общественных отношений на основе всеобщего имущественного равенства. Однако, китайское правительство ловким маневром откололо и дискредитировало левое крыло этой организации, с правым же вошло в соглашение, чтобы затем разделаться и с ним, залив страну кровью.

В Кашгарии не существует каких-либо националистических организаций, есть лишь отдельные лица, которые мечтают о создании своего узбекского государства, но мечты эти весьма смутны, и никаких попыток к претворению их в жизнь не делается.

Казалось бы естественным, что на почве колонизаторской политики китайцев создалось бы какое-либо национально-освободительное движение, однако, жестокая политика китайцев, особенно в этом отношении, парализует самые невинные начинания даже просветительного характера.

Китайцы особенно боятся Советского Союза. Ранее они разрешили проезд в Союз купцам, потом запретили не только это, но и караванчикам не разрешают переходить на советскую территорию.

В связи с этой панической боязнью «вредных» влияний Советского Союза они запретили проезд паломникам через нашу территорию. Каждый проезжающий из Союза подвергается тщательному допросу и слежке на предмет выяснения, не является ли он носителем «революционной заразы».

Синьцзянское чиновничество чувствует, что достаточно малейшего толчка, чтобы их благополучие разлетелось в прах.

Айша и басмач Сулейман

Вдоль советско-китайской границы до сих пор еще есть кое-где басмаческие шайки, в составе которых бывают

¹⁾ Павлович, Собран. сочинений, т. IX, стр. 77.

и китайские подданные. Благодаря попустительству китайских властей, эти шайки успевают при первом известии о движении против них красноармейцев перебежать на китайскую сторону, где они чувствуют себя в полной безопасности. О том, что они творят в советских аулах, много писалось. Здесь имеется налицо не только грабеж, но часто убийство, кражи женщин и прочее. В некоторых местах население бывает терроризировано до того, что боится их выдать советским властям и дает возможность басмачам свободно взимать дань с аулов.

В данном очерке я хочу рассказать об одном случае с кражей женщины возле Андижана.

Один басмач Сулейман скрывался в ауле, где выдавал себя за знахаря. Он снискал некоторую популярность среди темной кишлачной массы, и к нему приезжали даже из некоторых близлежащих районов.

Одна молодая и красивая узбечка из иредместья Андижана, бездетная, хотела иметь ребенка. Она приехала к Сулейману, дабы через его молитвы получить возможность снова «стать угодной мужу», дав ему ребенка.

Когда она пришла к Сулейману, он ее напоил опиумом, усыпил и в таком состоянии увез через степи и горы на китайскую территорию, где он надеялся ее выгодно продать.

По дороге он ее прятал и всем говорил, что эта женщина больна и ненормальна. Он отнял у нее имевшиеся деньги и, угрожая зарезать, заставил дать на коране клятву, что она никому не будет говорить об ее насильственном увозе.

Прибыли в небольшой китайский городок. Там Сулейман запер ее в комнату и приставил сторожа — женщину. Все вещи Айши — так звали узбечку — он заложил в китайском ломбарде, но дал обещание, что ее выпустит, если она даст расписку на 100 сар, полученных якобы ею от него. Она дала ему расписку, не понимая, что он имел целью таким образом связать ее этой распиской, а затем продать ее китайцам.

Однако, она, сидя взаперти, смогла попросить проходивших мимо местных

жителей рассказать о ее положении бывшим русско-подданным — андижанцам.

Сулейман узнал об этом и избил ее. Вообще он неоднократно избивал Айшу.

После этого случая, опасаясь мести андижанцев, Сулейман увез ее в город Яркенд, где он решил продать ее китайцам и стал вести переговоры об этом. Айша узнала о его намерениях и рано утром бежала в дом одного купца-андижанца, где рассказала его жене обо всем случившемся.

Купец этот собрал из своего квартала других купцов-андижанцев и рассказал им о положении Айши.

Сулейман, услышав об этом, явился к купцу, приютившему ее, и, на глазах остальных собравшихся, угрожал ее убить, если она не вернется к нему.

Собравшиеся почтенные лица города и аксакалы квартала передали тогда это дело китайскому уездному начальнику. Начальник прислал бека, и узбечка рассказала ему всю историю об ее увозе из Андижана. Бек ее отвел вместе с Сулейманом к кази (судье), которому Сулейман заявил, что она является его законной женой. Подтвердить это свидетельскими показаниями он не смог и отказался дать клятву на коране в верности этого утверждения.

В процессе разбирательства дела у кази Сулейман пытался ее избить, но она убежала на квартиру кази.

Тогда Сулейман явился к дому купца, возбудившего все это дело и приютившего Айшу у себя, и нанес себе в знак протеста удар ножом в горло. Обливаясь кровью, он лег тут же у ворот. К месту происшествия явился полицейский и, собрав с жителей квартала 8 (восемь) сар, передал их, как компенсацию, Сулейману. Получив деньги, он тут же встал, словно и не был ранен.

После этого их обоих посадили в яркендскую тюрьму. Ее — на основании заявления Сулеймана, что она ему должна 100 сар.

Совершенно случайно советский консул, будучи проездом в Яркенде, узнал о деле Айши и настоял перед китайскими властями на освобождении советской гражданки и на отправлении Айши в Кашгар. Она прибыла в Каш-

гар, куда препроводили и Сулеймана для разбирательства дела.

Айша, хотя и не находилась более в тюрьме, а поселилась в одной мусульманской семье, но вследствие постоянного надзора оказалась на положении находящейся под домашним арестом.

Китайские власти, встав на сторону китайского подданного Сулеймана, были возмущены тем, что вся эта история открылась, и стали во что бы то ни стало добиваться у Айши сознания, что она законная жена Сулеймана: таким образом, отпал бы вопрос о ее советском гражданстве.

История с узбечкой стала широко известной, родственники Айши в Андижане явились к китайскому консулу и умоляли его спасти ее.

Китайцы же стали обвинять ее в том, что она, как заявлял Сулейман, украла у него большую сумму денег. Сулейман нашел много свидетелей также в пользу того, что эта женщина покушалась его убить.

В общем следствие в китайском суде работало обычным порядком: вызывались свидетели, производились допросы Айши, являвшиеся настоящим издевательством и пыткой. Ее заставляли выстаивать на ногах по 12 часов, не позволяли садиться и есть. Смеялись над ее советским гражданством и доводили до того, что она падала в обморок.

Кроме всего прочего, она боялась попасть в положение *res nullius*. Это особое положение мусульманской женщины, когда она, после развода с мужем, не имея родственников или, если они от нее отшатнутся,—является собственностью любого, кто захочет ее взять. Поэтому она очень боялась, что если советское консульство не сможет ее защитить, она тотчас после развода попадет в руки китайцев.

Затем она не чувствовала, что советское консульство сможет ей помочь и ее освободить.

Для того, чтобы понять ее положение, нужно знать, что такое представляет собой китайский суд в Восточном Туркестане. Это в полном смысле слова Шемакин суд. Здесь нет отделения между процессом предварительного следствия и судом — все сливается в одно целое. Самый процесс носит

розыскной характер и стремится добиться сознания обвиняемого какими бы то ни было путями. Без этого сознания не может быть постановлен обвинительный приговор, хотя бы другими доказательствами вина его и была бы вполне ясно доказана. Свидетельские показания и другие улики в уголовном процессе хотя и играют роль, но решающего значения в деле не имеют, т. е. совершенно наоборот, чем у нас. Но так как сознания добиться часто бывает невозможно, то прибегают к пыткам, и по части изобретательности в этом отношении китайцы не уступят нашим прежним царским застенкам и средневековым пыткам инквизиции. При этом пытаются не только подозреваемого или обвиняемого в преступлении, но нередко и свидетелей, чтобы добиться от них правдивого показания, так как, по китайскому понятию, существующему в Кашгарии, если не бить их, то они не скажут правды. Нет ничего удивительного, что население бежит от суда, как от чумы.

Я не говорю о взяточничестве, которое здесь является основой направления следствия, но меры наказания, применяемые в Кашгарии, ужасны. Можно видеть людей в клетках, людей с известными всему миру колодками на шее. Пытки играют большую роль в следствии.

Через многое пришлось пройти этой бедной женщине, но она стойко выдерживала все издевательства над нею.

Однако, китайский суд постановил, что она «добровольно вышла замуж за Сулеймана и что она его законная жена». Таким образом, Сулейман под полицейским нажимом овладел снова этой женщиной¹⁾.

Многие китайцы покупают женщин-мусульманок, преимущественно подростков, и делают их наложницами, при чем мусульманское духовенство бесцельно что-либо предпринять против этого и смотрит сквозь пальцы на эту продажу, хотя и знает, что это фиксируется в соответствующих документах.

¹⁾ В дальнейшем дело было пересмотрено, и Айша получила разрешение вернуться в Андижан. — Р е д.

3. С АЭРОПЛАНА НА ОЛЕНЕЙ

(Перелет Иркутск—Якутск)

Сергей Обручев

Первые этапы наших северных научных экспедиций становятся совершенно необычны: еще прошлой зимой надо было бесконечный путь Иркутск—Якутск (2.700 клм.) проделать на санях, в морозы, 134 раза за 20 дней меняя лошадей и экипаж. А теперь, отправляясь в Колымский край от Академии Наук, я узнал, что воздушное сообщение с Якутском, которое организовал Добролет, вышло из стадии опытов, и им можно уже реально пользоваться.

Летом первые полеты были совершены на гидропланах—Юнкерс № 13. Эти четырехместные пассажирские самолеты, отягченные поплавками, обладали малой грузоподъемностью, и работа их носила рекогносцировочный характер. Тем не менее, непрерывное воздушное сообщение до Якутска было установлено, и мы могли гордиться величайшей в мире гидроавиолинией. Для зимних полетов необходимы были гораздо более сильные машины, поэтому только с прибытием в Иркутск трех машин Юнкерс № 33 (тип «Бремен», на котором немецкие летчики совершили недавно перелет через Атлантический океан) линия могла быть открыта. Машина эта—в 310 сил, грузоподъемностью до 1.300 кгр. и развивает скорость до 200 клм. в час.

Сначала было установлено сообщение с более близким Бодайбо—по Лене до устья Витима, и затем вверх по последнему. Уже этот участок представлял значительные трудности из-за морозов и туманов, но еще труднее оказалась северная часть линии, где температура несравненно ниже. Первый самолет вылетел в Якутск с пилотом Демченко и двумя пассажирами 5 февраля. Он задержался в Олекминске из-за тумана на сутки и совершил весь путь в 4 дня.

Второй самолет, на котором мне предстояло лететь, только 13 декабря вышел из мастерских Юнкерса, прилетел в Москву и был доставлен в Ир-

кутск по железной дороге. 13 февраля была закончена сборка, и днем мы присутствовали при его приемке.

Аэродром находится на Ангаре, мимо лениво едут на дровнях крестьяне с бревнами и очень возмущаются, когда их гонят с площадки. Самолет уже жужжит—все в исправности, и вскоре из конторы появляется пилот, т. Слепнев. Я знал, что пилоты на этой линии одеваются тепло, но в первый момент все же опешил: настолько необычен был его вид. Представьте себе медведя на задних лапах—медведя в бараньих шкурах. На лице шерстяная маска с прорезами для глаз и рта, и кажется, что это не лицо, а страшная морда. На пилоте одето столько мехов, что он едва может двигаться. Кроме верхней шубы мехом вверх (брюки и полшубок вместе), внизу одеты еще меховые брюки, жилет, свитер и много другого.

Но удивительно все же, как и в этом костюме пилот выдерживает перелет в 3—4 часа: 40—60° мороза при скорости в 200 клм. в час—это действительно ужасно.

Самолет с первой партией пассажиров уходит на середину реки, чтобы там подняться. Кругом собирается толпа аэромальчишек и взрослых, которые всегда и везде облипают вокруг самолета: каждый надеется, что возьмут и его.

Аэроплан легко поднимается и быстро забирает вверх; он делает несколько кругов над Иркутском, спускается за новыми любителями, и так четыре раза, поднимаясь временами до 3.000 м.

Машина в полной исправности, и начальник линии, т. Волобуев, назначает первый полет ее на завтра.

Утром в конторе-избушке на берегу Ангары набивается множество народа: летящие, провожающие, сочувствующие. Строгая предварительная процедура: взвешивание багажа и самих пассажиров. Для Добролета зимние пассажиры явно невыгодны: на каждом по крайней

мере 15—20 кг. меховых вещей, которые надо везти бесплатно. Я влезаю на весы в дохе и двойных рукавицах («мохнатки») и, к ужасу пилота, перетягиваю за сто килограммов. Кроме 5 человек, пойдет еще до 200 килограммов груза, и самолет будет перегружен.

Последние формальности — отбирают оружие, фотографические аппараты. С большим трудом упикиваемся в кабинку, уже полную вещей,—кажется, что наши меха наполняют ее всю. Начальник станции закрывает дверцу, повторяя главные правила—не курить, из кабинки ничего не выбрасывать,—и затем мы слышим, как по крылу тяжело взбираются два медведя—пилот М. Слепнев и бортмеханик И. Эренпрейс. Медленно выползаем на середину реки, затем поворот вправо—и легко и быстро отрываемся. Вот уже на белом поле внизу игрушечный Иркутск, а затем, с высоты 2.000 метр., открывается обширный вид: на юге Тункинские белки, а на востоке белая полоса Байкала между черными хребтами. Под нами плоские возвышенности, отделяющие Ангару от Лены; аэроплан забирает все выше, чтобы пересечь отроги Березового хребта. Сначала все жадно смотрят в окна, но вскоре три наших спутника, члены комиссии, едущей в Жигалово, начинают читать: один уткнулся в роман, другой—в журнал. Я невольно почувствовал к ним уважение—вот это опытные путешественники.

А между тем, несмотря на некоторое однообразие зимнего пейзажа и плоских гор, зрелище изумительное. Чего стоит одна полоска хребтов у Байкала. Под нами, среди белых полей, бурятские деревни, и с трудом можно различить среди обширных изгородей людей и животных.

Самолет скашивает путь и, минуя Качуг, прямо идет к городку Верхотленску. Перед ним лесистые отроги Березового хребта, и, быстро снижаясь, мы как-будто почти задеваем вершины деревьев. Сразу в долине появляется город, в сущности, деревушка, и, покругив над ним, самолет мягко садится на Лену. Сейчас же сбегаются жители,—в валенках, в ушастых шапках. Они уже считают себя специалистами в авиатике—ведь само-

леты летают с лета—и стараются не так наивно смотреть на машину. Самый важный вид у уполномоченного Добролета—длинного человека в ушанке. Когда через пять минут, сдав мешочек с почтой, мы отлетаем, он стоит перед толпой, картинно отставив ногу и держа в правой руке белый флаг.

Дальше летим вдоль Лены; сверху она кажется еще узкой речонкой, да и действительно она еще очень мала. Самолет пересекает мысы, летит над плоским нагорьем, в котором прорезана узкая долина. Через 40 минут Жигалово—начальный пункт водного пути с пристанями (в выше лежащий Качуг мелководье часто не пускает пароходы).

Ниже Жигалова, у Тихого Пlesa, где сделан аэродром,—река в узкой щели, и когда самолет снижается, кажется, что он задевает крыльями за склоны гор.

Из-за мыса дует встречный косой ветер, и, несмотря на все усилия пилота, машина утыкается носом в борт площадки—снежный вал с елочками. Надо довести самолет до склада бензина, и бортмеханик выскакивает, чтобы тянуть за крыло. Но самолет засел в снегу прочно, пилот стучит в окошко: приглашение выйти помогать. Я выскакиваю: для меня это еще ново и интересно; вдвоем мы раскачиваем машину, она заворачивает и идет. Теперь задача—вскочить на ходу. Мне кажется, что это просто: я бросаюсь к кабинке, но ветер от пропеллера срывает с меня шапку, сбивает с ног, я падаю в снег. Механик, к моему утешению, тоже остался, и мы бредем по дороге вдоль реки целую версту. Здесь народу мало—деревня далеко. Несколько проезжих крестьян с сеном останавливаются, и начинаются обычные расспросы, удивление, что так скоро долетели. Шутка ли: около 400 км. в 2½ часа, а на лошадях надо ехать день и ночь двое-трое суток. Больше всего спрашивают, сколько весит самолет, сколько поднимает, как скоро летит, не страшно ли, сколько стоит билет и... сколько зарабатывает пилот.

Между тем, мохнатая лошаденка подвезла на дровнях бочку с бензином, и его наливают ведрами в баки. Пушистая северная собака обнюхивает хвост

самолета, но никаких практических выводов пока не делает.

Все готово — снова в кабинку, на этот раз только вдвоем: ученые члены комиссии слезли в Жигалове. Со мной еще одна дама, едущая в Якутск к больному сыну: только материнская любовь, вероятно, победила в ней боязнь такого полета по линии еще неизвестной, в сущности, рекогносцировочной.

Опять по Лене, текущей в извилистой долине, прорезанной в том же однообразном плато. На юго-востоке видны еще цепи Прибайкальских гор, но скоро они скрываются в облаках и метели, окутывающей белой пылью весь пейзаж. Солнце уже не одно на небе — вокруг него круг и по кругу три солнца, а внизу, по углам квадрата, еще два. Внизу мелькают деревни, иногда видна двойная точка на льду: воз и лошадь.

Через два с небольшим часа — следующий большой пункт, Усть-Кут, — селение в устье реки Куты, где лежит солеваренный завод. Отсюда паромодство совершается уже беспрепятственно, и поэтому сюда предполагается провести железнодорожную ветку, соединяющую Лену с Сибирской магистралью.

В Усть-Куте та же встреча: толпа любопытных обступает аэроплан. Пилоту и механику это давно надоело, и они стараются скрыться: любопытные набрасываются на меня, и приходится опять рассказывать то же самое. Но здесь есть спец: он допрашивает, сколько сил в машине, и, наконец, «сколько газу берет». Я с недоумением отвечаю, что не знаю и долго потом мучаюсь своей технической безграмотностью. Я никак не могу понять, о каком газе идет речь, и только вечером Слепнев объясняет мне, что это обычный вопрос: хотят узнать, каким газом поддерживается самолет в воздухе.

Я пользуюсь случаем расспросить, когда проехали мои помощники: весь Колымский геоморфологический отряд с тяжелым грузом идет на лошадях по Лене. Два дня назад они миновали Усть-Кут, и в каждой цепочке точек на белой полосе Лены я пытаюсь узнать четыре наших подводы.

Пейзаж сохраняет свое подавляющее размерами однообразие до вечера — то же безмерное плато. Серые крылья самолета делят пространство прямой линией — это единственное реальное: кажется, что картина внизу — это только карта, игрушечная модель, и крыло — часть рамы, обрамляющей это видение. Следись по одному крылу, как оно упирается в Прибайкальские горы, а по другому — видишь долину Нижней Тунгуски. Неужели мир становится таким тесным?

К закату солнца прилетаем в Киренск, центр округа. На аэродроме горят костры, площадка для рулежья вычищена, охрана не пускает толпу к самолету, — вид почти европейский. Киренск за последнее время вообще сильно изменился, появилось много интеллигентных лиц совершенно московского облика. В клубе водников, недавно отстроенном, где мы обедали вечером, — хорошая театральная зала, фойе, электричество, странные для Киренска разговоры об аэропланах, о необходимости доставки кинофильма авиопочтой, чтобы они не устарели, — это в Киренске, где недавно двухлетняя фильма считалась свежей!

Добролет в крупных пунктах, где предполагаются ночевки, арендовал дома с помещением для пассажиров, летного состава, канцелярии; пассажирам дают даже постельные белье. Клопов пока не успели завести.

Следующий день летим по самым интересным местам, мимо Витимского нагорья. Оно возвышается сияющим белым щитом к юго-востоку от Лены, с безлесными гольцами и изрезанными склонами. Витим, мощная река, почти равная Лене, глубокой долиной прорезает его западную часть. На север и восток по-прежнему тянется безбрежное плато Тунгусского бассейна, прорезанное узкими долинами притоков Лены. На водоразделах это плато белое — леса покрыты инеем: здесь холоднее, чем внизу.

А у нас еще холоднее. Пилот и механик замерзают. Перелеты сегодня длинные — за день только одна остановка в Витимске. Туго приходится и нам: хотя кабинка герметически закрыта, и лицо не мерзнет (повидимому, внутри около

20—25° мороза), но от металла ноги стынут. Мне еще ничего, я оделся так, как одевался для поездок на оленях в самые лютые морозы, но спутницу, выехавшую в валенках, спасает только мой спальный бараний мешок, в котором она сидит. Юнкерс, наверное, не предполагал, что его машина будет летать, в таких условиях,—не только нет обогревателя для кабинки, но и многие существенные части машины не защищены от замерзания, и их пришлось в Иркутске обернуть асбестом. А такие нежные инструменты как часы, указатель уровня бензина, они просто замерзли, и пилоту приходится определять количество оставшегося бензина по времени перелета. Вероятно, скоро начнут изготавливать самолеты и для таких температур: авиолинии на севере СССР несомненно широко разовьются.

Вторая половина дня очень плохая, постоянно налетают метели, туман, плохо видно, машина трепещет от встречного ветра. Но полет необыкновенно спокоен, нет резких вертикальных токов воздуха, «ям», которые так мучительны для пассажиров. На протяжении всего пути мы ни разу не ощутили этого внезапного падения, при котором кажется, что внутренности поднимаются ко рту.

Пилот во что бы то ни стало хочет пролететь сегодня до Олекминска — около 1.100 км. за день — и, несмотря на метель и туман, мы летим после Витимска без остановки.

Непрерывно за нами — солнце с своим кругом и венцом ложных солнц. Невольно вспоминаю П. Драверта:

Три солнца сегодня на небе,

Но холодно в сердце моем —
и думаю, что сердце, — пустое, а вот
если б ногам было теплеее.

А внизу — сурово и мрачно. Сквозь пелену снега мерещатся горы вправо — это Патомское нагорье; слева все время так же ровно на сотни и тысячи верст. Лена разворачивается все шире и шире, перед Олекминском разлив с островами километров на десять ширины, и пилот на всякий случай кружит над поймой — не здесь ли Олекминск. Но город дальше, за мысом, маленький (особенно с высоты двух ки-

лометров), вытянут вдоль реки. Аэродром у другого берега, кажется совсем рядом с городом, но, когда мы завязаем в рыхлом снегу, город скрывается: Лена здесь три версты шириной, и в белесом вечернем снегу ничего не видно.

С трудом подползаем по снегу к избушке, аэродром раза в четыре больше нормального, и от центра, где мы опустились, до угла чуть ли не километр. Как и на других площадках, здесь маленькая избушка-зимовье, со щелями в стенах и непрерывно топящейся печью. В нее влезает человек пять, а в дохах не больше трех.

Лошади предупредительно поданы, и нас везут в город. Оказывается, по земле ехать неудобнее, чем по воздуху: то и дело ухабы, встречные сани накапываются на ноги, холодно.

Олекминская станция Добролета пока еще имеет вид почтовой станции старых времен: одна комната, огромная печь и за перегородкой кровати, но также с бельем. По стенам, однако, вместо прежних генералов, плакаты Добролета, и в углу на столике, вместо образов, пачка спортивных журналов. В Витимске, где станция организована полнее, даже целый читальный зал.

В Олекминске нас ждет разочарование: приказ помощника начальника линии Корфа из Якутска: ждать его прилета. Мы знаем, что по каким-то странным причинам вот уже неделю первый самолет не вылетает из Якутска, ссылаясь то на заструги на аэродроме Олекминска (а здесь мягкий снег, при котором заструг не может быть), то на туман. Неужели и нам придется подчиниться этой причудливой аэрологии? Пилот шлет протестующие телеграммы, Корф настаивает, наконец, в 5 часов утра звенит телефон (все станции Добролета соединены телефоном с телеграфными станциями), и я записываю приказание начальника линии т. Волобуева из Иркутска: лететь, как только Якутск сообщит погоду.

Утро проходит в томительном ожидании — все станции погоду дали, а Якутск, в ответ на настойчивые запросы о погоде, спрашивает: «когда полетите?» Между тем, совсем рассеялся утренний туман, погода чудесная, и жаль терять время: если не вылетим до

полудня, то можем не поспеть в Якутск засветло. Пилот отправляет нас на аэродром, а сам остается на телеграфе. Получается еще один приказ Корфа — ждать, и затем контрприказ Волобуева — лететь.

Эта странная настойчивость Корфа объяснилась позже в Якутске. очень просто: ему было неудобно, что второй самолет настигнет его в Якутске, и хотелось задержать его во что бы то ни стало в Олекминске. А вылететь раньше из Якутска нельзя было: город радушный, хлебосольный, «текущий млеком и вином».

Только в половине первого, так и не получив якутскую погоду, летим. С нами еще один пассажир — якут из Олекминска. Здесь полеты уже приобрели популярность — первый самолет увез членов всеякутского съезда советов, и пришлось силой высаживать лишних. Теперь просят прислать машину к женскому дню — надо отправить 25 делегатов в Якутск.

Стало еще холоднее, днем градусов до 40. На остановке в Иситской у Слепнева и Эренпрейса совсем замерзший вид, и горячий чай в избушке очень кстати. Здесь избушка замечательная: стены обиты пестрым ситцем, пол чистый, ладно сбитый. Мы обновляем ее — наш аэроплан в Иситской первый.

До Якутска еще полпути — 300 км. Три часа дня, но жители говорят, что до заката еще три часа, и Слепнев решается лететь — день ясный. Лена совершенно изумительна — с островами и заливными лугами «от горы до горы» она достигает 18 км., и вы видите, как эта гигантская полоса уходит на север на сотни верст мощными изгибами. Острова в извивах кустов, отмечающих старые берега; по лугам дома, якутские юрты, расположенные изолированно среди обширных изгородей. Берега — такое же плоское плато, но все более низкое, и от Синской представляет замечательное зрелище: все усеяно сыпью мелких озер и сухих впадин с лугами. Это — «аласы», несомненные следы обширнейшего ледника, покрывавшего когда-то всю страну.

Темнеет все быстрее и быстрее. И вот самолет начинает кружить над маленькой деревушкой: Слепнев решил, что

опасно лететь до Якутска и выбирает площадку для спуска. Три круга — все ниже и ниже, последний как-будто по самым крышам. Во дворах все население со страхом смотрит, не упадет ли самолет на них. Но он уже на площадке, и, пролетев в 2—3 м. над изгородью, садится на выгон в глубокий снег. Раскат — мотор остановлен, ход замедляется. Но площадка мала — впереди уже дома, пилот рулит вправо. Снег не дает повернуть, и вот в последнее мгновение в окно видно, как левое крыло надвигается на забор.

Я выскакиваю на крыло и поздравляю Слепнева с посадкой. Он мрачен и зол: «Сейчас застрелюсь». И неудивительно: его стаж — 12 лет полетов и 450.000 километров, из них 300.000 на службе Добролета. Поэтому для него утешительнее было бы настоящее крушение, чем такое глупое сиденье на заборе. А самолет действительно сел на забор: левое крыло пробито в трех местах бревнами, левая лыжа смялась и попортила правую. А самое печальное — на пропеллере выбоинка, маленькая, всего в 2 см. длины, но уже совершенно выводящая из строя эту необыкновенно точную часть машины. Надо ждать, пока из Иркутска привезут новый пропеллер (лыжа есть в Якутске).

Население уже бежалось — и ребятишки, и старики, и сам предсельсовета. Оказывается, мы сели в Улаханском, всего в 65 км. от Якутска, меньше чем в полчаса полета. Но в темноте вряд ли удалось бы сесть там — уже и сейчас темно. Слепнев летит по северной половине линии в первый раз, и не мог бы найти среди обширной поймы аэродром Якутска.

При деятельном участии предсельсовета перевозим багаж и почту, мотор закрывают чехлом и затем подпирают подставками, — чтобы не сел ночью на забор. Посылаются нарочные с телеграммами — телеграф в 18 км. к югу. Но о нас не забыли: в Якутске очень обеспокоены отсутствием самолета, и всю ночь нам не дают спать посланных на розыски представители соседних улусных исполкомов, нарочные с приказами сельсовету искать самолет, и т. п.

Мы проводим вечер за самоваром, и Слепнев рассказывает разные «случаи» из своего богатого опыта: он видел немало вынужденных посадок и крушений. По статистике одна вынужденная посадка приходится на 12.000 ккм, и на длинном пути из Иркутска в Якутск шансы на невольный спуск очень велики.

Тов. Слепнев памятен москвичам своим спуском на площадь у Брянского вокзала: разбрасывая над городом летучки, он должен был спланировать из-за остановки мотора, и ему удалось, пролетев над Тверской и Москвой-рекой, через переулочок попасть на площадь к вокзалу, не повредив самолета и не задавив никого.

Утром на подводах отправляют пассажиров в Якутск, а пилот и бортмеханик остаются караулить машину.

Я задерживаюсь до света, чтобы сфотографировать со всех сторон аэроплан на заборе. Затем мне поручают доставку авиопочты в Якутск на санях.

Как странно ехать внизу по узким протокам, и вместо широкой полосы Лены видеть только кусты по берегам. За три дня я перенесся уже совсем в другой мир: якутские юрты, морозный воздух, туман, полоска дороги с глыбами навоза, отмечающими направление. И само население здесь особенное—какие-то русские якуты, русские, уже плохо говорящие по-русски. Днем, во время остановки для выкормки лошадей, я с изумлением и некоторой

брезгливостью наблюдал, как русская баба, вместо того, чтобы целовать ребенка, нюхала его: прикладывала нос к его щеке и с шумом втягивала воздух, шепча ему что-то по-якутски.

Снова в сани; это все же ужасно опасный способ передвижения: каждую минуту грозят опрокинуться. А вот и местная достопримечательность: извилистая протока среди высоких тальников, где в 1922 г. во время восстания был уничтожен белыми весь штаб Каландаришвилли—отряд в 50 чел., направлявшийся в Якутск. Вот в этой рывтвине был найден труп самого знаменитого «дедушки».

В Якутске с нетерпением ждали прилета аэроплана, уже многие записались в очередь на полеты. Воздушная линия совершенно меняет положение Якутска во вселенной: вместо месяца езды до Москвы, всего дней 8—9, а если установится воздушное сообщение Москва—Иркутск, то при удаче можно попасть в 5 суток.

Для Якутска это целый переворот в психологии жителей: они уже не в медвежьем углу, до которого «три года скачи», а почти в Европе, приобщаются к жизни страны, к свежим газетам, к темпу современности.

Но пока на улице, при въезде в город, я встретил караван оленей, везущих груз. Через несколько дней и мне придется начать долгий путь в 1.500 ккм. на оленях к верховьям Колымы. Скоро ли и туда можно будет лететь?

За рубежом

1. ЭГОН ЭРВИН КИШ. За кулисами статуи Свободы. — 2. С. ГАЛЬПЕРИН. По всему свету.

1. ЗА КУЛИСАМИ СТАТУИ СВОБОДЫ

(Письма из Америки).

Эгон Эрвин Киш

(Продолжение¹)

XV. Как живет Нью-Йоркская гавань

1. Железные дороги на воде

Солнце всходило, и серые небоскребы окунались в цвета багряно-оранжевые и золотые. Косые лучи ломались о стеклянные грани больших крытых железнодорожных парков и, дробясь, рассыпались бесчисленными разноцветными зайчиками.

Здесь поезда проходят и по воде. Беспреданно плывут они то в одну, то в другую сторону, и, признаюсь, эти своеобразные переправы производят впечатление достаточно непривычное. Поезда, насчитывающие в своем составе 18 вагонов, везают на паромы по проложенной на них двух или трехколейке. Их берет на буксир мощный, хотя и не слишком большой пароход, который плывет, однако, не спереди, а рядом с паромом, стараясь держаться его середины.

Случается, что он пыхтит между двумя такими редкостными паромами, напоминая собою бравого полицейского, ухитрившегося изловить зараз двух смутьянов. Оба арестанта крепко перевязаны канатами, а полицейский, желая, повидимому, предупредить возможное нападение, отгорожен от них пловучей деревянной рамой и целой стайей уже отслуживших свой век автомобильных шин. Грандиозные размеры транспортного движения не позволяют здесь волочить даром на канатах. Не

дождавшись конца такой длительной переправы, другие пароходы перерезали бы их без всяких поблажек и сожаления.

Железные дороги на воде встречаются только в Нью-Йорке, единственной столице, представляющей собою отдельный остров.

Товары, поступающие со всего мира в Америку, равно как и товары, отправляющиеся из Америки в Европу и другие части света, погружаются в вагоны и переправляются, смотря по своему назначению, на тот или иной берег Нью-Йоркской гавани. Правда, тут же имеются еще и подводные тоннели и огромные мосты, связующие остров-столицу с берегами материка, но они ни в коем случае не могут выполнить грандиозных транспортных задач, возложенных на эту единственную в мире гавань.

Общий вес всех товаров, которые здесь погружаются в вагоны товарных поездов, достигает 45.000.000 тонн и превышает вес корабельного груза в два раза. Если бы вздумалось кому выстроить в ряд все товарные вагоны, которые за год попадают в Нью-Йорк, то можно было бы ими сплошь уставить восьмикольейную железную дорогу, проведенную по всему матерiku (от Нью-Йорка до Сан-Франциско). Мы, однако, вовсе не желаем преуменьшать за счет железнодорожного движения грандиозные размеры движения судоходного, а потому, раз мы уже и без того вступили в область статисти-

См. «Новый Мир» кн. кн. 4, 5, и 6 с. г.

ческих данных, то и позволим себе только кратко заметить, что океанские суда каждые двадцать пять минут посещают и покидают Нью-Йоркскую гавань. Стоимость товара, привозящегося в Нью-Йорк из-за океана, определяется за день в одиннадцать миллионов долларов.

2. Портовые рабочие

Невдалеке от запасного бассейна дожидается около ста человек, располжившихся в три группы. У самого ска-та разместились в полукруге палубные уборщики, чуть-чуть левее, на большой каменной ступени, — небольшая партия, которая будет работать в котельной по очистке машин и кранов, а несколько поодаль от этих двух групп — самая людная из них: товарные грузчики.

Еще вчера причалил огромный «Volendam». И уже с вечера стянулись к гавани рабочие в надежде на возможный заработок. Теперь они ждут только сигнала на работу. Но вот уже кто-то направляется к ним самоуверенной походкой: власть имеющего, он подает сигнал и приступает к переключке номеров.

Рядом с ним стоит агент профессионального союза и зорко следит, чтобы в ворота, ведущие к пристани океанского сообщения, прошли одни члены союза с голубыми значками на картузе.

Некоторые остаются невызванными. Они быстро отходят в сторону с немым проклятьем на устах. Их дообеденный заработок пропал. Теперь надо будет спешно обезать остальные пароходы: может быть, еще удастся запасться работой хотя бы на послеобеденное время.

Заработная плата за один рабочий час равняется восьмидесяти центам. За эту почасную плату работают в Нью-Йорке с восьми часов утра до пяти вечера с перерывом на обед от двенадцати до часу, сверхурочные же часы оплачиваются одним долларом двадцатью центами.

В Нью-Йоркской гавани работают тридцать тысяч организованных рабочих. Тридцать тысяч портовых рабочих про-

водили в 1919 г. забастовку. Забастовка не удалась. Но с тех пор союз портовых рабочих окреп и превратился во внушительную социальную силу. До 1919 г. смотрели на всех портовиков (будь то корабельные уборщики, ремонтеры, грузчики, котельщики, угольщики), как на люмпен-пролетариев, с которыми можно было поступать как угодно, и прежде всего обсчитывать и обсчитывать.

Правда, и теперь живется им не слишком сладко. Не только одни технические приспособления для ускоренной разгрузки пароходов сооружены в Европе значительно лучше и безопаснее, чем в Нью-Йорке, но в этом городе неизвестно также и страхование портовых рабочих от несчастных случаев, равно как и неизвестен постоянный контроль правительственных агентов по охране труда. В Америке можно застраховать от огня и других несчастных случаев только суда, корабельный груз, хранящийся на портовых товарных складах, уголь, дрова, но не живую рабочую силу.

А корабли в Нью-Йоркской гавани даром не прохлаждаются. Портовые вездные пошлины, равно как и плата за простой, чрезвычайно высоки. Еще более накладно содержание огромного экипажа и прислуги, в котором нуждается всякий океанский пароход. К тому же прибытие и отбытие кораблей должно происходить в Нью-Йорке по строгому расписанию, не считаясь даже с состоянием погоды.

Поэтому разгрузка парохода совершается при постоянном поторапливании и понукании. Администрация суда обычно выставляет большее количество рабочих колонн, чем это позволяют размеры парохода. Она не обращает слишком большого внимания на то, что грузчики вынуждены тем самым перебрасывать тюки с тяжелой поклажей через головы своих товарищей и что при такой тесноте подъемные крюки могут со всего размаха ударить по голове не успевшему вовремя отскочить рабочему. В Нью-Йоркском порту насчитывается больше несчастных случаев, чем даже в самых опас-

ных шахтах. Это подтверждено статистикой. На том же основании и американские страховые общества страхуют жизнь портового рабочего по наиболее высокой цене.

Установленный по договору восьмичасовой рабочий день постоянно нарушается сверхурочной работой, так что сорокачетырехчасовая рабочая неделя превратилась в чистую иллюзию, к тому же никого в обман не вводящую. Случается, понятно, что грузчик иногда и освобождается от работ, но и тогда он остается в гавани в ожидании новой. За эти часы ожидания ему, разумеется, не платит никто. Случается, что ему предложат работу в восемь часов утра и уже через несколько часов снимают с нее. Но бывает и обратное: зачастую приходится ему работать до позднего вечера, а иногда и в течение одной или даже двух ночей с небольшими только перерывами, потребными для подкрепления едой и рюмкой виски. Десятники не любят, когда утомившийся за день рабочий не желает продолжить работу на ночь. Грузчик, не способный выдерживать полной трудовой нагрузки, имеет мало шансов попасть на работу в дальнейшем.

Но нью-йоркские портовики (Longshoremans) и без принуждения охотно берутся за сверхурочную работу. Их к этому побуждает двойная причина: во-первых, сверхурочный час оплачивается в полтора раза лучше обыкновенного, а во-вторых, он никогда не знает, когда ему подвернется новый заработок. Чтобы выколотить «добрую недельку», он готов идти на героические подвиги. Это приводит к преждевременной старости и досрочно приближает то время, когда работодатель все подозрительнее станет вглядываться в лицо нанимаемого, сомневаясь в его трудоспособности.

3. Мнимая морская катастрофа.

На том месте Брэклайской гавани, которая заарендована торговым домом «Лемпорт и Холд» и где еще четырнадцать дней тому назад стоял на якоре пароход «Vestris», можно теперь

увидеть его точную копию—пароход «Vauban». На этом корабле разыгрываются в более безопасной обстановке те самые сцены, которые уже знакомы нам по газетным отчетам о гибели «Vestris». Третьего дня офицеры и матросы работали над спуском спасательных лодок; вчера долго производилось испытание пароходных сирен. Сегодня в полдень появилась на новом пароходе комиссия судоплавательной инспекции, а теперь с него делают киносъемку для сенсационной фильма «Гибель «Vestris». Всюду гудят сирены; матросы взбираются по канатам; спускают спасательные лодки. Все это тщательнейшим образом протоколируется, все это очень интересно... Но навряд ли это отразится как-нибудь на судьбе недавно потонувших пчсажиров...

Сокращенная транскрипция пароходной фирмы «Лемпорт и Холд» сводится к двум сакраментальным буквам «Л и Х». Матросы и грузчики расшифровывают это как «lousy and hungry» («вшиво и голодно»), намекая этим на то, что правление фирмы выплачивает вшивое, голодное вознаграждение.

4. El sinoras invitadas

Брэклайская сторона гавани является средоточием испанских моряком. В расположенных здесь трактирах, как и во всех питейных заведениях Америки, женщины в вечернее время допуска не имеют. За нарушение этого предписания позакрывалось уже немало подобных заведений. Вечерами нам неоднократно случалось видеть, как из дверей здешних кабачков выбрасываются на улицу засидевшиеся девицы. Это не мешает, однако, тому, что как раз над дверьми всех испанских таверн красуется надпись «El sinoras invitadas».

5. Татуировщики

Недостатка в татуировщиках в Нью-Йоркской гавани не замечается. Но самым талантливым из них (не только в Нью-Йорке, но и во всем мире, за исключением разве только Китая) является несомненно Леви Эльберт. Его замечательные творения, которые не ви-

сят на стенах картинной галереи, а дышат всеми порами живого человеческого тела, скитаясь по всем морям земного шара, не могут не возбуждать неподдельного восхищения. Он владеет оригинальнейшими сюжетами и умеет даже самым обычным мотивам сообщать обаятельное своеобразие: флаг САСШ, сделанный рукой Леви Эльберта, можно отличить среди десяти тысяч татуировок, пользующихся тем же мотивом.

6. Светлые дни перед рождеством

За ночь выпал снег. Воздух влажен и до того прозрачен, что из окна моей комнаты кажется, будто Мэнхэтэн так близко расположен от Брёклайна, что до него может долететь удачно брошенный камень. Об'емистые же бухты, предназначенные для стоянки океанских пароходов, напоминают бассейны, какие бывают в больших купальнях. Кажется, что их можно переплыть в пять минут. Но вот под'езжает большой броненосец. И так как каждому известно (хотя бы приблизительно) какой он величины, то невольно удивляешься, что он рискует пробираться такой узкой водной полосой. Вот-вот он столкнется с плывущим ему навстречу паромом.

Но никакого столкновения не получается, получается неожиданность. Паром, на который водворено сорок вагонов, по сравнению с броненосцем, оказывается совершенно маленьким. И теперь понимаешь: эти дома показались такими близкими по той только причине, что они—небоскребы. Если же пристальнее всмотреться, то легко можно будет обнаружить и маленькие кубики, разбросанные вокруг них и еле различимые. Это—нормальные дома в шесть-восемь этажей.

Дымящие и гудящие «полицейские» переправляют сегодня очень много паромов, нагруженных порожними товарными вагонами. Они оставили в Нью-Йорке свой предпраздничный груз—рождественские елки, которые поступили теперь на оживленные рынки американского Сити.

Вот видно как «Nourmahal», великолепная яхта мистера Эстор—о, стыд!—уступает дорогу огромной бар-

же, возвращающейся из города нагруженной пустыми серыми мешками изпод муки.

А завтра потянутся телеги помойщиков, нагруженные обильными отбросами и мусором с дворов гастрономических фабрик, кондитерских и жилых домов, занятых предпраздничными приготовлениями. Эти телеги очень примитивны: они не только не имеют никакого верха, но даже и не прикрыты как следует. На улицах, по которым они проезжают, весь день не перестает летать мусор и пыль. Телеги тянутся за город к свалке нечистот, которую и самый знатный миллиардер Нью-Йорка не считает для себя зазорным об'ехать широким кругом.

Эстор, по сообщениям вечерних газет, проведет рождественские праздники в Калифорнии.

7. Западное побережье гавани

Принято почему-то особенно много распространяться о Пятой Авеню, хотя ее здания и витрины ничем, собственно, не отличаются от характера таких же витрин и зданий любой фешенебельной улицы Парижа, Лондона и Берлина. Действительно грандиозна другая улица—Вестстрит (самая замечательная улица Нью-Йорка, если не всего мира.) Это—главная улица гавани, авеню творческого труда, великолепный путь товаров.

Переходить через эту улицу невозможно. Здесь не раздастся, как на других перекрестках Нью-Йорка, сигнал полисмена, останавливающий уличное движение и дающий тем самым возможность перейти пешеходу на другую сторону. Только в двух-трех местах, где имеются спуски к баржам и паромам, нью-йоркская «пехота» дерзает пересекать дорогу бесконечным колоннам фургонов, грузовиков и поездов. Большая часть Вестстрита занята рельсами, по которым беспрестанно катятся нагруженные вагоны.

Вдоль улицы тянутся фасады торговых домов с огромными сводчатыми воротами, в которые в'езжают громающие грузовики и даже поезда. За этими домами тянутся склады, амбары, холодильни. Здесь же расположено

здание Центральной телефонной станции—наиболее ценный в архитектурном отношении небоскреб Нью-Йорка.

Зато в переулках виднеются одни только небольшие красные домики. На этих домах сохранились еще (правда, уже очень облупившиеся) надписи, относящиеся, очевидно, к восьмидесятым годам прошлого столетия: «Починка парусов», «Сталелитейный завод», «Гравюры на меди» и т. д. Но все эти надписи не отвечают нынешнему назначению зданий. Они служат теперь складом пустых ящиков, еще не нагруженных товарами, и неупакованного товара, еще по ящикам не разложенного.

В подвалах и перед подвалами, загромождающая панели, разложены, расставаны и просто навалены всевозможные товары, скупленные и хранящиеся здесь оптовыми торговцами. Тут тянутся целые районы, отведенные под помидоры, цветную капусту, редиску (это—несмотря на декабрь месяц!), а там всплывают не менее обширные участки, заваленные картофелем или фруктами, домашней птицей и дичью. Далее вы увидите мешки, туго набитые лавровым листом (вот это уже не вопреки, а в лад с декабрем! — лавровый лист входит почти в любое рождественское блюдо!).

В прилегающих улицах торговые склады приобретают уже более солидный вид. Кое-где появляются уже витрины с парусиновыми навесами.

Так тянется улица на протяжении многих миль на север. Потом она перестает именоваться Вестстритом и зовется уже Авеню Труда. Здесь уже не увидишь ни товарных поездов, ни даже грузовых автомобилей и маленьких домиков с надписями давно закрывшихся торговых предприятий. Здесь вы видите только всевозможные предметы роскоши и дощечки с краткой надписью «Riverside Drive».

На Вестстрите достаточно помещений, отпущенных под человеческий труд, но не для человеческого жилья. Здесь «проживает» только портовый товар, портовые же рабочие имеют свои лачуги на противоположном, восточном побережье гавани. На Вестстрите не увидишь даже приличного трактира. Те немногие, которые здесь

имеются, сооружены в виде салон-вагонов и расположены на мостовой, а не в ряд с домами. Это имеет свое историческое объяснение: в таких вагонах, хотя и менее комфортабельно обставленных, когда-то скрывались от непогоды неприхотливые пионеры нью-йоркского Сити. Только рядом с пристанями больших пассажирских пароходов имеется несколько буфетов, обслуживающих посетителей автоматически. Осилить непомерные налоги, которыми по настоянию оптовых торговцев обкладываются в этом районе рестораны, жилые дома и гостиницы,— вещь нелегкая. Тут же находится и стоянка таксомоторов, счастливые обладатели которых, по общему свидетельству, делают недурные барыши.

8. Восточное побережье

Напротив, в восточной части гавани вы становитесь свидетелем совершенно иных, хотя и не менее пестрых, зрелищ. Из предметов торговли вы столкнетесь здесь только с рыбами. Но рядом с рыбой здесь властвует человек, налагающий на все свой особый отпечаток. Здесь теснятся друг около друга воровские таверны. Они расположены в подвалах и полуразрушенных зданиях, О, не из предосторожности! Полиция должна была бы проявить огромную готовность быть околпаченной, чтобы не заметить эти воровские притоны, в которые сходитесь иногда до тысячи гостей.

Но здесь имеются и менее романтические таверны. С патентами, вывесками и огромными погребами, откуда то и дело выносятся целые батареи бутылочек из-под водки, канадской горькой, шотландского виски и пива, — все это «легальные» алкогольные напитки Америки, которые употребляются только «для лечебных целей». Цена за кружку пива колеблется между десятью и двадцатью центами. Но за эту цену можно пользоваться (уже задаром) и неограниченным количеством свиного сала, солонины, болоньской колбасы, кислой капусты, бобов, огурцов, лука, раков и устриц. И, надо сказать, гости усердно налегают на закуску и потому, что они голодны, и потому, что товар доброкачественен, хо-

тя и чертовски пересолен, а потому превосходно возбуждает жажду. Гости пользуются по очереди общей вилкой и ложкой, которые по употреблении наскоро обмываются в стакане морской воды.

Горе тому, кто, напившись, рискнет с остатком своего заработка, пошатываясь, направиться во-своеси!.. Совершая получасовую прогулку по Сютстриту, невольно становисься свидетелем двух-трех тягчайших уголовных преступлений. Два парня заговаривают с шатающимся пьянчугой, берут его под свое благосклонное попечение и толкают в ближайшие ворота. Здесь, предварительно повалив его на землю, они выторачивают ему карманы. Если вы пожелаете воспользоваться этим благоприятным случаем для более детального ознакомления с техникой грабежа, то вы рискуете, что и к вам подойдут такие же два паренька и обратятся к вам с риторическим вопросом: «Что, собственно, в этом деле (matter) вас может интересовать?»

9. Дом для моряков

В самой восточной части восточного побережья высится громадный дворец, пышность которого здесь кажется и странной и неуместной.

По вечерам загорается на его фасаде гигантский электрический крест. Ни один старый моряк не в'едет в Хутзон-Бай, не показав его молодому. Это—пристанище моряков, самое большое во всем мире. Это—огромный отель, жизнь в котором, однако, глубоко отличается от жизни в отеле «Astor», где предлагают свои услуги почтенным джентльменам великолепные блондинки.

И здесь, в Доме Моряков, имеется своего рода биржа труда. Но моряки сходятся сюда не только для того, чтобы сбыть свой труд. Понятно, и такая цель—одна из причин их тяги к этому дому. Но повидаться со старым товарищем, поговорить с ним о судьбе общих знакомых, вести длинные беседы со своим братом-моряком, это тоже не менее заманчиво. Кто не живет на корабле, может снять себе здесь весьма недорогую комнату; кто не снимает комнаты, может распорядиться, чтобы ему сюда доставлялась почта, или просто

пить кофе и есть сдобную плюшку, может, наконец, расспросить, где поблизости имеются трактиры с продажей запрещенных алкогольных напитков, или прочесть список пропавших без вести моряков.

В сенях стоят два полицейских. Здесь же имеется сигнальная будка с зеленой лампочкой. Она непосредственно связана с ближайшим полицейским участком. А внутри здания находится почтовое отделение, читальня, библиотека, меняльная контора, нотариат и прежде всего—церковь.

Церковь—это главное. А что это, собственно, за церковь,—это уж дело второстепенное.

Все христианские вероисповедания—протестанты, католики, православные, баптисты, как они ни враждуют друг с другом в Америке (всего рельефнее это выступает во время президентских выборов), в каких преступлениях они друг друга ни обвиняют,—в данном случае сочли за благо общими усилиями соорудить этот храм. К этому их принудил коммерческий расчет: ни одна религия в отдельности не смогла бы осуществить грандиозную задачу—создать общий центр для всех моряков. В лице частных питейных заведений, заезжих домов и прежде всего клубов, устроенных рабочими организациями, она имела бы непреодолимого конкурента.

В силу этих соображений и объединились все христианские религии для постройки Дома Моряков, или, вернее, заставили тех из своих прихожан, которые желают слыть за благодетелей и меценатов, по частям воздвигнуть это большое здание.

Имена этих благодетелей красуются теперь на позолоченных дощечках, прибитых по всему зданию. Надо привыкнуть к американской манере воздвижения памятников. Она презабавна. Каждый гражданин САСШ, который разбогател на сомнительных спекуляциях, обмане, государственной измене (этот вид обогащения был особенно распространен во времена освободительных войн) или другим каким-либо способом, обычно завещает своей фирме или семье увековечить себя памятником (семья усопшего мужа обыч-

но стремится заодно обессмертить и себя пышным изображением родового древа с перечислением всех имен его умерших и ныне здравствующих отпрысков).

Во всех музеях, школах и торговых учреждениях имеются такие мраморные изваяния благодетелей. А на вокзалах стоят бронзовые изображения почивших председателей железнодорожного правления. Иногда такие памятники ставятся и на площадях, в качестве примера, достойного подражания. Мы вполне допускаем, что где-нибудь имеются также и памятники Вашингтона Ирвинга, Эмерсона, Уйтмана, Марка Твена, Джека Лондона, но даже после многомесячного пребывания в Соединенных Штатах их едва ли кто обнаружит.

На каждом водоопе вы прочтете имя новой Рахили, и каждая тюремная пристройка сообщит вам имена родоначальников будущих Фернези и Борджио, которые заседали в ратуше в день отпуска средств, потребных для воздвижения данного здания.

Но все это сущие пустяки по сравнению с Домом Моряков, который внутри напоминает равенскую мозаику из памятных досок: «Эта арка воздвигнута на средства благодетеля нашего прихода мистера такого-то»; «Этот коридор построен на богоугодное пожертвование мистрис такой-то». И так на каждом шагу. И то сказать: с солидностью и великолепием стройки Дома Моряков не могут соперничать ни голландские, ни немецкие аналогичные учреждения. Недалеке от этих великолепных палат находится клуб I. W. W. International Workers of the World). Это — большая комната с книгами, плакатами и агитационной литературой (главным образом на языках английской и эсперанто).

Еще более оживленно и интернационально в морском клубе на Сютстрите, 26. Здесь, кроме европейцев, можно встретить и китайцев, и негров, читающих свою революционную газету «Negro Champion». Сюда сходятся не только матросы, но и портовые рабочие. К тому же здесь преобладает молодежь, которая, повидимому, интересуется больше политикой, чем дорогими перилами с именами их жертвователей.

10. Моряки, севшие на мель

Имеются и такие моряки, которые больше не вхожи в клубы и гостиницы для моряков, у которых нет денег на комнату, равно как пет и желания показываться на глаза своим бывшим товарищам по профессии. Это — морские люмпен-пролетарии.

Ночью блуждают они по улицам с нищими и грабителями, которых так много в районе Бовири, напротив сберегательной кассы и вблизи того участка, где подымается к облакам Пресбери и начинается Вестстрит.

Кто взглянет на это ночное шествие и на те ночлежки, куда забирается нью-йоркская голь, тот живо потеряет вкус к стране янки и к чудесам американской промышленности. Малюсенькие и сырые каморки ночлежного дома не сумеют внушить вам того отвращения, как тут же имеющееся здание, предназначенное для церковной службы. На скамьях этого жалкого храма лежат, покрывшись лохмотьями, озябшие бедняки Нью-Йорка. И стоит только всмотреться попристальнее, как обнаружись, что и под скамьями корчатся еще более оборванные босяки. Все они спят вповалку, грея друг друга своими телами. Изредка просыпаются они со стоном и проклятьями, но потом опять впадают в тяжелый гнетущий сон...

Вот начинается утреннее богослужение, но никто не смотрит на алтарь и распятие; храпение и сон не прекращаются ни на минуту. Священник знает, почему собралась его паства. Он служит почти неслышно, не решаясь нарушить нездоровый сон своих прихожан.

Это зрелище знакомо и иностранцам. Здесь останавливаются автобусы с англичанками, которые играют на Западе ту же роль, какую американки играют в Европе. Здесь знакомятся они с романтической жутью...

Церковь и ночлежный дом могут вместить только весьма ограниченное количество нищих. И декабрьский ветер не перестает везть вокруг не успевших укрыться бродяг, которые в два ряда дожидаются перед запертыми дверьми, когда первая партия выспится (выспав-

шимися считаются люди, проспавшие шесть часов). Потом они заступают их места.

Светаёт. Безработные стоят в хвосте и дожидаются ежедневного дарового отпуска кофе и хлеба. ;

11. Записывайтесь в армию!

В двадцати шагах от них, на самой середине тротуара, стоит столб с объявлением: «Join the Army» (поступайте в армию).

Под этим призывом помещены заманчивые фотографии, снятые с маневров, казарменных помещений, спортивных игр, кавалерийских маневров, военного учения, раздачи призов. А под фотографиями можно прочесть краткие, но тем более назидательные надписи: «Они высоко летают!», «Они стреляют отлично!», «Летом солдат одет в легкую одежду, а зимой—в теплую» и их «evening quarters are attractive». «The V. S. Army buildesman». Так вступайте же в ряды армии! Travelleard—earn!

Но и это еще не самое заманчивое житье. Взгляните-ка на наш морской флот! Посмотрите-ка на этих молодцов в синих матросках! Обратите внимание, как им славно живет на этом броненосце, «этом дворце стоимостью в пятнадцать миллионов долларов!» Возможность повидать чужие страны! Движение на свежем воздухе! Бери пример с перелетных птиц! Наш военный флот дает тебе эту возможность. Рекрутский набор производится повсюду.

Это правда. На всех перекрестках американских городов вы встретите объявление обих конкурирующих ведомств, братски объединившихся для поднятия боеспособности страны: «Join the Army! Join the Navy!»—с указанием адреса ближайшего сборного пункта. Впрочем, для той же цели часто дежурит рядом с объявлением сержант, который с вполне понятным жаром расхваливает любопытствующему юнцу достоинства сухопутной и морской военной службы.

12. Почему здесь не встретишь надписи «Join the Navy»

Повсюду, и на самой гавани, и в близлежащих районах, и на Гудзоновском побережье, и на людных пристанях заокеанских пароходов, вы увидите

расклеенные объявления, призывающие в ряды армии.

Да, но только в ряды армии, а не в военный флот. «Join the Navy» вам здесь прочесть не удастся.

Здесь и собака не польстится на «здоровую работу в нашем флоте», и упоминания о чужих краях и перелетных птицах никого не подкупят.

Пешеходам этого района слишком хорошо известно, какова эта служба во флоте и каково ее награждение.

Но вот подъезжает грузовик благотворительного общества. Из него вылезает какой-то служащий и приступает к раздаче кофе.

XVI. Городская тюрьма, или клетки в клетках, заключенные в клетки

Нет, за всю свою жизнь я не видел ничего равного Tombs'у, знаменитой городской тюрьме Нью-Йорка. Этим именем она зовется по той причине, что первоначально была построена в стиле египетских царских мавзолеев (что было по меньшей мере смешно и несомненно не отвечало назначению воздвигнутого здания). Поэтому при ближайшей перестройке тюрьмы ей была сообщена внешность английского королевского дворца. Теперь она выситя гордым гнездом Тюдоров, украшенным менее романтической фабричной трубой. Ее железные ворота узорчаты и великолепнойковки. И хотя замок, собственно, и не имеет башен, его стены снабжены на углах декоративными вышками, вполне могущими сойти за башни. К тому же стены зубчаты и украшены бойницами. Ход от ворот замка к уголовному суду изогнут, как мосты в Венеции, и соответственно своему виду назван Мостом Вздохов («Bridge of Sighs»). Мы не удивились бы, узнавши, что какой-нибудь Рокфеллер пожертвовал несколько миллионов на постройку свинцового застенка из уважения к венецианскому средневековому судопроизводству.

Против всего этого мы, однако, не возражаем. Напротив, мы готовы признать, что с внешней стороны тюрьмы очень внушительна и благообразна. Зато внутри—нет, никогда я не видел ничего подобного!

Уже когдаходишь в ворота, вас сразу поражает вид полицейских, выходящих из комендатуры замка заковыанными в кандалы. Может быть, кто-нибудь возразит нам, что закованы не они, а преступники, к которым они приставлены. Но никелированные обручи охватывают одинаково крепко руки преступников и конвоиров. То, что у одних закована левая рука, а у других — правая, разницы не делает. Куда важнее то, что у полицейского находится ключ от запертых обручей и заряженный револьвер, тогда как у преступника в лучшем случае иногда встречается только револьвер.

Часто встречаешь также полицейских, уже сдавших целую партию арестантов, с охапкой никелированных наручников.

Минуя первую комнату, в которой адвокаты ведут переговоры со своими подзащитными, попадаешь в коридор, ведущий к тюремным камерам. Ни одна из них не запирается глухой дверью; все двери здесь решетчатые. Таким образом, заключенный и часу не остается без присмотра. Он сидит в клетке на глазах тюремной стражи.

Зато как основательно он заперт. Коридор, проходящий вдоль решетчатых камер, узок: его ширина не больше полуметра, и через каждые десять камер он меняет свое направление. В каждом этаже четыре ряда друг на друга нагроможденных клеток. Каждая камера на замке. Но и этого, повидимому, недостаточно: любой ряд клеток запирается еще общим замком. Кроме того, замыкается каждый этаж и коридор. Нет, за всю свою жизнь я ничего подобного не видел: в этой тюрьме буквально нельзя пройти и восьми шагов в любом направлении (вверх, вниз, направо, налево) без того, чтобы не упереться на какой-нибудь прочный засов.

Только в обеденное время на краткий срок открываются двери на кухню и в пекарню. Во время тюремного бунта или других беспорядков дежурному стоит только нажать кнопку, чтобы в тюрьме немедленно же прекратилось всякое сообщение: для этого имеются еще добавочные засоры, двери и под-

емные стены. В центре каждого этажа имеется узенький проход (коридором его назвать нельзя), где несколько более полный человек, вынужден проходить бочком. В этом помещении заключенные ежедневно гуляют в течение одного часа. Это вся их прогулка.

В камере помещаются умывальник и унитаз (не параша). Между ними небольшая столешка с мылом для первого и бумагой для второго. Это — по одной стороне. А напротив помещаются две beds на другой расположенные откидные кровати, которые на день убираются и заменяются небольшим столиком и скамейкой. Эта квартира предназначена в равной мере и для арестованного по подозрению в убийстве с целью грабежа (которому предстоит пробыть здесь около шестнадцати месяцев в ожидании дня, когда поведут его по Мосту Вздохов к зданию уголовного суда), и для нарушителя законов уличного движения, приговоренного к заключению на одни сутки (за нарушение правил уличного движения шофер наказывается: первый раз — заключением на одни сутки или взысканием штрафа в размере двух долларов, во второй раз — заключением на двое суток или взысканием двадцати пяти долларов и, наконец, в третий раз — взысканием пятидесяти долларов или пятью днями заключения с обязательным лишением патента).

Томbs предназначен только для предварительного заключения (trial cases) и для осужденных (sentenced), приговоренных к заключению не свыше шести месяцев. Эта последняя категория заключенных помещается в общих камерах, стены которых, однако, также решетчатые.

Отдельно от остальных помещаются юные рецидивисты в возрасте 16—20 лет (second offenders — вторичники) и юнцы, совершившие преступления впервые. Последние содержатся в «старом замке» и под Мостом Вздохов (рядом с тем местом, где до 1888 г. стояла нью-йоркская виселица). В этот год, как известно, была упразднена варварская казнь через повешение, заставлявшая преступника мучиться в течение пяти секунд, и заменена

более «гуманным наказанием» с помощью электрического стула, заставляющего мучиться в течение... шести секунд.

Имеется и третья группа заключенных, которую содержат отдельно от остальных,—это кокаинисты и морфинисты, обыкновенно являющиеся в то же время и нелегальными торговцами наркотическими средствами. Для чего администрация сажает их в общие камеры, неизвестно. Едва ли входит в ее расчеты перезнакомить их между собой для выработки более сплоченной организации.

Два раза в день, в 10 часов утра и 2½ дня, открываются все двери коридоров и галлереек и пропускают юркого газетчика, который быстро доставляет по камерам выписанные газеты. Что ж, это недурно, как недурно и то, что здесь, как и во всех американских тюрьмах, можно курить, сколько душе угодно.

Как положительное явление следует отметить и то, что заключенный имеет право просить своего сторожа позвонить за себя по городскому телефону (первый разговор за данные сутки не оплачивается вовсе, остальные—пятью центами). Здесь же имеется и лавчонка, где можно купить не только трубку, табак и спички, но и жевательную резину, сельтерскую воду, пиво, пирожное, мармелад, маринованные шпроты и сардинки, сгущенное молоко, копченые селедки, яблоки и апельсины, карандаши, писчую бумагу, почтовые марки, кисточки и мыльный порошок для бритья, пасту для зубов; далее—нижние рубашки, кальсоны, фуфайки, носки, носовые платки всех цветов и гуталин. В женском отделении имеются также и блузки, чулки, лифчики, иглы, сетки для волос и глухие булавки.

При тюрьме имеется недурная ресторация. Метрдотель обходит камеры и принимает заказы на отдельные блюда от тех, которым не нравится тюремная еда и у которых есть на это средства. Европейцам это покажется странным. Но, правда, не знаю, насколько лучше наш метод, упраздняющий в тюрьмах (о, только в тюрьмах) деление на бедных и богатых тем, что сажает их на

одинаково скудную пищу. Желательно было бы настолько улучшить тюремное питание, чтобы оно могло удовлетворить каждого. О, пусть мещане не тревожатся, что при таком решении вопроса в тюрьме будет «слишком хорошо». Поверьте, тюрьма не внушит больших симпатий и тогда, когда в ней можно будет недурно питаться, курить, писать и получать письма, принимать знакомых и общаться с женой.

Здесь имеется и церковь. В глубине здания стоит великолепный алтарь, за которым молится своему спасителю протестантский священник. Но вдруг—боже милосердный, куда же все это подевалось? — алтаря с золотым распятием как не бывало. Опустилась какая-то стена—и вот уже протестантский храм преобразился... в синагогу со всеми атрибутами иудейского богослужения. Прямо не храм, а оборотень какой-то! Но почему же—скажите мне ради Иеговы или ради Христа (если вам больше нравится)—почему же тюремное управление не усложнило тогда процесс религиозных превращений и выделило особое помещение под католическую часовню и под молельни адвентистов и баптистов? ?

Когда мы входили в тюрьму, мы заметили небольшую группу тюремных посетителей у входа.

Нам показалось, что мы поняли выражение их лиц. Мы прочли на них ту скорбную смесь тревоги за близкого человека и радости с ним свидеться. Это выражение так свойственно тюремным посетителям. Они вызвали жалость и тем, что стояли здесь на глазах у прохожих, и тем, что вокруг бушевала декабрьская стужа. Но мы не знали, как жестоко здесь обставлено посещение заключенных. В этом убедились мы только сейчас.

Посетители входят в коридор, ведущий в здание тюрьмы. Потом они сворачивают налево в помещение, вдоль которого расставлены узкие шкафы со стулом для посетителя. Задняя стена шкафа забита частой сеткой.

Каждому посетителю предоставляется такой шкаф. На расстоянии полуметра помещается такой же шкаф за тем же номером, в котором заперт за

такой же частой решеткой заключенный.

Так сидят, почти не видя друг друга, неподвижные и безрадостные: мать против сына, отец против дочери, муж против жены—два ряда друг против друга расположенных загадочных привидений. А рядом прогуливаются надзиратели и сторожа.

«Это для того, чтобы посетители не передали что-нибудь заключенным:

подпилку, спиртные напитки, оружие или наркотик» — так мне растолковали эту систему.

Но ведь подобные же опасения имеют место и в Европе? — Нет, за всю свою жизнь мне не случилось посещать такие тюрьмы!..

Нью-Йорк.

Перевод с рукописи

Вильяма-Вильмонта.

(Окончние следует)

2. ПО ВСЕМУ СВЕТУ

(Очерки международной политики)

С. Гальперин

„Тихие“ выборы. — Пути Макдональда. — Мэтью Уолл и Уолл-Стрит. — План Юнга. — Чан Кай-ши на почтовой марке

«Тихие» выборы

Весь мир с нетерпением ждал исхода английских выборов. Иностранцы корреспонденты, особенно французские, рыскали по всей Англии, интервьюировали кого только могли, лихорадочно ждали сенсаций и острой предвыборной борьбы. Но сенсаций не было во весь предвыборный период, а избирательная кампания отличалась благочинием, необычным даже для пользующихся репутацией невозмутимости англичан.

«Тихие выборы» — так окрестила английская печать избирательную кампанию, приведшую к переходу власти в Британской Империи из рук консерваторов в руки рабочей партии. Консерваторы делали отчаянные усилия, чтобы предстать перед избирателями в роли защитников трона, собственности и религии от «социальной революции». «Но это была трудная игра, — пишет либеральный еженедельник «New Statesman», — при наличии строго обдуманной умеренности программы рабочей партии. Вряд ли красный жупел, которым пытались оперировать Винстон Черчилль и лорд Ротермир, залугал хотя бы 29 человек из 29 миллионов избирателей».

Так же расценивает избирательную кампанию и «Economist». Он также констатирует отсутствие ожесточенности и страстности в предвыборной борьбе и

приходит к выводу, что «недостаток огня вызывался недостатком взрывчатого материала. По центральному вопросу — безработица — предложения всех трех партий различались только в средствах к разрешению этой проблемы, но все они признавали ее первостепенное значение. Консерваторы старались окутать покрывалом темноты фискальную сторону этой проблемы, а рабочая партия испытывала некоторое затруднение в сохранении социалистической видимости своей программы».

Так называемая беспартийная — бульварная — пресса была на этот раз действительно беспартийной, и даже «Daily Mail», обычно поддерживавшая консерваторов, накануне выборов выразила мнение, что создание в новом парламенте абсолютного большинства одной партии — будь то консерваторы или рабочая партия — было бы нежелательным. Избиратель мог бы сделать из этого заявления вывод, что следует голосовать за либералов, у которых никаких шансов на получение самостоятельного большинства не было.

Утверждение «Economist» о том, что отсутствие страстности в избирательной борьбе объяснялось отсутствием «взрывчатого материала», конечно, неправильно. Агрессивная внешняя политика консерваторов и наличие застойной многолетней безработицы были, разумеется, достаточно «взрывчатыми»

элементами социально - политической жизни Англии в момент выборов. Именно в виду взрывчатости сложившейся социальной обстановки рабочая партия, борясь с консерваторами, избегала применения огнеопасных средств. Эти «пожарные» соображения полностью определяли избирательную кампанию лидеров рабочей партии, готовившихся к роли министров его величества. Макдональд знал, что создавшаяся в результате пятилетнего правления Болдуина напряженность внутреннего и внешнего положения Англии сама по себе, даже без разжигания страстей, является благоприятным для рабочей партии фактором (масса избирателей смотрела на рабочую партию как на избавительницу от болдуиновщины и чемберленовщины), и не старался в борьбе с консерваторами выдавать векселя, по которым ему трудно было бы платить в случае победы.

Расчет Макдональда с его министерской точки зрения был правилен. При действительном отсутствии «взрывчатого материала», иначе говоря, широко разлитого в стране недовольства, рабочая партия никогда не одержала бы своей блистательной победы. Спокойная обстановка в стране привела бы, наоборот, к возрождению либеральной партии, как промежуточной политической силы.

Этого, однако, не случилось. Надежды Ллойд-Джорджа на омоложение либеральной партии не осуществились. Правда, либералы почти удвоили число своих голосов (с 2,9 до 5,2 миллионов голосов), но это объясняется отчасти блестящим избирательным мастерством Ллойд-Джорджа, отчасти увеличением числа либеральных кандидатур. Но в условиях английской избирательной системы, при которой депутаты проходят в первом туре хотя бы относительным большинством голосов, прирост числа либеральных избирателей не дал соответствующего эффекта с точки зрения завоевания парламентских мандатов. Объединив вокруг себя около $\frac{1}{10}$ всех избирателей, либералы получили меньше $\frac{1}{10}$ числа мест в парламенте (57 из 615). Умножение либеральных кандидатур пошло лишь на пользу рабочей партии. По подсчету «Таймс» не менее чем в 80

округах выставление либералами своих кандидатов привело к разбивке голосов буржуазных избирателей и победе кандидатов рабочей партии, прошедших незначительным относительным большинством.

Английская избирательная система приводит вообще к самому неожиданному распределению мандатов. Так, консерваторы, потеряв на выборах в декабре 1923 г. всего полпроцента голосов (38,5 проц. вместо 39 проц. на выборах 1922 г.), лишились 90 мандатов, а выиграв на выборах в декабре 1924 г. 7,5 проц. голосов, приобрели 153 новых мандата. Собрыв в ноябре 1924 г. 46 проц. голосов, они получили 70 проц. депутатских мандатов. Рабочая партия, получив на выборах в декабре 1923 г. почти такой же процент голосов, как на выборах 1922 г. (30,5 проц. вместо 30,4 проц.), получила 49 лишних мандатов, а на выборах в ноябре 1924 г., при приросте в 3,5 проц. голосов (34 проц. вместо 30,5 проц.), потеряла 40 мандатов.

При всей несовершенности этой системы с точки зрения правильной пропорции между числом голосов избирателей и количеством парламентских мандатов, она имеет то преимущество, что состав парламента очень выпукло отмечает основной сдвиг в настроении избирателей, как бы незначителен количественно он ни был. Если выборы 1923 г. дали преимущество рабочей партии и либералам за счет консерваторов при незначительном изменении в распределении голосов, то это объясняется тем, что в общем масса избирателей, голосовавших за либералов и рабочую партию, была настроена против консерваторов. Последние зато получили реванш на выборах в ноябре 1924 г., прошедших под знаком запуганности мелкого буржуа красной опасностью в виде пресловутого «письма Зиновьева».

Выборы 30 мая, наоборот, были не в пользу консерваторов. Даже при несколько большем количестве голосов, чем рабочая партия, они получили на 20 мандатов меньше, чем она. Именинницей оказалась рабочая партия: хотя она получила те же 34 проц. голосов, что и на прежних выборах, она выиграла новых 136 мандатов.

Не останавливаясь на этих арифметических выкладках в подробности, можно сказать, что хотя потерянный консерваторами процент голосов (вместо 46 проц. голосов они получили лишь 34,7 проц.) распределился между либералами и так называемыми независимыми кандидатами (которые, кстати сказать, получили 2½ миллиона голосов), но с точки зрения распределения мандатов почти вся потеря консерваторов пошла на пользу рабочей партии.

И это не случайно. Выборы прошли под знаком падения популярности консерваторов и роста престижа рабочей партии. Ллойд-Джордж блестяще проманиouverировал консерваторов, но политический капитал нажил на этом Макдональд. Ибо все учитывали, что только рабочая партия может сменить консерваторов у кормила правления, так как только рабочая партия и консерваторы конкурировали между собою в борьбе за первое место.

И Макдональд именно в этом направлении воздействовал на избирателей. В своем послании к избирателям он писал: «Вопрос идет о том, чтобы сбросить консервативное правительство. Но единственный путь к этому — поставить у власти рабочее правительство». А в своей речи в Ферри Хил он заявил: «Я хочу получить большинство голосов, чтобы избиратели могли судить о том, какое правительство стоит во главе страны и какую оно будет проводить политику. Средним партиям нет места в правительстве».

И избиратели ответили увеличением числа голосов за рабочую партию именно в тех округах, где шла резкая борьба между консерваторами и рабочей партией. Либералы лишь уменьшали количество консервативных голосов и тем рассчитывали место рабочей партии. Из 160 мандатов, потерянных консерваторами, 136 мандатов досталось рабочей партии, 14 — либералам и 8 — независимым кандидатам.

Этой ставкой избирателей на рабочую партию, как на единственную партию, которая может избавить страну от консерваторов, объясняется и незначительное число голосов, поданных за коммунистических кандидатов. Даже в тех 25 округах,

где компартия выставила своих кандидатов, она имела гораздо большее число сочувствующих, чем те 50.000 избирателей, которые за нее голосовали. Но и левонастроенные рабочие хотели прежде всего избавиться от Болдуина. В то же время они считали, что нужно дать рабочей партии возможность показать, какова она будет у власти. Когда Макдональд оскандальится, тогда рабочие поймут, что только компартия может дать настоящее рабочее правительство, — так рассуждала левая часть рабочих.

Пути Макдональда

Большинство избирателей голосовало против консерваторов, — выборы это показали ясно. Рассчитывать на поддержку либералов консерваторам не приходилось, — блок с Болдуином означал бы для либералов окончательную потерю их престижа. Болдуин принужден был спешно ретироваться и рекомендовать королю поручить образование нового правительства Макдональду. И не прошло и недели со времени выборов, как во главе Британской Империи оказалось правительство рабочей партии.

Совершенно естественно возникал вопрос, может ли кабинет Макдональда рассчитывать на длительное существование, имея за собой хотя и очень солидное, по все же меньшинство голосов в палате (до абсолютного большинства рабочей партии не хватает двух десятков голосов).

Как это ни странно, но чисто парламентские условия для Макдональда все же благоприятны. Опасаться попыток свержения со стороны либералов на первое время ему совершенно не приходится. Слишком поспешное свержение правительства рабочей партии по какому-либо пустяковому поводу лишь дало бы возможность Макдональду распустить парламент и назначить новые выборы с довольно большими шансами на получение абсолютного большинства. Если принять во внимание, что программы рабочей партии и либералов почти совпадают, — особенно в области внешней политики и борьбы с безработицей, — то Макдональду будет очень легко действовать на первых порах таким образом, чтобы иметь за собой обес-

печенную поддержку либералов во всех своих начинаниях.

Любопытно отметить, что и консерваторы не настроены особенно враждебно к правительству Макдональда. «Times» от 6 июня, подчеркивая, что «Макдональд боролся на выборах на основе очень умеренной программы», высказывал мнение, что «поскольку Макдональд будет держаться в рамках этой программы», он может рассчитывать на поддержку своей политики в парламенте. «Вердикт народа, признавший, что Макдональд должен получить возможность попробовать управлять государством, уже заставил Болдуина подать в отставку, и новое правительство будет иметь палату общин, склонную считаться с волей народа». Но вместе с тем «Times» отечески поучает Макдональда, что он должен строго держаться своих предвыборных заявлений о строгом соблюдении принципов демократии, а эти принципы, по мнению «Times», сводятся к тому, что страной правит палата общин, а не кто-либо иной через палату общин. Макдональд должен помнить, что он — не представитель рабочей партии, а представитель «нации», интересы которой стоят выше партийных интересов. Иными словами, парламент будет терпеть правительство рабочей партии, поскольку последняя является «национальной», а не классовой партией.

Это положение очень ловко используется лидерами рабочей партии. В интервью с сотрудником «Daily Mail» Томас, один из виднейших лидеров рабочей партии, — ныне лорд-хранитель печати и министр по борьбе с безработицей, — заявил: «Было бы ошибкой думать, что правительство рабочей партии, находясь у власти, не сумеет вести независимой политики и будет вынуждено подлаживаться под другие партии, чтобы удержаться у власти. Наши действия будут диктоваться только интересами страны, и оппозиции придется выбирать между интересами своей партии и благом государства. Рабочее правительство будет жить силой своих идей, которые оно постарается провести в жизнь».

Несмотря на гордый тон этих заявлений Томаса, по существу они сводятся

к тому, что рабочей партии только поэтому не придется подлаживаться к другим партиям, что она ничего специфически классового в своей программе не имеет и ее «независимость» сводится лишь к некоторому своеобразию в защите «национальных» — «сиречь буржуазных» — интересов.

В этом отношении Томас безусловно прав. Неклассовой рабочей партии будет править довольно легко даже без заключения формального блока с либералами, ибо последние — а сплошь и рядом даже консерваторы — будут вынуждены поддерживать первые шаги нового правительства. Развивая мысль Томаса, Макдональд в беседе с корреспондентом бельгийской социалистической газеты «Le Peuple» заявил: «Я убежден, что рабочее правительство сможет продержаться и великолепно делать свое дело, не ища поддержки никакой другой партии. Страна ясно высказала свою волю, каждая партия должна эту волю уважать и сделать из народного вердикта соответствующие выводы. Позиция, которую займет либеральная партия, нас не интересует. Выборы показали, что страна этой партией мало интересуется».

В области международной политики Макдональд заявил, что он стоит «за самое широкое применение арбитража в международных конфликтах. Мы хотим расширить действие и полезность Лиги Наций. Мы стоим за разоружение и намерены стимулировать деятельность подготовительной комиссии по созыву конференции по разоружению... Мы намерены немедленно позондировать другие страны, чтобы выяснить, насколько они расположены об этом разговаривать. Мы не будем выступать с догмами и готовыми формулами. Нашей первой заботой явится внести оживление в дело консолидации мира и помешать тому, чтобы эти усилия снова попали в состояние застоя».

Эти высокие фразы означают, что правительство Макдональда откажется от той явной борьбы против разоружения, которую проводило правительство Болдуина—Чемберлена. Оно выступит с пацифистскими фразами, которые несколько поднимут престиж английского правительства в мелкобуржуаз-

ных кругах, не нанося, впрочем, никакого вреда интересам английского империализма, поскольку пацифизм, процеженный через сито Лиги Наций с ее подготовительной комиссией, ни к какому действительному разоружению не приведет даже при «стимулировании» со стороны Макдональда и Гендерсона, получившего в новом правительстве пост министра иностранных дел.

Но если «борьба» Макдональда за разоружение будет носить в значительной степени показной характер, то изменения, которые он внесет во внешнюю политику Англии, будут несомненно очень значительны. Макдональд совершит крутой поворот от политики военного союза с Францией к соглашению с Соединенными Штатами. Уже один тот факт, что он поручил министерство финансов Сноудену, совершенно открыто занявшему в прежнем парламенте антифранцузскую позицию, показывает, что в этом отношении Макдональд будет действовать решительно. Почти все французские газеты имели с Макдональдом интервью как перед выборами, так и после них, и во всех этих интервью Макдональд даже не особенно старался прикрыть дипломатическими любезностями полный отказ от чемберленовской политики англо-французского союза против Америки.

Наиболее ярко свою позицию Макдональд выразил в беседе с корреспонденткой «Petit Parisien» Виоллис. Когда последняя намекнула ему на «соглашение» (entente) между Англией и Францией, Макдональд прервал ее словами: «Ни о каких «согласиях» или союзах не может быть и речи. Это отжившее понятие. Мы хотим открыть новую эру сотрудничества между всеми странами. Никакого соперничества, никаких соглашений против той или другой державы, никакой тайной дипломатии». А когда Виоллис спросила, думает ли он, что доклад комиссии экспертов явится окончательным решением проблемы репараций и междусоюзнических долгов, то Макдональд ответил: «Не смешивайте двух различных проблем. Репарации и долги — не одно и то же, и в области урегулирования долговой проблемы Соединенные Штаты

могут сказать свое слово. В этом вопросе, так же, как и в вопросе о разоружении, я надеюсь притти к пониманию с мистером Гувером и работать с ним в тесном контакте и сотрудничестве».

Яснее сказать было нельзя. Эра «согласия» с Францией кончилась, начинается период «сотрудничества» с Америкой. Легко себе представить, какое огромное изменение эта перемена направления английской внешней политики вносит во весь комплекс международных отношений. Не касаясь сейчас этого вопроса и рассматривая заявления Макдональда под углом зрения внутренней английской политики, необходимо признать, что взятый Макдональдом курс встретит сочувственный прием в английском парламенте и в самых широких кругах населения. Рабочим массам Англии, еще далеко не изжившим демократически-пацифистских иллюзий, будут импонировать заявления Макдональда о разоружении и об отказе от тайной дипломатии и политики военных союзов, а буржуазия, которая знает подлинную цену этим пацифистским заявлениям, будет удовлетворена освобождением английской политики от французского влияния и попыткой найти мирные пути к устранению англо-американских противоречий, которые при Чемберлене достигли своего апогея. Сочувственно будет принято и возобновление дипломатических сношений с СССР.

На ряду с изменением курса внешней политики Макдональд может рассчитывать на твердую поддержку либералов и в своей борьбе против безработицы, тем более, что в этой области он пойдет по пути либеральной экономической политики. Либералы уже иронически заявляют, что в их «Желтой Книжке» (экономическая программа либералов, опубликованная в 1928 г.) он найдет немало полезных указаний.

И все же благоприятные условия для прочности правления Макдональда не будут слишком долгими. Сам Макдональд заявил, что в течение двух лет ему не придется прибегать к новым выборам. О сроках спорить не стоит, но не подлежит сомнению, что именно параллельно с успехами Макдональда

будут расти и стоящие перед ним трудности. Французская печать, которая настроена, конечно, не очень дружелюбно к Макдональду, проявляет в данном случае немало проницательности. «Рабочему правительству будет нелегко, — пишет «Temps» (от 4 июня), — противостоять давлению, которое будет оказывать на него рабочая партия, чтобы заставить его принять меры, которые встретят сопротивление со стороны и либералов и консерваторов. Когда правительство носит социалистическую этикетку и когда оно приходит к власти благодаря народным массам, у которых легко возникают самые опасные иллюзии, ему нелегко освободиться от партийного давления и действовать только в национальных интересах».

Конечно, «социалистическая» этикетка рабочей партии немногого стоит, и никакого особого давления рабочая партия на Макдональда оказывать не станет, но рабочие массы действительно не удовлетворятся теми мерами, которые намечены в «Желтой Книге» либералов и соответствуют желтому социализму рабочей партии. Требования рабочих масс к Макдональду будут несомненно расти чем дальше, тем больше, и будь то через два года или раньше, но Макдональду придется выбирать между классовыми интересами пролетариата и так называемыми национальными интересами. Какую бы позицию ни занял Макдональд при разрешении вопросов, которые всплывут на почве возросшей требовательности рабочего класса, его положение будет безвыходным. Либо против него создастся коалиция консерваторов совместно с либералами, и его кабинет держаться не сможет, либо он полностью и открыто капитулирует перед буржуазными партиями, и тогда он скомпрометирует себя в глазах рабочих масс. Вероятнее всего, что, в конце концов, Макдональд скомпрометирует себя и перед буржуазными, и перед рабочими избирателями, ибо в условиях обостренной классовой борьбы партии, занимающие среднюю позицию между сторонами, неизбежно теряют свой престиж. А что нахождение рабочей партии у власти через некото-

рое время приведет к обострению классовых противоречий, не подлежит сомнению.

Мэтью Уолл и Уолл-Стрит

Как мы уже указывали, одним из первых шагов Макдональда в области внешней политики явится попытка добиться мирного сговора с Соединенными Штатами. О намерении Макдональда посетить Вашингтон заговорили с первых же дней его вступления в должность. С этой точки зрения небезинтересно будет посмотреть, как реагирует на «миролюбие» Макдональда хозяин Белого Дома в Вашингтоне — он же доверенное лицо Уолл-Стрит (улица нью-йоркских банкиров)—Гувер.

В «Times» от 7 июня мы находим телеграмму из Вашингтона, проливающую некоторый свет на этот вопрос. Американские газеты широко распространили сообщение, будто Макдональд намерен созвать международную конференцию по вопросам морского разоружения, включив в порядок дня вопрос о пересмотре так называемого морского права. Поскольку этот пересмотр был равносильно согласию Макдональда обсудить американский лозунг о «свободе морей», автор этого лозунга, сенатор Бора, поспешил выразить свое удовлетворение. Бора прибавил при этом, что, «пока не будет достигнуто полное понимание между морскими державами по вопросу о пользовании морями, не может быть речи о действительном сокращении разоружений. Пока могущественные морские державы не будут уверены, что их суда и морские перевозки охраняются не только силой, но и международным морским правом, они будут строить военный флот».

Корреспондент «Times» полагает, что, хотя Гувер в принципе согласен с Бора, он по тактическим соображениям вряд ли будет настаивать на том, что обсуждение вопроса о «свободе морей» должно предшествовать рассмотрению вопроса о сокращении морских вооружений, а не следовать за ним. Гувер согласится на созыв конференции по сокращению морских вооружений при всяких условиях, но вряд ли он немедленно возьмет на себя инициативу

созыва этой конференции. Он предпочтет выждать, как отнесутся державы к выдвинутым в Женеве предложениям американского делегата Гибсона. Но если Гувер и не возьмет на себя этой инициативы, он, во всяком случае, откликнется на соответствующее английское предложение. «Американское правительство ждет только слова из Лондона, с помощью которого кампания за разоружение будет сдвинута с мертвой точки» — писал вашингтонский корреспондент «Times» в одном из следующих номеров.

Приветствуя намерения Макдональда, Гувер не склонен, однако, ни в какой мере отказываться от основных принципов, выдвинутых Соединенными Штатами в вопросе о морских вооружениях. В день английских выборов Гувер произнес речь, в которой заявил, что он стоит за сокращение морских вооружений на основе равенства флотов САСШ и Англии. А государственный секретарь (мин. ин. дел) Стимсон дополнил речь Гувера указанием на то, что в случае непринятия американских предложений Соединенные Штаты полностью выполнят свою морскую программу, не останавливаясь перед затратой в 1.170 млн. долларов. Это напоминание имело определенный смысл бряцания золотом, которое в данном случае равносильно бряцанию оружием. Опираясь на свою финансовую мощь, Соединенные Штаты требуют от Англии признания принципа равенства флотов, что невыгодно для Англии.

Вашингтонский корреспондент «Berliner Tageblatt» сообщал, что Америка уже вполне подготовилась к новой конференции. Назначенный послом в Лондон ген. Дауэс (автор знаменитого «плана Дауэса») должен привезти в Лондон вполне конкретный план сокращения морских вооружений по всем категориям военных судов.

Так или иначе, но соглашение между Англией и Америкой — или, по крайней мере, переговоры об этом соглашении — поставлено в порядок дня как английским, так и северо-американским правительствами. В какой мере и насколько времени удастся при помощи этого соглашения ослабить со-

перничество между английским и американским империализмом, покажет будущее. Но во всяком случае перспектива этого соглашения, а также принятие державами плана Юнга — о нем будем говорить в дальнейшем — приведут к значительному усилению американского влияния в Европе и к прекращению той отчужденности Америки от европейских держав (и находящейся в их руках Лиги Наций), которая характеризовала почти все первое десятилетие после мировой войны.

Интересно отметить, как изменение позиции американского правительства нашло немедленный отклик у американских профбюрократов. Вице-президент Американской Федерации Труда Мэтью Уолл, махровый черносотенец, известный своими выступлениями против признания СССР вашингтонским правительством, неожиданно выступил с предложением о вступлении Американской Федерации Труда в Амстердамский Интернационал. Чтобы оценить все значение этого предложения, необходимо указать, что в 1919 г., как только определилось отрицательное отношение Америки к Лиге Наций, Американская Федерация Труда заявила об отказе от вступления в Амстердамский Интернационал под тем предлогом, что она не разделяет его «социалистической» программы. Американские профбюрократы следовали указке американского империализма, указке Уолл-Стрит. Ссылка на «социализм» амстердамцев вряд ли кого могла ввести в заблуждение. Во всяком случае за истекшее десятилетие Амстердамский Интернационал дал достаточно количество доказательств того, что социализм и классовая борьба не занимают в его деятельности никакого места. Амстердамский Интернационал был «рабочим» филиалом Лиги Наций, — это полностью определяло его буржуазную сущность. Но пока между Лигой Наций и Соединенными Штатами существовали натянутые отношения, взаимная тяга европейских и американских профслужителей буржуазии не могла выразиться в слиянии их организаций. Сближение между Америкой и Лигой Наций создало почву и для объединения Американской Феде-

рации Труда с Амстердамским Интернационалом.

Любопытно отметить, что американские профбюрократы даже в области сближения с амстердамцами рабски копируют образцы вашингтонской дипломатии. Уолл заявил, что слияние между обеими организациями может произойти только при условии разделения сфер влияния на основе «рабочей доктрины Монро». Смысл этого условия сводится к тому, что американские лидеры рабочего движения соглашаются войти в Амстердам и тем самым оказывать известное влияние на решения европейских реформистских рабочих организаций, но последние должны уважать лозунг «Америка для американцев», который в понимании янки означает: вся Америка для Соединенных Штатов. В связи с тем, что Профинтерн создает сейчас мощное объединение всех красных союзов Латинской Америки, и Амстердам, который был до последнего времени чисто европейской организацией, тоже пытается установить самостоятельные связи с реформистскими организациями некоторых стран Латинской Америки, лидеры Американской Федерации Труда считают нужным установить свои претензии на руководство рабочим движением всей Америки. Только при признании Амстердамом этих прав северо-американских лидеров, последние согласны вступить в Амстердамский Интернационал.

Мэтью Уолл выполняет волю Уолл-Стрит. Эта воля окажется законом и для европейских социал-реформистов.

План Юнга

После четырехмесячных усилий комиссии экспертов закончила, наконец, свою работу. На страницах парижских газет появился трогательный снимок, на котором изображен председатель делегации Оуэн Юнг, соединяющий руки французского эксперта Моро и германского—Шахта. Улыбающиеся лица этих троих участников комиссии экспертов должны засвидетельствовать миру, что решение комиссии принято ко всеобщему удовольствию. И надо действительно признать, что план Юнга, под сенью которого Гер-

мания будет жить до 21 марта 1988 г. (будет ли?), встречен буржуазным общественным мнением почти всех заинтересованных стран с некоторым удовлетворением. Пролетарии же Германии не были по этому поводу опрошены.

Какие же блага сулит знаменитый отныне план Юнга победителям и побежденным в мировой войне?

Германия знает теперь, сколько и в течение какого времени должна она платить своим победителям. В эпоху Версальского мира называли предположительно цифру в 250 млрд. золотых марок, в 1921 г. эта цифра понизилась почти вдвое—до 132 млрд., перед конференцией экспертов довольствовались уже 40—50 млрд., и, наконец, план Юнга определил наложенную на Германию дань в 36,885 млн. марок. Германия получила скидку. Но важно не столько определение всей суммы—какой безумец, в самом деле, может думать, что до 1988 г. Германия будет платить эту дань!—сколько полученная Германией «скидка» по предстоящим в ближайший период годичным взносам. Если план Дауэса предусматривал, начиная с текущего года, взносы в 2½ млрд. в год, то план Юнга довольствуется взносом в 1,988,8 млн. марок в год, а считая с платежами по займу, предоставленному Германии в 1924 г. (по плану Дауэса)—в 2,050 млн. марок в год. Кроме того, Германия должна еще возместить Бельгии убытки от расплаты с населением Бельгии обесценившимися вскоре после войны германскими марками (о размере этой суммы должны договориться непосредственно германское и бельгийское правительство).

Взнос в 1,988,8 млн. марок Германия должна платить в течение 37 лет. Этот взнос полностью покрывает все межсоюзнические долги и, кроме того, оставляет еще в распоряжении стран-победительниц известную сумму на покрытие собственно репарационных расходов. По истечении 37 лет, т. е. с 1 апреля 1966 г. Германия будет «только» покрывать платежи по межсоюзническим долгам и, кроме того, уплатит непосредственно Америке 40,8 млн. зол. марок на ее репарационные расходы.

И союзники, и Германия, повидимому, надеются на «великодушие» Соединенных Штатов, которые, может быть, сделают некоторую скидку по межсоюзническим долгам. План предусматривает, что если Соединенные Штаты проявят это «великодушие», то выгода от него в последние 22 года пойдет исключительно Германии. В первые же 37 лет $\frac{2}{3}$ этой скидки пойдут на уменьшение германских платежей, а на $\frac{1}{3}$ ею воспользуются союзники, под условием, однако, некоторого удержания (в 8,33 проц. с получаемой союзниками выгоды), которое поступит в распоряжение Банка Международных Расчетов, а последний должен употребить ее на понижение германских платежей в последние 22 года, если межсоюзнические долги не будут к тому времени ликвидированы.

Существенным моментом плана Юнга является разделение германских платежей (в первый период) на 2 части: взнос в сумме 660 млн. марок, получаемый от налога на доходы железных дорог, и остальную часть, выплачиваемую Германией из бюджетных средств, 660 млн. золотых марок Германия должна платить во всяком случае, на остальную часть распространяется так называемая трансфертная оговорка, предусматривающая право Германии в известных случаях (если уплата угрожает полным расстройством ее денежной системы) приостанавливать платежи на 2 года. Различие между этими двумя частями платежей заключается также в том, что «безусловные» 660 млн. марок ежегодных взносов можно превратить в так называемый обычный коммерческий заем, облигации которого давали бы доход, равный сумме в 660 млн. марок. Это и есть та частичная «коммерсиализация» германских репарационных обязательств, которая и составляет наиболее характерную особенность плана Юнга по сравнению с планом Дауэса.

Некоторое уменьшение германских платежей и предстоящая вслед за утверждением решений комиссии экспертов заинтересованными правительствами эвакуация Рейнских областей — вот те реальные преимущества, кото-

рые получает Германия по плану Юнга. Говорить об этих преимуществах можно, разумеется, только условно — эвакуация территории через 10 лет после подписания мира и наложения на страну двухмиллиардной ежегодной дани может считаться благом только в «благодатных» условиях капиталистического общества. Но германская буржуазия удовлетворена ежегодной полумиллиардной скидкой, а дань она будет платить не из своих прибылей, а за счет усиленной эксплуатации рабочего класса. Социал-демократические министры Германии приложат все усилия к тому, чтобы помешать германскому пролетариату восстать против этой эксплуатации. Но, несмотря на все старания господ социал-демократов, можно с уверенностью сказать, что 37 лет это выколачивание дани с германских пролетариев продолжаться не будет.

Посмотрим теперь, почему так довольно улыбался французский эксперт Моро, пожимая руку Шахту. Франция сразу избирается от своей задолженности Соединенным Штатам и Англии. Но этого мало. Из 2 млрд. марок ежегодных германских платежей на долю Франции приходится 1,046 млн. марок, из которых только 626 млн. марок идет на погашение задолженности Франции союзникам, — 420 млн. марок будут составлять репарационный доход Франции. В течение 37 лет французский бюджет получит свыше 42 млрд. франков.

В плане Юнга Франция выговорила себе еще следующее преимущество. Из 660 млн. марок безусловных платежей, на которые не распространяется право мораториума и которые могут быть превращены в облигации обычных коммерческих займов, 500 млн. выговорено на долю Франции. В компенсацию за это преимущество перед другими союзниками Франция должна внести в Банк Международных Расчетов в виде вклада на проценты единовременную сумму в 500 млн. марок.

Правда, французские экономисты пытаются доказать, что если составить германские платежи со всей суммой понесенных Францией от войны убытков (считая в том числе убытки

от колебания французской валюты), то Франция все же имеет от войны «убыток» в 14 млрд. золотых франков. Расчеты эти, конечно, фантастичны, ибо убытки французской казны от колебания франка давно возмещены доходами от колоссально выросшей со времени войны французской промышленности. Часть французских националистов, в частности группа Марэна, составляющая правое крыло нынешнего правительства большинства во Франции, намерена даже голосовать против утверждения плана Юнга, но большинство французской печати предпочитает ссылаться на эти фантастические убытки Франции лишь для того, чтобы продемонстрировать французское «благородство» по отношению к побежденным. «Пусть этот убыток покажет тем, кто захотел бы повторить опыт новой войны, что «выгодных» войн не бывает»—воскликает де-Буазанже во французском еженедельнике «Europe Nouvelle». Публицисты делают «благородное лицо», а французские банкиры и капиталисты удовлетворенно потирают руки.

Англия не получила особых преимуществ от плана Юнга (Черчилль даже заявил после первого ознакомления с меморандумом Юнга, что он не получит утверждения английского правительства), но все же она получила удовлетворение в вопросе о платежах натурой. Как известно, английские эксперты особенно возражали против этих поставок натурой, указывая на то, что они разоряют английскую промышленность. По плану Юнга платежи натурой будут допускаться лишь в течение 10 лет, постепенно уменьшаясь с 750 млн. в первый год до 300 млн. на десятый год. Совершенно очевидно, что эта уступка Англии идет целиком за счет интересов Германии, которой придется завоевывать пути для своего экспорта еще большим нажимом на рабочую силу.

И все же реальным победителем на парижском торжище экспертов оказалась Америка. Разрешение репарационной проблемы делает ее фактическим властелином экономики важнейших капиталистических стран. Банк Международных Расчетов, который за-

менит прежнего агента по репарациям, явится несомненно орудием в руках американских банкиров, от которых будет зависеть размещение коммерциализованной части репарационных платежей. Вместе с тем, Америка получает возможность при урегулировании вопроса о союзнической задолженности влиять и на победителей и на побежденных в мировой войне, ибо, как выше указывали, скидка, которую она делает по долгам, распределяется между Германией и союзниками.

Когда Макдональд в интервью с корреспонденткой «Petit Parisien» указал на то, что проблема урегулирования межсоюзнической задолженности имеет самостоятельное значение, и выразил надежду на сотрудничество с Гувром в этой области, а также в деле разоружения, он, конечно, имел в виду, что в обмен на соглашение о сокращении морских вооружений Америка предоставит Англии известные льготы по ликвидации английской задолженности. Известное выступление в прежнем парламенте нынешнего министра финансов в кабинете Макдональда, Филлипа Сноудена, направленное против финансовой политики консерваторов (консерваторы заключили очень невыгодное соглашение о долгах с Америкой, предоставив со своей стороны льготные условия Франции), заставляет предвидеть, что правительство Макдональда будет стремиться добиться смягчения условий прежнего англо-американского соглашения о долгах. Правда, на две трети выгоды от этого достанутся по плану Юнга Германии, но и это имеет значение для Макдональда, который несомненно постарается установить с Германией более дружественные отношения, чем это было до сих пор.

Чан Кай-ши на почтовой марке

В апрельской книге «Нового Мира» мы указывали на соперничество между английским и американским империализмом в Китае. Нанкинское правительство с Чан Кай-ши во главе определенно ориентировалось на Америку, гуансийцы пользовались поддержкой англичан. Мы указывали также тогда, что гуансийцы имеют мало шансов

успешно бороться с Чан Кай-ши и что угрозой для последнего представляет лишь Фын Юй-сян. Чан Кай-ши обнаружил в этой борьбе несомненно качества полководца. Он сумел использовать все выгоды как своего центрального в стратегическом смысле положения, так и свой авторитет главы национального правительства. В начале борьбы с гуансийцами Фын Юй-сян под предлогом поддержки национального правительства попытался продвинуться на юг в направлении на Ханькоу и на восток в направлении на Шаньдун, рассчитывая занять эту провинцию, как только она будет эвакуирована японцами. Но Чан Кай-ши молниеносным ударом занял Ханькоу, сделав ненужной «поддержку» Фын Юй-сяна. Одновременно ему удалось провести переворот в Кантоне—другом опорном пункте гуансийцев. В результате последние оказались сжатыми с двух сторон и в настоящее время уже опасности для Чан Кай-ши не представляют.

Что касается Шандуня, то нанкинское правительство попросило японцев повременить с эвакуацией. Отсрочку эвакуации Чан Кай-ши использовал для того, чтобы занять ее затем войсками одного из подчиненных ему генералов. Положение Чан Кай-ши, как буржуазного объединителя Китая, несомненно очень упрочилось. Внешним признаком роста его личного влияния был выпуск почтовых марок с его портретом. Эта марка фигурировала во всех иностранных газетах, как наглядный показатель сложившегося в Китае положения. Некоторые скептики, впрочем, отмечали, что и Чжан Цзолин незадолго до своего падения выпустил марки со своим портретом.

Несомненно, однако, что в настоящее время Чан Кай-ши во много раз сильнее Фын Юй-сяна, который в лучшем случае может отсиживаться в своих провинциях, выжидая более благоприятных обстоятельств, но не может даже и мечтать о наступательной борьбе против Чан-Кай-ши. Последний, как известно, желая подорвать престиж

своего политического противника, объявил Фын Юй-сяна изменником, получающим из СССР деньги и оружие. Как ни вздорна была эта выдумка, но китайские власти поспешили воспользоваться ею как предлогом для налета на наше генеральное консульство в Харбине. Налет был произведен с грубостью, типичной для манчжурской полицейщины. Советское правительство реагировало немедленно на это нотой, в которой заявило о лишении дипломатических и консульских учреждений нанкинского правительства в СССР права экстерриториальности, указав в то же время, что эта мера является лишь первым предостережением распоясавшимся хунхуз-генералам Чан-Кай-ши и Чжан Сюэ-ляна. В настоящее время есть некоторые основания думать, что нанкинское правительство начинает отдавать себе отчет в реальности этого предостережения. Некоторым симптомом этого является заявление нанкинского министра иностранных дел Ван Чжин-вэя о том, что харбинский налет был произведен не на основании приказа национального правительства, а по инициативе местных властей. Имеется, однако, немало влияний извне, которые удерживают нанкинское правительство от полюбовного разрешения с советским правительством всех спорных вопросов. Во всяком случае, Чан-Кай-ши должен понять, что полумерами советское правительство не удовлетворится, и что обострение отношений с Советским Союзом несомненно ослабит позицию нанкинского правительства как в области внешней, так и внутренней политики.

Внутреннее положение в Китае остается напряженным. Наступление иностранного и национально-китайского капитала все более обостряет борьбу рабочего класса. Рост забастовок в крупных промышленных центрах (особенно в Шанхае) и борьба партизанских отрядов в Хунани, Гуандуне и других провинциях свидетельствуют о том, что идет внутренняя подготовка и собирание сил революции.

Литература и искусство

1. А. ДЕРМАН. Одна из Чеховских магистралей.— 2. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. Очерки современной литературы. О Фадееве — 3. А. БЕК и Л. ТООМ. О психологизме и «столбовой дороге». — 4. Д. ГОРБОВ. Исторический пробог гр-на Адуева.

1. ОДНА ИЗ ЧЕХОВСКИХ МАГИСТРАЛЕЙ

(К 25-летию со дня смерти)

А. Дерман

В конце 80-х годов, явно пародируя подбострастный стиль угодливых посланий, Чехов иногда подписывал свои письма к приятелям, например, так: «Имею честь быть с почтением А. Чехов». А ранние его письма к родным, например, письмо к двоюродному брату М. М. Чехову в 1876 г. юноша-Чехов уже без всякой иронии подписывает: «Имею честь быть вас уважающим младшим братом и покорным слугою А. Чехов». Это, конечно, мелочь, но она дает нам две даты двух различных стилей Чехова: один — почтительный и подбострастный, другой — насмешливый в отношении этих самых качеств. Между датами — срок в 12 лет. Он-то и был наполнен борьбой Чехова со следами мещанства, со следами рабского духа, привитого ему воспитанием в узком кругу мещанских интересов и косных взглядов семьи мелкого торговца глухой провинции.

В январе 1889 г. Чехов изложил этот процесс в знаменитом письме к Суворину, без которого не обходится ни одна биографическая работа об А. П. Касаясь вопроса о том, чего недостает ему, как писателю, Чехов указывает: «Нужна возмужалость — это раз; во-вторых, необходимо чувство личной свободы¹⁾, а это чувство стало разгораться во мне только недавно. Раньше его у меня не было; его заменили с успехом мое легкомыслие, небрежность и неуважение к делу. Что

писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливают из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая течет человеческая...»

Самый факт, что Чехов долгое время находился в плену рабских чувств и рабского сознания, при столь ясном и категорическом заявлении можно считать бесспорно установленными, и доказательствами его существования не заниматься. Тем важнее для исследователя проанализировать его главнейшие результаты. Но сначала необходимо сделать оговорку относительно терминологии Чехова в приведенном письме.

Он противопоставляет в нем писателя-дворянина писателю-разночинцу, и с точки зрения чистоты терминологии это, конечно, неверно. Под писателем-разночинцем мы привыкли разуметь нечто свежее для своего времени, на-

¹⁾ Подчеркнуто Чеховым.

сыщенное общественной и политической активностью, в известной степени революционное. Между тем как по всей сумме признаков фигура, какую Чехов рисует своим письмом, — диаметрально противоположна такого рода различию. Вообще говоря, Чехов никогда не отличался отчетливостью и точностью в области политико-общественной терминологии, потому что и область то эта была для него чуждая. В данном случае он, говоря о различии, разумел в сущности мещанина, все признаки которого он и перечислил в своем письме, и притом не столько мещанина по происхождению, сколько духовного мещанина.

Это ясно и из самого письма Чехова, это же с несомненностью вытекает также из его биографии. Ведь это была классическая биография мещанина! И не случайно, а вполне закономерно Чехов-гимназист оставался в стороне от тех кружков гимназистов-разночинцев, которые интересовались революционным движением конца 70-х годов. Не случайно, но закономерно Чехова-студента потянуло в глубокомещанскую мелкую прессу на первых шагах его литературного поприща. Атмосферу мещанского духа и мещанской психологии, лютым врагом которых Чехов впоследствии сделался, он изучал не вне себя, а в самом себе, и когда он говорит «раб», «рабские чувства», «выдавливает по капле раба» и т. п., то во всех этих случаях он имеет в виду именно мещанина, а не разночинца.

Это — во-первых. Во-вторых, письмо Чехова нуждается и в некоторых оговорках хронологического порядка. Напомним, что он писал его в самом начале 1889 г. При этом отмечает, что чувство личной свободы стало разгораться в нем «только недавно». Свои студенческие годы, во всяком случае часть их, он включил в полосу рабства («бывший лавочник, певчий, гимназист и студент»). Таким образом, приблизительно намечается и полоса борьбы с ним, годы «выдавливания из себя по каплям раба». Это 1883—4—5—6—7 гг.

То обстоятельство, что сдержанный Чехов с такою определенностью заявил

Суворину, что им владела психология раба, является лучшей гарантией того, что он чувствовал себя в ту минуту, как писал письмо, полным победителем в борьбе с этой психологией — иначе он не стал бы об этом писать.

Но тут необходимо сделать одну важную оговорку. Чехов чувствовал себя полным победителем, но был ли он им объективно? Не являлось ли это чувство лишь субъективным ощущением?

Кажется, так это и было. Целый ряд элементов психологии раба он, действительно, успел вытравить без остатка из своей души, но кое-что, вероятно, еще оставалось. Он воспитал в себе, вместо прежнего чинопочитания и сознания собственного ничтожества, ревнивое чувство независимости, огромное чувство собственного достоинства и высокое уважение к человеческому достоинству вообще, но самая область, на которую распространялось действие этого чувства, была ограничена и расширялась лишь постепенно. Он остро воспринимал позор личного рабства, но сравнительно слабо — общественно. Он понимал, что помещик, свысока третирующий «дочь Альбиона» и поэтому не стесняющийся в ее присутствии раздеться, — крепостник, тот же раб наизнанку, но подобное же отношение к представителям другой нации уже не казалось ему рабским крепостничеством, и поэтому так явственен привкус обывательски-крепостнического отношения к еврею, к поляку в его ранних вещах, в его письмах. Иногда это встречается и в сравнительно поздних высказываниях Чехова. Иногда бывало даже так: в рассказе — зрительная насмешка по адресу националистического или общественного проявления крепостнической психологии, а одновременно с этим в письме к кому-нибудь — фраза с тем самым душеком, который Чехов заклеил в рассказе. И это характерно для той медлительности, которая отличает все важные психологические процессы, переживавшиеся Чеховым, и для того отставания навыков от работы сознания, которое мы часто у него наблюдаем. Чехов долгое время не чувствовал и не сознавал, что он работает с людьми и в органе, для которых чино-

почитание и рабская угодливость есть единственный символ веры, — в «Новом Времени». И я думаю, что если бы свое знаменитое письмо он писал не в 1889 году, а тремя-четырьмя годами позднее, то он включил бы в то наследие рабства, которое он из себя по каплям выдавливал, еще кое-что, в частности, и это безмятежное сотрудничество в «Новом Времени».

Чеховское чувство независимости и человеческого достоинства долгое время носило строго личный характер и лишь исподволь осложнялось моментами общественного сознания. Замечательно в этом отношении его письмо от 1887 г. к брату Александру, также работавшему в «Новом Времени». «Ты для Нов. Времени нужен, — пишет он. — Будешь еще нужнее, если не будешь скрывать от Суворина, что тебе многое в его Нов. Времени не нравится. Нужна партия для противовеса, партия молодая, свежая и независимая... Я думаю, что будь в редакции два-три свежих человека, умеющих громко называть чепуху чепухой, г. Эльпе не дерзнул бы уничтожить Дарвина, а Буренин долбить Надсона. Я при всяком свидании говорю с Сувориным откровенно и думаю, что эта откровенность не бесполезна... Сиди в редакции и напирай на то, чтобы нововременцы повежливее обходились с наукой, чтобы они не клепали понапрасну на культуру... Коли будешь ежедневно долбить, то твоё долбление станет потребностью гг. суворинцев и войдет в колею; главное, чтобы не казаться безличным».

Чехов более или менее ясно видит, что представляют из себя **Буренин**, Эльпе и др. нововременцы, но чувство общественного достоинства еще так слабо в нем развито, что его не корбит сотрудничество с ними, а общественная наивность так велика, что он мечтает о создании в «Новом Времени» молодой, свежей и независимой партии и надеется на успешную борьбу путем личных указаний Суворину. Для него центр тяжести, пожалуй, даже единственная забота, — это не казаться безличным. Это типично: личная позиция в общественном вопросе, обусловленная нечувствительностью к духу

рабства в сфере общественной. Постепенно Чехов выдавливал из себя раба и в этом направлении, но в то время как он писал свое письмо к Суворину, этот процесс только-только еще начинался...

С этими оговорками мы можем вернуться к вопросу о биографических и творческих результатах борьбы Чехова с внутренним «рабом», с мешанином. Они огромны.

В сфере морального самочувствия и самосознания Чехова совершился настоящий переворот. Буквально все те черты, какими в приведенном письме к Суворину он рисует себя в прошлом, обратились у обновленного Чехова в собственную противоположность. Огромное, но при этом строго дисциплинированное чувство собственного достоинства, ревнивое и даже подозрительное чувство независимости, гордость без малейшей примеси надменности, — вот то, что бросается в глаза всякому, кто знал и встречал Чехова, кто изучает его переписку. Это до такой степени общепризнано и твердо установлено, что не нуждается в доказательствах, которых можно привести зотни.

Столь же противоположно рабским чертам и все то, что характеризует отношения Чехова с людьми. Уважение к чужому достоинству становится для него культом. В его записной книжке мы читаем: «Какое наслаждение уважать людей!» Угодливость, чиновничество, грубость, зависть, лицемерие, то, что перечислял Чехов в списке грехов своего рабского прошлого, становятся объектами его лютой ненависти и глубочайшего презрения в области человеческих отношений вообще, и никогда тень этих пороков не пятнает лично его обращение с людьми. Та простота, прямота и правдивость, которые поражали всех в Чехове своими высшими, совершенными формами выражения, — общеизвестны. Ведь Чехов не в шутку, а совершенно серьезно, с полным убеждением своей правоты считал борьбу с ложью достаточной программой любой человеческой деятельности. По поводу упреков Плещеева, что у Чехова в рассказах «отсутствует протестующий элемент», он,

говоря в частности об «Именинах», возражал Плещееву: «Разве в рассказе от начала до конца я не протестую против лжи? Разве это не направление?» В личном своем обиходе Чехов доходит в боязни лжи и притворства до изощренности, до мнительности.

Во взглядах Чехова, в системе его воззрений борьба с внутренним мешанином оставила чрезвычайно глубокий след. Необходимо обратить внимание при анализе этого вопроса на то обстоятельство, что, излагая в разных случаях *credo*, — в целом или в частностях, — Чехов всегда делал это не в положительной, а в отрицательной форме. К Плещееву он пишет: «Я не либерал, не консерватор, не постепенец, не монах, не индифферентист... Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консисторий, так и Нотович с Градовским. Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках; я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи... Потому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи». И только после длинного ряда отрицательных заявлений, всех этих «не» и «ни», Чехов коротко кончает несколькими позитивными: «Мое святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались». В ответ на приглашение Лемана к довольно пустяковому, но солидарному выступлению молодых литераторов, Чехов с раздражением отвечает: «Чтобы помочь своему коллеге уважать его личность и труд, чтобы не сплетничать на него и не завистничать, чтобы не лгать ему и не лицемерить перед ним — для всего этого нужно быть не столько молодым литератором, сколько вообще человеком... опять «не», «не», «не». В известном письме к брату Николаю о воспитанных и невоспитанных людях в перечислении признаков первых опять почти сплошь одни «не»: «Они не унижают себя», «они не суетны», «они не рисуются» и т. д., и т. д. Точно то

же и в рассказах Чехова, в тех случаях, когда герои высказывают свое *credo* или свои воззрения по тому или иному частному поводу, напр., профессор в «Скучной истории», который рекомендуется так: «Я воспитанный, скромный и честный малый. Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности в полемике с невеждами, не читал речей ни на обедах, ни на могилах своих товарищей...» В той же форме изложены взгляды профессора на студенчество, на театр, на современную литературу и т. д.

Эта отрицательная форма — не случайна. Она обусловлена тем, что в самой структуре чеховской системы воззрений лежало отрицание, а не утверждение. С полной, чисто чеховской ясностью это заявлял сам А. П. В 1889 г., сообщая Плещееву план романа, который он собирался ему посвятить, Чехов писал: «В основу сего романа кладу я жизнь хороших людей, их лица, дела, слова, мысли и надежды; цель моя — убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и, кстати, показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный поступок, но что такое честь — мы не знаем¹⁾. Буду держаться той рамки, которая ближе сердцу и уже испытана людьми сильнее и умнее меня. Рамка эта — абсолютная свобода человека, свобода от насилия, от предрассудков, невежества, чорта, свобода от страстей и проч.»

Но и структура чеховских воззрений, обусловившая отрицательную форму их выражений, в свою очередь была обусловлена тем, что в корне ее лежало не притяжение, а отталкивание. Другими словами: система воззрений Чехова представляет из себя некую сумму, слагаемые которой суть отталкивания. От чего отталкивания? От того, что он называл своим рабским наследием. Каждая капля раба, которую он выдавливал из себя, и является этим

¹⁾ Подчеркнуто нами — А. Д.

слагаемым со знаком минус. Ложь, насилие, лицемерие, зависть, грубость и т. д. и т. д. — все эти «уклонения от нормы», отталкивая от себя Чехова, отрицательно обуславливали его взгляды.

Не следует, однако, думать, что эти слагаемые чисто механически накапливались в сумму или как бы лежали рядом в голове Чехова. Они сливались у него в очень сильное и определенное мироощущение, по форме, как иначе и быть не могло, тоже отрицательное, но безусловно обобщенное. Его можно формулировать так: ненависть к авторитету. Почти во всех случаях, где Чехов изображает зло, «уклонение от нормы», внимательный анализ обнаружит в корне зла губительную силу авторитета. Авторитет — творец и причина всякой лжи и всякого насилия. Авторитет родителей и вообще старших в семье — источник гнета над детьми. Источник бездушия и семейной тирании. Авторитет религии и духовенства — источник фарисейства, тупоумия и лицемерия. Авторитет власти и богатства — источник насилия и крепостничества одних и рабских чувств других. Авторитет учености, славы и даже таланта — источник чванства, высокомерия, низкопоклонства, шаблона и рутин в науке, литературе и искусстве. Авторитет традиции — источник косности, консерватизма в жизни, в быту. Одним словом, там, где на одном полюсе — авторитет на другом — безличие, а где безличие, — там мещанство, там пошлость. В мироощущении Чехова понятие «пошлость» вернулось даже как термин к своему коренному первоисточнику. Ведь «пошлый» некогда означало «исконный», «стародавний», исстари установленный; торная дорога называлась пошлю, потомственное владение называлось пошлым, а к этому признаку, к устарелости, Чехов был так чувствителен, что писал (в 1900 г.): «Слова «пошлость» и «пошло» уже устарели». Иногда становишься втупик перед тем или иным проявлением чеховской антипатии и вражды, но всмотришься внимательнее — и в основе ее видишь его злейшего врага: авторитет. Вот один характерный пример. В записной

книжке Чехова вы то и дело наталкиваетесь на необыкновенно злобные, почти брезгливые заметки А. П. о стариках: «Старики прожорливы»; «старческая важность, старческое ненавистничество. И сколько я знал презренных стариков!»; «от стариков я слышу (только) или глупость, или клевету»; «все, чего не могут старики, запрещено или считается предосудительным»; «один старик богат, почувствовав приближение смерти, приказал подать тарелку меду и вместе с медом с'ел свои деньги», — и т. д. Откуда эта ненависть, этот тон. Да ведь старик — это «авторитет», это для Чехова олицетворение косности, претендующей на всеобщее подчинение ей, это сила, сама по себе бесплодная, но обезличивающая свежие ростки жизни. Его протест против авторитета старости резко принципиален, независимо даже от того, какова эта старость в том или ином конкретном случае, пусть даже она лично ему кажется хорошей и достойной уважения.

В этом отношении поучительно одно его письмо к Суворину от 1890 г., т. е., когда они были очень между собою близки. По поводу письма Суворина о болезни его сына Чехов замечает: «Ему бы следовало быть лекарем, адвокатом, жить на 2 тысячи в год и печатать свои статьи не в Новом Времени и не в духе Нового Времени. Только ту молодость можно признать здоровою, которая не мирится со старыми порядками и глупо или умно борется с ними, — так хочет природа и на этом зиждется прогресс, а А. А. начал с того, что восался в старые порядки. Когда мы интимничали, он ни разу не выругал Татищева или Буренина, а это дурной знак. Вы в сто раз либеральнее его а следовало бы наоборот». Это писалось к Суворину, которого Чехов в ту пору ставил очень высоко, но который был стар и только поэтому, по мысли А. П., должен был встречать со стороны сына оппозиционное отношение.

В математике чеховского творчества борьба с внутренним рабом занимает исключительно большое место. Мало сказать большое: ею окрашено почти все его творчество. Огромное количе-

ство рассказов Чехова целиком посвящено обличению рабской или рабовладельческой психологии, в прочих — эта тема затронута частично, но редкая вещь обходится без нее.

Тема эта разрабатывается Чеховым в бесчисленных вариациях, но, при всем разнообразии последних, отчетливо намечаются три категории: 1. Мотив человеческого достоинства, его самоунижение и унижение в другом разного рода авторитетами, его отстаивание и моральные опустошения, производимые уступками в этой борьбе, красота человеческого достоинства и мерзость обезличения, и т. д. и т. д. 2. Мотив косности, убивающей жизнь. 3. Мотив пошлости, унижающей жизнь. При этом кривая тематики дает такую картину:

Во-первых, она начинается почти с первых литературных шагов Чехова, что объясняется ранним внутренним протестом писателя против испытанных им в жизни унижений. Подтверждается это и тем, что эти ранние протесты направлены против такого конкретного зла, как телесное наказание, на всю жизнь омрачившего воспоминания детства А. П. (рассказы «За яблочком» — 1880 г., «Суд» — 1881 г.).

Во-вторых, резкое повышение кривая дает с 1883 г., когда в силу определенных причин, из коих на первом месте стоит публицистическая работа Чехова, он начинает внимательнее наблюдать, изучать и оценивать жизнь, что само по себе послужило толчком к оживлению умственной работы писателя, к расширению его кругозора. Это расширение кругозора не могло не толкнуть его на более усиленную работу самосознания, на более острое ощущение в себе рабского наследия, а стало быть и на борьбу с ним по двум направлениям: непосредственного самовоспитания и художественного об'ективирования рабских черт. Поэтому 1883 год и следует считать началом процесса «выдавливания по каплям раба», поэтому и тематическая кривая, отражающая этот процесс, резко устремляется вверх именно с этого времени. Во вторую половину этого года (что совпадает и с началом публицистической работы) Чехов написал такие типичные для мо-

тива о человеческом достоинстве вещи, как «Смерть чиновника», «Дочь Альбиона», «В почтовом отделении», «Толстый и Тонкий», и менее известные — «Протекция», «Начальник станции», «Отставной раб», «Сушая правда» и др. Годы 1884, 1885 и 1886 дают в этом отношении ту же картину. Относящиеся к этому периоду вещи, — многочисленны, общезвестны и перечислять их нет необходимости.

В-третьих, начиная с 1887 года эта кривая начинает несколько снижаться, давая место рассказам Чехова по разным другим тематическим линиям. Объясняется это, повидимому, тем, что работа выдавливания из себя раба постепенно начинает терять для Чехова значение личной проблемы, и соответственная тематика из субъективной мало-по-малу обращается в об'ективную. Тем не менее до самого конца творческой деятельности Чехова кривая этой тематики не обрывается. Достаточно, например, напомнить фигуру надменного раба, лакея Яши в «Вишневом саде».

Наконец, в-четвертых, распределение тем указанных выше трех категорий в этой кривой далеко не случайно. А именно: сначала, приблизительно (и грубо схематически) до 1886 г., преобладает в них мотив ущерба человеческого достоинства в прямом смысле слова: насилие, грубость, надменность, деспотизм, чиновничество, низкопоклонство, камелеонство, ложь, самоунижение, пресмыкательство, — вот что раздражает Чехов в бесчисленных очерках этого времени. Это те элементарные, прямые, бьющие в глаза продукты авторитета, которые, естественно, первые обратили на себя внимание Чехова, это те, наиболее легко обнаруживаемые «капли раба», которые он из себя выдавливал. По мере того, как он справлялся с этой сравнительно легкой задачей, и по мере того, как ширилось и углублялось его самосознание человека и наблюдательность писателя, в сферу его осознания вовлекались подспудные пласты зла, порождаемого авторитетом, — косность и пошлость, — и тогда тематика Чехова начинает окрашиваться соответственными мотивами. Уже к одному 1886 году относятся та-

кие характерные в этом смысле рассказы, как «Муж», «Новогодние великоученики», «Тайный советник», «Скука жизни», «Тяжелые люди», или образчик косного, обывательского рассуждения «О женщинах», и т. д. И затем изображение пошлости и косности уже до конца жизни Чехова становится основным содержанием его творчества, — достаточно назвать такие рассказы, как «Бабе царство», «Учитель словесности», «Моя жизнь», «Человек в футляре», «Ионыч», и т. д.

Наиболее изученная, популярная и правильно понятая сторона творчества Чехова — это как раз его изображение пошлости. В этом отношении он давно уже общепризнан, как классик. Несомненно иначе обстоит дело с его изображениями косности. В этом направлении сделано гораздо меньше, здесь и до сих пор Чехов сплошь да рядом остается не понят и превратно истолкован.

Из обширной галереи косных персонажей у Чехова мы выделим несколько, в том или ином отношении наиболее характерных. Минуя там и сям разбросанные фигуры косных людей в ранних вещах Чехова, остановимся на рассказе «Хорошие люди» (1886 г.), на его герое, московском литераторе и общественнике Владимире Семеныче Лядовском. Это не злой, честный, культурный человек, но вы чувствуете, что Чехов рисует его образ с каким-то глубоким презрением, быть может, с ненавистью. За что? Только за одно: он олицетворение косности, а это — хуже всего, хуже порочности, хуже злодейства. Он — пустое место либеральной косности, всю жизнь повторяющее чужие слова и не имеющее в голове ни единой своей мысли. Он «не знал никаких сомнений и, повидимому, был очень доволен собой». Его сестра обращается к нему: «Ты тратишь свои лучшие годы на бог знает что. Как алхимик, роешься в старом, никому не нужном хламе... Скучно глядеть на тебя! Вагнер из «Фауста» выкапывал червей, но тот хоть клада искал, а ты ищешь червей ради червей... Ты безнадежный обскурант и рутинер». Не успел Лядовский умереть, как он был совершенно забыт. — так кончается рассказ.

Минуя очерк «Письмо» (1887 г.), где выведен священник о. Федор Орлов, представитель косного начала в хороше с детства знакомой Чехову среде духовенства, обратимся к родственной Лядовскому фигуре косного человека, доктору Львову из пьесы «Иванов». Это лицо дало в свое время (да и в наше время дает) повод для многочисленных нападок на Чехова. В нем усматривали карикатуру на радикалов и не прощали Чехову, что в противопоставлении Львова и Иванова, из коих первый высказывает смелые и прогрессивные идеи, а второй — покаянно-ретроградные («не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках... не войите вы в одиночку с тысячами, не сражайтесь с мельницами, не бейтесь лбом о стены... Запритесь себе в свою раковину»... и т. д.), в этом противопоставлении Чехов отдал свои симпатии Иванову, а антипатию Львову. Были (и сейчас наблюдаются) попытки своеобразной реабилитации Чехова: доказывают, что, напротив, Чехов осудил Иванова, а Львова изобразил чуть что не героем. Но это — явно безнадежная позиция. Если уж не верить слишком очевидным чертам образов, то поверим автентическим пояснениям. Чехов прямо писал к Суворину: «Если публика выйдет из театра с сознанием, что Ивановы — подлецы, а доктора Львовы — великие люди, то мне придется подать в отставку и забросить к черту свое перо». И это несмотря на то, что в том же письме Чехов, характеризуя Львова, указывает: «Львов честен, прям и рубит с плеча, не падая живота. Если нужно, он бросит под карету бомбу, даст по рылу инспектору, пустит подлеца. Он ни перед чем не остановится. Угрызенный совестью никогда не чувствует — на то он честный труженик, чтоб казнить «темную силу»! Такие люди нужны и в большинстве симпатичны. Рисовать их в карикатуре, хотя бы в интересах сспены, нечестно».

Но если так, то за что же казнил его Чехов в своей пьесе, — этого единственного (если не считать юной Саши) человека с волей среди людской пыли персонажей «Иванова»? Только за одну черту, из-за которой все идет на смар-

ку. Львов — косный человек, косный в своих честных взглядах и принципах. В цитированном уже письме Чехов отзывается о Львове: «это олицетворенный шаблон, ходячая тенденция».

Укажем еще на одну фигуру, родственную Лядовскому и Львову, — это Лида Волчанинова из «Дома с мезонином», деятельная и энергичная девушка, которая даже к матери и к родной сестре «никогда не ласкалась, говорила только о серьезном; она жила своею особенною жизнью, и для матери и для сестры была такою же священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который все сидит у себя в каюте». С полной уверенностью и без малейшего колебания она разбивает жизнь своей младшей сестре и художнику, которые любят друг друга, потому что в ее глазах художник-пейзажист — это одно из самых бесполезных и ненужных явлений в жизни.

Словно умышленно, чтобы подчеркнуть характер своего нерасположения к подобного рода людям, Чехов изобразил их всех трех — Лядовского, Львова и Лиду — людьми весьма порядочными, честными, чистыми, но в то же время явно отталкивающими. И это только потому, что все они представляют косное начало, которое в них проявляется тем, что они непригодны ни для какой самостоятельной работы мысли. Усвоив некогда с чужих слов определенный круг идей, они превращают их в обязательный для всех символ веры, вне которого — грех, пагуба и подлость. «Это, — как писал Чехов к Плещеву, — полинявшая недействительная бездарность, узурпирующая 60-е годы; в 5 классе гимназии она поймала 5—6 чужих мыслей, застыла на них и будет упрямо бормотать их до самой смерти. Это не шарлатан, а дурачек, который верует в то, что бормочет, но мало или совсем не понимает того, о чем бормочет. Он глуп, глух, бессердечен... Он скучен, как яма, и вреден для тех, кто ему верит, как суслик».

Критика не раз высказывала мысль, что Чехов питал пристрастие к людям слабовольным, мягким и рыхлым и не любил людей сильной воли, отсюда и распределение его симпатий между Ивановыми и Львовыми. Кажется, что

в данном случае за причину принимается сопутствующее явление. Чехов не любил в Львовых не их сильную волю, а их слепой деспотизм, проистекающий из косности. У подобного рода людей, как незнающих сомнений вследствие своей ограниченности и отсутствия самостоятельной работы мысли, действительно часто бывает непоколебимая воля. Но, во-первых, не все они таковы — Лядовский изображен тоже рыхлым человеком, а во-вторых, не всякий человек с сильной волей есть непременно ограниченный Львов. Как бы в ответ на этот промах критики Чехов написал в «Дуэли» крепкую фигуру зоолога фон-Корена, человека, совмещающего огромную силу воли и характера с большой и самостоятельной деятельностью мысли. Сравните его вражду к Лаевскому с враждой к Иванову со стороны Львова, и вы увидите, до чего разные люди Львов и фон-Корен: ненависть последнего осмысленна, ясна, глубока, коренится в чем-то очень серьезном, важном и значительном; Чехов, осуждавший всякую ненависть, все-таки с уважением изображает ее в фон-Корене. Между тем как вражда Львова к Иванову — узка, тупа, слепа, бессмысленна. И недаром Чехов закончил «Дуэль» примирением (хотя и слабо мотивированным) Лаевского с фон-Кореном, между тем как нельзя себе и представить, чтобы Львов мог примириться с Ивановым: фон-Корен представляет прямолинейную мысль, а Львов — прямолинейное отсутствие мысли, косность, а где косность, — там вообще нет ничего, там слепой деспотизм.

Если Лядовский, Львов и Лида Волчанинова воплощают косность пустого либерального и радикального места, то герою рассказа «В усадьбе» (1894 г.) олицетворяет косность ретроградно-сословную, и, надо отдать справедливость Чехову, помещик Павел Ильич Рашевич, по прозвищу «жаба», закостенелый труп дворянской чванливости, тупо и бессмысленно долбящий в одно место, несносный даже для своих дочерей — изображен писателем еще с большим отвращением и с большим раздражением, чем его либеральные аналоги. Это — законченный тип ненавистника

людей, ненавистничество которого коренится не в злом характере, а в тупой, косной сословной спеси.

Сродни «жабе» группа косных дворянских обывателей в повести «Моя жизнь». В центре их—бездарный архитектор Полознев, который, только что отколотив своего взрослого сына зонтиком и указывая этим зонтиком на небо, обращается к дочери: «Взгляни на небо! Звезды, даже самые маленькие,—все это миры! Как ничтожен человек в сравнении со вселенной!» «И говорил он это,—замечает его сын,—таким тоном, как-будто ему было чрезвычайно лестно и приятно, что он так ничтожен». Во имя каких-то жалких и надуманных традиций он губит жизнь родных детей, он глух, бессердечен, туп, недоступен пониманию самых простых вещей... Вот Ажогина, которую все считают передовой женщиной, которая, на зло всем предрассудкам, зажигает на столе три свечи, назначает то или иное дело на тринадцатое число, но которая приходит в ужас, узнав, что одна из ее гостей, девушка, беременна. Она и все ее семейство «были встревожены, ошеломлены, точно в их доме только что поймали каторжника». Далее—вдова-генеральша Чепракова, бессердечная процентщица и ростовщица, осведомляющаяся у посетителя, прежде чем пригласить его сесть, дворянин ли он, и т. д. и т. д. И все эти люди «поколениями читают и слышат о правде, о милосердии, свободе, и все же до самой смерти лгут от утра до вечера, мучают друг друга, а свободы боятся и ненавидят ее как врага». В повести с особенной, поистине мрачной силой выражена мысль, что злейший губитель и гаситель жизни—это косность, отсутствие живой мысли.

Из типов косных людей выделяются у Чехова так ненавистные ему с детских лет косные педагоги и ученые. Учитель гимназии Беликов, знаменитый «человек в футляре», для которого «были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное». И этот ходячий труп держал в своей власти весь город, хотя

«начальством» он являлся только для гимназистов. В том же роде и знаменитый ученый, профессор Серебряков из «Дяди Вани», «старый сухарь, ученая вобла», человек, который «ровно двадцать пять лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве, бессердечный, себялюбец, заедающий чужой век и отравляющий всем существование.

И как бы ни были разнообразны все эти олицетворения косности, все их изображения объединяются в какой-то сосредоточенной ненависти, с какою их нарисовал Чехов. Сомневаться в истинности ее—не приходится: ведь это все воспитатели того раба, которого он выдавливал из себя по каплям! Ведь процесс их создания и был отчасти процессом этого выдавливания, и даже простая оглядка на это прошлое приводила художнику на память его врагов, отравивших его молодость,—он и не шадил их!

Таковы следы «выдавливания по каплям» раба в тематике Чехова. Теперь нам предстоит рассмотреть вопрос об отражении этого внутренне-психологического процесса Чехова,—выдавливания по каплям раба,—в стиле писателя.

Выше мы указывали, во что конкретно вылился в представлении Чехова тот враг, которого он должен был преодолеть: это—зло авторитета, рутина, пошлость, косность, в болоте которых закидает и замирает жизнь. В преодолении всего этого и состояла работа Чехова над стилем, над формой, являясь, таким образом, частным проявлением общего принципа. На протяжении всей переписки Чехова, как бы ни менялись его воззрения на литературу, на тех или иных писателей, на собственное творчество,—одно оставалось неизменно: твердое убеждение, что в первую голову писателю нужна свежесть, что страшнейший враг его—шаблон и рутина. Вот в хронологическом порядке несколько высказываний Чехова по этому вопросу.

В 1886 г. в письме к брату Александру: «Общие места в роде: «заходящее солнце, купаясь в волнах темневшего моря, заливало багровым золотом» и проч... «Ласточки, летая над поверхно-

стью воды, весело чирикали» — такие общие места надо бросить».

В 1888 г. он пишет Лазареву-Грузинскому: «Вы хорошо делаете, что боитесь мелочности и казенщины. Но опять-таки вы не даете воли своему темпераменту. Женщин нужно описывать так, чтобы читатель чувствовал, что вы в расстегнутой жилетке и без галстука, природу — тоже самое. Дайте себе свободы».

В 1889 г. к брату Александру: «В пьесе старайся быть оригинальным и по возможности умным, но не бойся показаться глупым: нужно вольнодумство, а только тот вольнодумец, кто не боится писать глупостей. Не заливай, не шлифуй, а будь неуклюж и дерзок. Памятуй кстати, что любовные объяснения, измены жон и мужей, вдовья, сиротские и всякие другие слезы давно уже описаны. Сюжет должен быть нов, а фабула может отсутствовать».

К нему же в следующем письме: «Берегись изысканного языка. Язык должен быть прост и изящен. Лакеи должны говорить просто, без пущай и без теперича. Отставные капитаны с красными носами, пьющие репортеры, голодающие писатели, чахоточные жены-труженицы, честные молодые люди без единого пятнышка, возвышенные девицы, добродушные няни — все это было уже описано и должно быть обезжелезо, как яма».

В 1892 г., критикуя рассказ писательницы Л. А. Авиловой, Чехов категорически заявляет: «Выкиньте слова «идеал» и «порыв». Ну их!»

В том же году он пишет к Суворину: «Есть у меня интересный сюжет для комедии, но не придумал еще конца. Кто изобретет новые концы для пьес, тот откроет новую эру. Не даются подлые концы! Герой или женись, или застрелись, другого выхода нет». Как мы знаем, для концов отдельных актов у него был прием: «давать зрителю по морде», т. е. переключать настроение чем-нибудь свежим, внезапным.

Его главная задача в замысле вещи — новизна и свежесть. Задумав «Чайку», он в 1895 г. сообщает Суворину: «я напишу что-нибудь странное. Для казны же и для денег у меня нет охоты пи-

сать. Я пока сыт и могу написать пьесу, за которую ничего не получу».

В 1901 г. он пишет к Горькому по прочтении его пьесы «Мещане»: «Она, как я и ждал, очень хороша, написана по торьковски, оригинально, очень интересна и, если начать с того, что говорить о недостатках, то пока я заметил только один, недостаток непоправимый, как рыжие волосы у рыжего — это консерватизм формы. Новых, оригинальных людей вы заставляете петь новые песни по нотам, имеющим подержанный вид».

Стиль казенных бумаг вызывал у Чехова чувство, близкое к гадливости. «Я получил из Управления (главного тюремного управления), — сообщает он Суворину, — пошлое чиновничье письмо: «Впоследствии письма вашего и т. д.» Выставлен номер. Не вследствие, а впоследствии. Экая духота».

Подобного рода высказываний в письмах Чехова — великое множество. И если подытожить в них те моменты, которые Чехов относит к «недостаткам», и те, где он дает советы положительного характера или высказывает одобрение, то видовым признаком первых окажутся рутинизм и шаблон, а вторых — свежесть и новизна, что, в сущности, одно и то же, только с разными знаками.

Если мы теперь обратимся к художественным приемам Чехова, то увидим, что они продиктованы ему отталкиванием от шаблона и стремлением к свежести; чеховская поэтика сводится к преодолению поэтики предшествующей фазы развития русской художественной литературы.

Литературный стиль предшествующей фазы — это тургеневский стиль. Плавная, неторопливая манера изложения, с глубокими экскурсами в прошлое героев, с подбором изысканно-красивых эпитетов и определений, с строгой последовательностью наложения подробных характеристических признаков на изображаемое лицо или пейзаж, с заботой о «литературности» употребляемых сравнений, с «разъяснениями» читателю мало-мальски значительных психологических положений и т. д. и т. д.

Все это Чехов считал необходимым преодолеть, характеризуя как шаблон, как манеру «зализывать». Он противопоставлял изысканности простоту, гладкости — намеренную «неуклюжесть», свободную небрежность, литературности сравнений — смелость их, «разъяснениям» — импрессионистический лаконизм, толчки для самостоятельной работы читательского воображения, и т. д. и т. д. Омертвелость некоторых литературных приемов он почувствовал очень рано, в чем можно убедиться уже из его пародийных литературных дебютов, в роде очерка «Что чаще встречается в романах, повестях и т. п.?» и смелые попытки освежения литературного стиля наблюдаются уже в ранних его рассказах. В картине «Двое в одном», напечатанной в 1883 году, вместо длинного и подробного описания наружности героя, он с поразительной для начинающего писателя смелостью скажет: «Лицо его точно дверью прищемлено или мокрой тряпкой побито. Оно кисло и жалко; глядя на него, хочется петь «Лучинушку» и ныть». Чехов подбирает для сравнений понятия не только простые, а простейшие, и при том из областей резко-неоднородных, достигая этим одновременно и свежести и углубленности впечатления. В рассказе «Несчастье», тоже ранним (1886 г.), изображая любовную сцену, происходящую в лесу, он внезапно скажет: «Сосны и облака стояли неподвижно и глядели сурово, на манер старых дядек, видящих шалость, но обязавшихся за деньги не доносить начальству». В рассказе «Враги» (1887 г.): «Во всей природе чувствовалось что-то безнадежное, больное, земля, как падшая женщина, которая одна сидит в темной комнате и старается не думать о прошлом, томилась воспоминаниями...» и т. д. В «Степи» таких сравнений, непривычных, и потому свежих и резких, особенно много, — ведь в этой-то вещи Чехов как раз напряженно искал новых форм. «Вся степь пряталась во мгле, как дети Мойсея Мойсенча под одеялом». Или: «Налево, как-будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная, фосфорическая полоска и потухла.

Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо», и т. д. В 1890 г., с пути на Сахалин, он пишет к сестре: «Очень красивы буксирные пароходы, тащащие за собою по 4—5 барж; похоже на то, как-будто молодой изящный интеллигент хочет бежать, а его за фалды держат жена-кувалда, теща, свояченица и бабушка жены». В повести «Моя жизнь» Маша Должикова, культурная и образованная женщина, в натуре которой есть что-то «ямщицкое», поет романс Чайковского «Ночь». «У нее, — замечает герой, от имени которого ведется рассказ, — был хороший, сочный, сильный голос, и пока она пела, мне казалось, что я ем спелую, сладкую, душистую дыню». Здесь в предмете сравнения есть не только острая свежесть и простота, но и тонкий штрих на «ямщицкой» стихии Машки Должиковой.

Определения Чехова — того же свойства, что и сравнения: и просты и внезапны. На изображении молнии в художественной литературе налипло особенно много всяческой «красивости», и потому Чехов скажет о ней так: «Над головами спутников сверкает молния сажени в две длины» — и только. Ему нужно дать определение ощущения озябшего, но согревающегося тела, и он пишет: «мальчики чувствовали, как в их озябших телах, не желая уступать друг другу, щеботались тепло и мороз». Кстати, самая игривость этого определения особенно уместна в изображении детских фигурок.

Старинные подробно-мелочные и строго-последовательные описания Чехов решительно отвергает, как и экскурсы в прошлое своих героев. Он и событие, и человека, и пейзаж старается своим описанием как бы захватить врасплох, осветить мгновенной вспышкой резкого света. Вместо длинного описания наружности чиновника в «Анне на шее», он ограничится тем, что щеки его сравнит с желе, а подбородок — с пяткой. И это не случайность, даже не природное свойство Чехова, — это принцип, диктуемый преодолением устарелых форм. Вспомни-

те его известные размышления о приемах изображения луны (луна — тоже не случайно выбрана Чеховым для примера: это — один из наиболее частых объектов шаблонного описания). Еще в 1886 г. он писал к брату Александру: «У тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатила шаром черная тень собаки или волка». Этот прием он и употребил в рассказе «Волк», напечатанном в том же 1886 г. Мы читаем здесь: «На плотине, залитой лунным светом, не было ни кусочка тени; на середине ее блестело звездой горлышко от разбитой бутылки... Вдруг Нилу вы показалось, что на том берегу, повыше кустов ивняка, что-то похожее на тень прокатилось черным шаром». Но и этого недостаточно. Насколько важное значение придавал Чехов этому приему, видно из того, что десять лет спустя в «Чайке» этот осколок стекла снова появляется и именно в качестве иллюстрации определенного литературного приема. Здесь Треплев, ищущий новых форм искусства, исправляя свое сочинение, огорченно жалуется: «Описание лунного вечера длинно и изысканно. Тригорин выработал себе приемы, ему легко... У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса — вот и лунная ночь готова, а у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе...»

Насколько в природе чеховских приемов велика роль отталкивания от устарелых форм, можно видеть из длинного ряда самых разнообразных явлений его стиля. Коснусь лишь немногих из них.

В 1888 г. в рассказе «Именины» Чехов, описывая, как накапливается у героини рассказа раздражение против мужа, отметил: «ей были противны его красота, которая нравилась всем, затылок, его поза». Плещеву в письме указал Чехову, что это место напоминает те строки в «Анне Карениной», где Анна, после знакомства с Вронским и возвращения домой, вдруг замечает, что у ее мужа неприятные уши. Чехов

отвечает Плещеву: «Насчет затылка вы правы. Я это чувствовал, когда писал, но отказаться от затылка, который я наблюдал, не хватило мужества: жалко было». Так этот затылок и остался. Но вот в «Дуэли», т. е. три года спустя, Чехов опять испытал стремление прибегнуть к этому психологическому штриху: герою, под влиянием раздражения против жены, начинает в ней по-новому не нравиться то или другое, на что прежде он не обращал внимания. Как же быть? Чехов прибегает к поразительно остроумному приему саморазоблачения, но не от своего имени, а от имени героя: «На этот раз, — пишет он, — Лаевскому больше всего не понравилось у Надежды Федоровны ее белая, открытая шея и завитушки волос на затылке, и он вспомнил, что Анне Карениной, когда она разлюбила мужа, не нравились прежде всего его уши, и подумал: «как это верно! как верно!» Так своеобразно освежал старые приемы Чехов.

В одном случае Чехов, желая употребить ходячее сравнение, обезвреживает его устарелость приемом, сходным с тем, к какому прибегнул Пушкин в «Евгении Онегине», идя навстречу читателю, ожидающему на слово «морозы» привычную рифму на «розы» («Читатель ждет уж рифмы — розы; на вот возьми ее скорей!»). В «Острове Сахалине» мы читаем: «Если художнику-пейзажисту случится быть на Сахалине, то рекомендую его вниманию арковскую долину. Это место, помимо красоты положения, чрезвычайно богато красками, так что трудно обойтись без устаревшего сравнения с пестрым ковром или калейдоскопом». Чехов оговорил устарелость сравнения и весь прием кажется от этого свежим.

Вот еще аналогичные случаи. Часто, употребляя ходячую поговорку или популярную литературную цитату, Чехов освежает их путем сокращения. Например, в «Тоске» он вместо «с чувством, с толком, с расстановкой» употребляет урезанное: «с толком, с расстановкой». В «Острове Сахалине» читаем: «на Сахалине такого щеголя и с огнем не сыщешь» (а не «днем с огнем не сыщешь»), и т. д.

Или: в письмах Чехов именуется своих адресатов обычно по имени и полному отчеству, но в рассказах, называя по имени и отчеству своих персонажей, он почти всегда пишет отчество в усеченной форме: Иван Андреич Лаевский, Иван Дмитрич Громов, Андрей Ефимыч Рагин (а не Андреевич, Дмитриевич, Ефимович) и т. д., — так и проще и свежее.

Иногда Чехов поступает как-будто наперекор своим же советам, или на расстоянии нескольких лет дает советы противоположного свойства. Но вздумайтесь в конкретные обстоятельства подобных случаев и вы увидите, что эти несообразности вытекают только из перемены обстоятельств. Например, выше мы цитировали письмо Чехова с советами избегать «возвышенных девиц, добродушных нянь» и т. п. банальных фигур. Но вот смотрите: в «Дяде Ване» есть старая добродушная няня, в «Трех сестрах» — также, в «Вишневом саде» их аналог — Фирс. Как это объяснить?

Очень просто: такие фигуры были у же привычно-шаблонны, но еще в ходу, когда Чехов давал свой совет их избегать, это было в 1889 г., когда тургеневская поэтика и тургеневская традиция, — где подобным няням такой простор, — были еще сильны. А когда от них отвыкли, то и няни перестали быть одиозны, и их стало возможно допустить в литературу. В «Лешем», где налицо (да еще с прибавкой) все персонажи «Дяди Вани», няни нет, а в «Дяде Ване» она появляется, потому что первая пьеса написана в 1889 г., а вторая — в 1897 г.

Точно то же и с некоторыми композиционными приемами Чехова. Плавное «тургеневское» неторопливое «вступление» с экскурсами в прошлое героев он решительно отбросил, знакомя читателя с своими персонажами буквально на ходу и на полуслове. Но вот поле битвы завоевано новой поэтикой, тургеневская традиция позабыта, и Чехов в «Палате № 6» находит возможным применить и типично-тургеневский обзор прошлой жизни героев, и их подробную психологическую характеристику, и неторопливое нача-

ло, а в последнем даже и это характерное старо-литературное предложение к читателю, — точно к живому собеседнику, пройтись вместе с автором по месту действия: «Если вы не боитесь ожечься о крапиву (не хватает только: «любезный читатель»), то пойдемте по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри»... и т. д. Так прочно позабыт этот прием, что покажется читателю, пожалуй, даже особенно оригинальным и свежим!

Кто из читателей не помнит приемов антропоморфизма у Чехова при описании явлений природы, — одинокий тополь-красавец в «Степи» и т. п. В творчестве Чехова второй половины 80-х годов этот прием встречается весьма часто. Несомненно Чехов прибегал к нему не случайно, не по традиции, а вполне обдуманно. Так, он писал к брату Александру в 1886 г.: «Природа является одушевленной, если ты не брезгуешь употреблять сравнения явлений ее с человек. действиями». Но вот проходит время, с легкой руки Чехова прием этот все чаще и чаще практикуют его современники, и тогда все реже и реже обращается к нему сам Чехов: прием у него на глазах штампуется и утрачивает свежесть... Наконец, в 1899 г., в письме к Горькому, давая отзыв о вещах последнего, Чехов замечает: «Описания природы художественны; Вы настоящий пейзажист. Только частое уподобление человеку (антропоморфизм), когда море дышит, небо глядит, степь нежится, природа шепчет, говорит, грустит, и т. п. — такие уподобления делают описания несколько однотонными, иногда слащавыми, иногда не ясными». Примеров подобного рода изошренной чуткости Чехова к обветшанию стилистических и композиционных приемов — немало. Как только менялись условия — менялись и приемы.

Не так давно были опубликованы письма Чехова к жене. Разумеется, подробный анализ этих интимных документов пока еще был бы преждевременен, но, не выходя из строгих рамок скромной осторожности, уж и сейчас можно утверждать, что эти письма в

такой же мере освежают поэтику (какую древнюю и какую опасную в отношении шаблона!) эпистолярной интимности, как рассказы и пьесы Чехова обновили поэтику художественного и драматургического творчества. Какое поразительное умение избежать банальности, какое органическое тяготение к острой, «внезапной» простоте, какая смелость в упрощении стиля, какое неуловимое сочетание нежности с «неуклюжестью», как выражался сам Чехов, т. е. с чем-то противоположным зализанности! «Моя лошадка», «собака» «моя рыжая собака», — вот те эпитеты, которые заменяют Чехову обычные затертые ласкательные слова. Или вот такая форма ласки: «Крепко тебя целую, хотя повидимому это тебе уже надоело. Или не надоело? В таком случае обнимаю тебя крепко, держу так, обнявши, 20 минут, и целую накрепчайшим образом».

Лаконизм Чехова точно так же продиктован ему борьбой с шаблоном, как и простота. Он не признавал длинных пояснений читателю, что составляло отличительную черту предшествующей фазы литературной формы, вообще он предполагал в своем читателе не пассивное восприятие художественного образа, но активное сотрудничество в его создании. В 1891 г. он писал к Суворину, критикуя пьесу последнего: «Горничную вон, вон! Появление ее не реально, потому что случайно и тоже требует пояснений; оно осложняет и без того сложную фабулу; а главное, оно расхолаживает. Бросьте ее! И для чего объяснять публике? Ее нужно шиповать и больше ничего, она заинтересуется и лишней раз задумается».

В этих немногих словах — ключ к одной из важнейших сторон поэтики чеховского творчества: не разъяснять, как делала старая литература, а сообщать толчки мысли и воображению читателя и зрителя. Отсюда стремление, — с течением времени все более и более упорное, — к предельной краткости. Вычеркивать — вот что становится девизом Чехова. И здесь он тоже вырабатывает определенные приемы, из коих главный — расстановка вех по дороге описания с уничтожением промежуточного между

вехами пространства: это пространство и должен заполнить сам читатель. Посмотрите, например, как Чехов изменяет этот прием в «Ионыче».

Это рассказ о том, как молодой земский врач, идеалистически и романтически настроенный Старцев, постепенно затягивается в тину провинциального болота, опускается и превращается в «Ионыча». Это процесс многолетний, многофазный, по существу своему, казалось бы, требующий многотомного нагромождения этих мелких и незаметных признаков перерождения человеческой психики, как, например, в «Обломове». У Чехова это сделано с покоряющей убедительностью и осязательной ясностью менее чем на печатном листе посредством удивительной расстановки вех. Эти последние идут в рассказе по разным, перекрещивающимся направлениям: вехи на пути житейской карьеры доктора; вехи на пути эволюции его вкусов; вехи на жизненном пути тех лиц, которые образуют его среду, и т. д. Вот, например, пункты, которыми обозначено карьерное преуспешие Старцева:

1. «Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и кстати купить себе кое-что. Он шел пешком не спеша (своих лошадей у него еще не было¹), и все время напевал: «Когда еще я не пил слез из чаши бытия...»

Проходит больше года. Как жил это время Старцев, автор не рассказывает, но как бы вскользь сообщает:

2. «У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке».

Проходит еще четыре года. И новая веха вместо описания, чем были заполнены эти годы:

3. «В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками».

Еще несколько лет — и последняя фаза с последней вехой:

¹) Здесь и далее подчеркнуто нами — А. Д.

4. «Старцев еще больше пополнил, ожирел, тяжело дышит и уже ходит откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками, и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком сидит на козлах, протянув вперед прямые точно деревянные руки, и кричит встречным «Прррава держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог».

Почти все изложение истории карьеры Старцева заменено четырьмя последовательными моментами его «способов передвижения», но никто не пожалуется, что картина не ясна. И точно то же мы находим и по другим линиям рассказа. Ограничимся лишь одной такой и при том — крайне короткой линией. Чехову нужно изобразить семью Туркиных, слышную в городе за «самую образованную и талантливую». Бегло набрасывая штрихи пошлого манерничанья, каким глава семьи занимает гостей, Чехов между прочим изображает такую сценку: «Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, стриженный, с полными щеками.

— А ну-ка, Пава, изобрази! — сказал ему Иван Петрович (Туркин, глава образованной и талаптливей семьи).

Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном:

— Умри, несчастная!

И все захохотали.

«Занятно» — подумал Старцев, выходя на улицу».

Проходит несколько лет. Старцев снова у Туркиных в доме, опять манерничает глава семьи и опять, как некогда, провожая гостя, «А ну-ка, изобрази! — сказал он, обращаясь в передней к Паве. Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, стал в позу, поднял вверх руку и сказал трагическим голосом:

— Умри, несчастная!

На этот раз выходка уже раздражает Старцева, и он размышляет о том, «что если самые талантливые люди во

всем городе так бездарны, то каков же должен быть город».

Такого рода заменой подробных описаний опорными точками для читательского воображения Чехов достигал и эмоциональной насыщенности своих вещей (ибо в работу создания образа вовлекался читатель, из пассивного гурмана обращаясь в активного сотрудника) и предельной краткости их, которая с течением времени становилась в глазах Чехова синонимом талантливости: он так и говорил, — писать кратко, т. е. талантливо.

К той же категории борьбы с шаблоном должны быть отнесены и некоторые приемы чеховских контрастов. В частных письмах он порой пародировал слишком пышные выражения и возгласы тех или иных литературных героев, в которых ему чувствовался устаревший штамп (напр., тургеневского Инсарова). Всем известно, как жестоко нетерпим был он к парадному и условному стилю красноречия, к юбилейным, похоронным и т. п. речам, никогда не свободным от банальности и цветистости. И он чувствовал, что опасность штампа подстерегает писателя больше всего на путях описания сильных чувств, мощных явлений природы, глубоких душевных волнений и т. п.

И тут у Чехова были выработаны точные приемы борьбы с опасностью. Во-первых, — чем серьезнее, глубже, величественнее предмет описания, тем проще должен быть стиль его. Во-вторых, если уж необходимо прибегнуть к сильным эпитетам, к торжественному стилю, — то следует тут же и внезапно его снизить. Идеалом чеховского описания было, как известно, то, какое он вычитал в ученической тетрадке: «море было большое». Но ведь он-то знал, что, как это ни хорошо, но этим не ограничишься, и старался снизить тон чрезмерно важного описания до степени стихийной простоты «море было большое» путем «удара» по торжественному стилю.

Вот в «Ариадне» герой рассказывает о своей сумасшедшей любви к поразительно красивой женщине, — тема самая скользкая для повышенного стиля. Он и начинает в этом стиле: «По край-

ней мере, с месяц я был как сумасшедший, испытывая один восторг. Держать в объятиях молодое, прекрасное тело, наслаждаться им, чувствовать всякий раз, пробудившись от сна, ее теплоту и вспоминать, что она тут, она, моя Ариадна, — о, к этому не легко привыкнуть! (кульминация повышенного стиля). Но я все-таки привык... Тут сразу два приема: и «удар» по стилю, внезапное снижение, и пропуск промежуточного описания, пустота между двумя вехами.

В «Дяде Ване» Астров воодушевленно развивает перед Еленой Андреевнй свои взгляды на облагораживающее влияние природы, его стиль все более и более повышается. «Когда я сажаю березку и потом вижу, как она зеленеет и качается от ветра, душа моя наполняется гордостью, и я... (кульминация повышенного стиля) (увидев работника, который принес на подносе рюмку водки). Однако... (пьет) мне пора. Все это, вероятно, чудачество, в конце концов».

В «Острове Сахалине»: «От моря залив отделяется узкою длинною песчаною косой дюнного происхождения, а за этой косой беспредельно, на тысячи верст раскинулось угрюмое злое море». Стиль начинает становиться торжественным, и Чехов внезапно добавляет: «Когда с мальчика, начитавшегося Майн-Рида, падает ночью одеяло, он зябнет, и тогда ему снится именно такое море». Прервав таким образом напряженность возвышенности, Чехов уже безбоязненно продолжает описание в прежнем стиле, потому что цель достигнута: он напомнил читателю, что как ни описывай, главное это то, что «море было большое».

Чрезвычайно характерен для этого приема конец рассказа «Случай из практики». Врач, приехав к больной фабрикантше, переживает, благодаря целому ряду обстоятельств, очень глубокое настроение, насыщенное сильным социальным чувством. Рано утром он уезжает. «Было слышно, как пели жаворонки, как звонили в церкви. Окна в фабричных корпусах весело сияли и, проезжая через двор и потом по дороге к станции, Королев уже не помнил ни о рабочих, ни о свайных постройках,

ни о дьяволе, а думал о том времени, быть может, уже близком, когда жизнь будет такою же светлою и радостной, как это тихое воскресное утро».

Казалось бы, что и логически, и психологически, и даже ритмически здесь и следует поставить точку: все сказано, сделана типичная «концовка». Но в том-то и дело, что она чересчур «типична», что она звучит немного «под занавес», что она чрезмерно возвышенна, и Чехов, поставив вместо точки — точку с запятой, приписывает, явно «приписывает», две простенькие «снижающие» строчки: «и думал о том, как это приятно в такое утро, весной, ехать на тройке, в хорошей коляске и греться на солнышке».

Наблюдая приемы снижения стиля у Чехова, необходимо помнить одно: снижая и упрощая форму, он не снижал глубины замысла. Путем упорного труда он выработал чудесный дар говорить совершенно просто, совершенно ясно — о самом глубоко, самом таинственном, — как раз вразрез с начавшей в 90-х годах забирать власть манерой символистов говорить таинственно и глубокомысленно порой о сущих пустяках. Это была тоже борьба с укоренившимся дягилевско-философско-философствующим штампом, когда даже газетные репортеры пытались придавать своим заметкам оттонок мистической таинственности, когда простая манера представлялась уже «липовым чаем», как назвал Д. Философов творчество Чехова.

Кажется, ни в одной особенности чеховского стиля с такою наглядностью не сочеталось его стремление побороть шаблон с его уменьем свежо воспринять явление, как в передаче звукопображений. Ведь и в обиходной речи и в художественной литературе существуют десятки узаконенных форм передачи тех или иных звучаний природы или смеха, или собачьего лая, — их применение совершается по большей части автоматически, без попытки проверить правильность и выразительность этих фонограмм. Чехов такую проверку произвел с присущей ему изощренностью самостоятельного восприятия и со свойственным ему стремлением избегать торных дорожек стиля.

Первые проявления его новаторства в данной области восходят к самым ранним годам творчества. В его очерке 1881 г. «Извлечение из путевого журнала» мы находим такую передачу стука вагонов и паровозного свиста: «Что-то будет, что-то будет!» — стучат дрожащие от старости лет вагоны. «Огого-гого-о-о!» — подхватывает локомотив...» Это и выразительно, и уместно в рассказе, изображающем жуткое ощущение пассажиров, и симптоматично для будущей манеры Чехова, но здесь еще нет отталкивания от ходячей формы, потому что самый воспроизводимый звук еще не «запротоколирован» в художественной литературе. Приблизительно то же можно сказать и о передаче скрипа блоков в паровой лебедке (рассказ «Утопленник» 1885 г.) звуком «тирли... тирли...». Но вот уже в рассказе «Агафья» (1886 г.) мы встречаем подлинное новаторство в данной области с явными признаками старания не повторять шаблонов: «ночная птица протяжно и лениво произносила в роще длинный членораздельный звук, похожий на фразу: «Ты Ники-ту видел?» и тотчас же отвечала сама себе: «Видел! видел! видел!», и это открывает ряд удивительных чеховских звукоподражаний, в которых мы встречаем своих старых, наскучивших знакомцев свежими, преображенными до неузнаваемости и потому поновому выразительными.

Вот, например, изображение звуков непонятной инородческой речи. В «Степи» Егорушка присутствует при разговоре еврея Мойсея Мойсенча с женой. Вспомним, как привычно-пошло и в то же время совершенно бесхарактерно передавались звуки еврейской речи в старой русской литературе. У Чехова получилась полная жизни и экспрессии сценка только из двух звуков: «Мойсей Мойсенч говорил вполголоса, низким баском, и в общем его еврейская речь походила на непрерывное «гал-гал-гал-гал...», а жена отвечала ему тонким индюшечьим голоском, и у нее выходило что-то в роде «ту-ту-ту-ту...»

— Гал-гал-гал-гал... — говорил Мойсей Мойсенч.

— Ту-ту-ту-ту... — отвечала ему еврейка.

Совещание кончилось... и т. д.

Как характерна для Чехова эта попытка индивидуализировать и дифференцировать восприятие, и какой интересный результат: ведь у читателя и впрямь получается впечатление не простого набора звуков, а «беседы», «совещания!»

В «Попрыгунье» храпенье доктора Коростелева передано так: «кхипуа... кхи-пуа». В «Учителе словесности» «маленькая облезлая собаченка с мохнатою мордой, злая и избалованная» Мушка ненавидит учителя Никитина; «увидев его, она всякий раз склоняла голову на бок, скалила зубы и начинала «ррр... нга-нга-нга-нга... ррр...» В «Белолобом» щенок «протянул вперед широкие лапы, положил на них морду и начал: «мня, мня... нга-нга-нга!» Как далеки эти живые фонетические рисунки от штампованного «гав-гав!» В «Дуэли» «волны тяжело ударялись о берег и точно вздыхали: уф!» В «Убийстве», где колорит рассказа угрюм и суров, этот звук передан уже иначе: «направо была сплошная, беспросветная тьма, в которой стонало море, издавая протяжный, однообразный звук: «а... а... а... а...» В повести «Три года» приказчики поздравляют Лаптева «с законным браком», «оттого, что почти через каждые два слова они употребляли «с», их поздравления, произносимые скороговоркой, например, фразой: «желаю вам-с всего хорошего-с» слышалась так, будто кто хлыстом бил по воздуху—«жвыссс». Звук, издаваемый колотушкой ночного сторожа, Чехов передает не обычным «тут-тук», а «тик-ток, тик-ток...» («Невеста»). Крик лягушки у него не «ква-ква», а «И ты такова! И ты такова» («В овраге»). Особенно разнообразна у Чехова передача металлического звука. В «Новой даче» строят где-то мост «и днем иногда слышался печальный металлический звук: дон... дон... дон...» В «Мужиках» изображены звуки набата: «около избы десятского забили в чугунную доску. Бем, бем, бем... понеслось по воздуху... В одном «Случае из практики» целая гамма таких звуков: «Около одного из корпусов кто-то бил в металлическую доску, бил и тотчас же задерживал звук, так что получились короткие, резкие, нечистые звуки,

похожие на «дер... дер... дер...» Затем полминуты тишины, и у другого корпуса, уже более низкие, басовые — «дрын... дрын... дрын...» Послышалось около третьего корпуса: «жак... жак... жак...» И так около всех корпусов...»

Выражение «стиль, — это сам человек» — очень широко распространено, часто употребляется в критической литературе, но за редкими исключениями ему придается характер лишь ни к чему не обязывающего афоризма. Между тем, оно заключает в себе повелительную для исследователя мысль об органической и всесторонней связи писателя с его стилем, которую исследователь обязан вскрыть. Мы усиленно и пытались выше указать, как отразилась в стиле Чехова наиболее существенная, определяющая полоса в его биографии: вытеснение из себя по каплям раба.

Резюмируем все изложенное.

То сочетание предельной простоты с яркой и внезапной смелостью, которое составляет самую характерную черту чеховского стиля, является результатом не просто стихийной одаренности автора, но одаренности, сознательно, упорно и последовательно ищущей свежести в формах и стиле литературного творчества, ради этой свежести умыш-

ленно оттапливающейся от старых приемов и форм, от косности, от авторитетов. Девизом Чехова была новизна, — простота была лишь одним из орудий новизны.

Это главнейшее явление чеховского стиля восходит к его важнейшей биографической магистрали, и в этом смысле не в метафизическом, а в точном значении слова надобно признать, что стиль Чехова — это он сам.

Выжимание из себя по каплям раба, т. е. борьба с внутренним мешанином является в жизни Чехова процессом длительным, сложным и трудным. В соответствии с этим и выработка стиля, и преодоление старых форм и приемов представляют в творчестве Чехова процесс постепенный, медленно развивающийся и в сущности продолжавшийся всю жизнь.

Жизнь и творчество Чехова дают картину диалектического развития, т. е. преодоления навыков и психологии той среды, того класса, из которого Чехов вышел, отказ и оттапливания от тех литературных форм и приемов, какие господствовали в русской художественной литературе, когда Чехов выходил на поприще писателя.

2. ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

О ФАДЕЕВЕ

Вяч. Полонский

I

В литературном движении наших дней имя Фадеева одно из самых обещающих. От «Разлива», первой его повести, написанной в 1922—23 гг., до «Последнего из Удеге», — монументального романа, печатаемого ныне в «Октябре», — лежит путь борьбы упорной и вдумчивой, давшей право уже не прихотью поверхностной и дружеской критики, но действительными талантом и заслугами на серьезное внимание читателя. Шумный успех «Разгрома» внушал

опасения: сколько прославленных репутаций на наших глазах не выдержало испытания временем! «Последний из Удеге» позволяет думать, что опасения напрасны. Роман говорит о продолжающемся росте писателя, Фадеев неторопливо, но уверенно расширяет и углубляет свое художественное зрение, совершенствует приемы письма, обогащает свои изобразительные средства.

Правда, о новом романе нашего автора пространно говорить преждевременно. По крайней мере, о нем нельзя вынести окончательного суждения. Опубликована лишь первая часть. Но спокой-

ная сила, с какой развертывает автор повествование, величественный масштаб картины, обилие персонажей, не изменяющий ему углубленный психологизм и, наконец, чисто живописные успехи,—все это позволяет без тревоги ждать продолжения романа. У Фадеева есть черта, отличающая его от многих наших беллетристов-современников: он крепок. Если это литературный калиф, — калифа его вряд ли ограничится одним часом.

Подкупает читателя особенность Фадеева: он не спешит. О, это не простое свойство, неторопливость — в наше стремительное время, сегодня венчающее славою, завтра низвергающее в небытие. Неторопливость говорит о выдержке, о чувстве такта, о неутерянной — такой необходимой писателю — способности критической самооценки. Она говорит о воле, успешно сопротивляющейся рынку, требовательному и ненасытному. Жадные руки рынка — предательские руки. Сколько талантов они заласкали, развратили, чтобы выбросить затем в корзину истории. Фадеев не поддается соблазну, и это радует. Это писатель скупой, — творческая продукция его невелика. Писатель модный — он не увлечен модой. В Фадееве есть постоянство, упор, твердая установка. Он не изменяет ранее поставленной цели, идет к ней, не уклоняясь в стороны. Отсюда кажущееся на первый взгляд однообразие его вещей. Но это однообразие не от слабости, а от силы. У него есть свое, продуманное отношение к миру и к своим задачам. У него свой материал и свои герои. В первых вещах и в новом романе перед нами пролетарская революция и рост в ней человека, становление революционной человеческой личности.

II

В «Последнем из Удеге» — тот же дальний север, та же дикая природа, что и в первых его вещах. Но как усложнен и обогащен здесь материал, взятый в том же географическом окружении. В первой части романа Фадеев показывает нам пробуждение к борьбе за жизнь заброшенного и погибающего

народца. Быт Удеге, обычаи, душевный склад дикого племени показаны с большой реалистической силой, с почти научной точностью. Этот выбор материала, представляющего автору огромные трудности, с новой стороны положительно говорит о Фадееве. Задача, им поставленная, требует прежде всего большого и глубокого, в полном смысле слова научного изучения материала, исследования его с разных точек зрения. Необходимо тончайшее знание обычаев, деталей быта, особенностей природы и взаимоотношений с нею человека, местных красок, способа мыслить, — без такого знания никакой талант не справится с задачей. Нужно иметь изуродованное представление об искусстве, чтобы утверждать, будто художественная проза является «выдумкой», «сочинением», единственно основанным на прихотливой фантазии, не питающимся ничем, кроме собственного воображения. Реалистический роман требует реального знания действительности, не уступающего знанию научному; лишь оформляется это знание с помощью художественных средств. И вот — это самая большая похвала, которую можно сказать сейчас Фадееву по поводу первой части его нового романа, — «Последний из Удеге» показан с таким пониманием местного колорита, бытовых тонкостей, психологических особенностей, с тем чувством ощущения конкретной действительности, какие даются только подлинным знанием. Здесь художественный талант и научное усвоение материала соединились вместе. А это еще раз говорит о том, какую крупную и серьезную силу имеет наша литература в Фадееве. Отсюда, очевидно, и неторопливость его, неторопливость крепкой воли, преодолевающей большие препятствия. Нигде больше, чем в искусстве, не имеет силы афоризм: «поспешишь — людей насмешишь».

«Последний из Удеге» показывает рост Фадеева как мастера. Эту вещь просто даже рядом нельзя поставить с первыми вещами его, — так они различны по размаху, по приемам, по выразительности. В новом романе перед нами развертывается широкая картина с богатым количеством персона-

жей, сложной канвой мотивов личных и общественных, с назревающей, еще не показанной, но уже предчувствуемой революционной борьбой. Психологический прием показа человека, искусное умение лепить индивидуальный, т. е. неповторимый, живой человеческий облик, внимание к мелочам, к движениям души и к внешним повадкам, дающим ощущение плоти, — все это налицо в новом произведении Фадеева. Количественное многообразие персонажей говорит о большом качестве работы. Умение показать внутренний мир подростка-романтика, мечтающего о подвигах, со сложной гаммой разнородных чувств, с восторгом, жалостью и любовью, и рядом с ним бедный и тесный мир крестьянина-бедняка, жалко запутавшегося в нужде, грязи и темноте, просыпающееся бессознательное какое-то физиологическое бунтарство шахтеров, и примитивный, одновременно детски-наивный и старчески-мудрый, мир удегейцев, очаровательное инстинктивное кокетство девочки-подростка и просыпающаяся чувственность в мальчике, — все это по-настоящему радует в новом романе Фадеева. В многообразии красок, в мягкости и уверенности руки, в неподдельности внешних изображений и душевных движений видишь завоевания писателя, подлинные победы. Созерцание настоящих произведений искусства сопровождается чувством радости, эмоциональным возбуждением, кипением сердца. Заинтересованность судьбой персонажей, симпатия к одним, ненависть к другим, психологическое сопереживание, глубочайшая заинтересованность каждым их шагом, — все это составляет ту чувственную атмосферу, которая обуславливает и обеспечивает интеллектуальное воздействие художественного произведения. Без такой эмоциональной насыщенности нет искусства. Остается великолепная техника, изобразительство, конструктивистское остроумие, формальная изощренность, которым недостает живого биения сердца, малозаметных, на первый взгляд, красок, каких-то нежнейших бликов, отличающих художественный образ от искусной подделки. «Телевизор» может ходить, выполнять рабо-

ту, даже произносить речи, — он не сможет только любить, ненавидеть, мыслить, сомневаться, дышать живой жизнью, бороться. Таких механических людей, заряженных энергией, немало дала наша молодая литература. Но пугающее бездушие их и было причиной комического спора о так называемом «живом человеке». Нашлись критики, которые серьезнейше доказывали необходимость создания именно «живого» человека, как-будто искусство когда-нибудь ставило себе цель иную! Чужакам следовало бы поискать в настоящем искусстве человека «мертвого» или механического. Поскольку человек терял качество «живости», — постольку умирало «искусство». Дать человека в «искусстве» и означает ведь показать его в многообразии человеческого естества, с плотью и кровью, умом и сердцем, волей и чувствами, достоинствами и недостатками, с дисгармонией внутренней борьбы, в столкновении противоречий, в психологической сложности, неповторимости, единственности живого, а потому, что живого — классового лица. В этой особенности искусства и заключена сила, преодолевающая штамп и схему. Овладение этим секретом и обнаруживает себя «заразительностью». «Секретом» этим владеет Фадеев.

III

Новый роман отличается от «Разгрома» не только большим размахом и большей смелостью задачи. «Разгром» был, в сущности, психологически развернутым эпизодом. «Последний из Удеге» является первым произведением Фадеева, в котором эпизодичность преодолена. При этом автор не подавлен материалом, — уже и сейчас можно говорить, что ему не грозит опасность этнографизма и бытовизма. Сквозь обильный бытовой и этнографический материал, развертываемый в нескольких параллельных планах и пересекаемый линиями личных историй, вырастают мотивы, скрепляющие все повествование и дающие ему глубокое психологическое и философское обоснование. Мотивы эти обнаруживаются пока в личном разви-

тии Сережи, в его исканиях оправдания жизни, большого смысла, «самого главного», который должен «вот-вот открыться», но не открывается, предчувствуется, тревожит, но исчезает, подогревая новые поиски.

Этому юноше, захваченному революцией, предстоит играть в романе, вероятно, одну из главных ролей. Перед нами романтически настроенный подросток. Он радуется природе, ищет правды и подвигов, еще не понимает себя и не понимает жизни, но уже проявляет волю к борьбе и к настоящему познанию ее. Весь он в книжной романтике, ему мерещатся герои, вычитанные из Майн-Рида или Кутлера, но он окунается в трепетную жизнь, его окружают живые люди, течет кровь, льются слезы, сталкиваются подлинные страсти, закипает настоящая борьба, — в этом потоке людей и дел формируется его мир. Он начинает опущать ложь своих индивидуалистических стремлений, своей жажды быть лично счастливым, выделяться среди людей, прославиться. Но вместе с тем он чувствует, что без этого нельзя жить. «Чем же тогда жить?» — спрашивает он себя. В дальнейших частях романа Фадеев покажет нам его духовный рост. Путь Сережи, нам думается, лежит от буржуазного индивидуализма к пролетарскому сознанию, из скорлупы изолированной личности — к коллективу и коллективной борьбе. Перед нами проблема личного и общественного, важнейшая проблема нашего времени.

Столь же возбуждает внимание Сарл — удегеец, преобразователь, революционер. В нем горит благородная потребность спасти народ свой от гибели, разбудить от спячки, вдохнуть волю к борьбе. И этот — труднейший — образ удался Фадееву. Детскость и суровость, хитрость, воля и душевная мягкость, открытость души и способность притворяться, целый ряд метко схваченных колоритных черточек, наконец, диалект — русско-китайский — делают живой фигуру вождя удегейцев.

Запоминаются отдельные фигуры партизан, рудокопов и крестьян, их человеческие черты, грубость и про-

стодушие, жестокость и беззлобие, инстинктивная революционность и крестьянская привязанность к вещам. Здесь, правда, мы не имеем пока ничего нового сравнительно с тем, что дал Фадеев в «Разгроме» и «Против течения». Но центр тяжести романа, думается, будет лежать уже не в показе партизанской стихии и ее вождей. Стихия эта играет здесь роль необходимого окружения, важной, но второстепенной части.

Необходимо отметить ещё особенность, отличающую «Последнего из Удеге» от прежних вещей Фадеева. В новом романе природа уже не фон, отдаленный в первых вещах и несколько приблизившийся в «Разгроме». Природа становится как бы одним из действующих лиц. Она вплотную приближена к читателю. В романе дышишь утренней прохладой, наблюдаешь восходящее солнце, видишь холодную росу и уходящий туман, ощущаешь яркую красочность ее, видишь и дикого зверя. Изображаемая бесстрастно в разных частях романа природа иногда показывается нам глазами Сережи, тогда пейзаж освещается светом человеческого восторга, человеческой способности радоваться. Это делает более глубоким весь колорит романа и насыщает его той эмоциональностью, которая с новой стороны показывает нам Фадеева-романиста. К «большущей любви к человеку», какая чувствуется в Фадееве, присоединяется «большущая любовь к природе».

IV

Уменьше показать «живого» человека далось Фадееву не сразу. В «Разливе», например, оно ему изменило. Повесть эта, представляющая теперь интерес исторический, свидетельствует, как начинал Фадеев. Здесь схема и штамп держат в плену писателя. Замысел обнажен, персонажи явно не выполняют задачи, какую возложил на них автор. Повесть композиционно беспомощна, — автор не овладел материалом, не сумел организовать его. Мелочи, детали, частности оказались неподчиненными общему плану, главной задаче.

Основная тема оказалась поэтому лишь намеченной. Классовая борьба в деревне показана в формах далеко не оригинальных и лишенных подлинной силы. Она осталась не развернутой и проходит стороной, оборванная разливом реки, который подоспел во-время, чтобы закончить не заканчивавшуюся повесть. Вместе с тем богатство мотивов, заключенных в «Разливе», говорит о широте невыполненного замысла. Автору недостаточно было показать столкновение старого с новым (постоянная тема его вещей). Этот лейтмотив он пытался окружить рядом других мотивов, столкновение которых должно было наполнить историю настоящей кровью и слезами, подлинным и многообразным дыханием жизни. Таковы личные романы Антона Дегтярева и Кани, Харитона и Марины, Неретина и Минаевой. Но мотивы эти оказались объединенными механически, автору не хватило умения органически спаять материал, — потому-то повести, собственно, и не получилось. Тем не менее, и в этом сыром эпизоде уже намечены некоторые черты, характеризующие облик Фадеева как пролетарского художника.

Все, что написал до сих пор Фадеев, пронизано единством настроения. Природа восстает на человека. Старое сталкивается с новым, история раздирается классовой борьбой. Жизнь, это — борьба, и человек в жизни — боец. Он пришел в жизнь, чтобы победить, а побеждает — сильный и смелый. Революционер и является неизменным героем нашего автора.

В Фадееве можно заметить общее пристрастие к силе, к природной мощи человека. С любовью отмечает он ее проявления и не однажды воспевает он кровь, которая бурлит, кипит и пенится, и здоровый хохот, и крепкие мышцы, и мощные, рабочие мозолистые ладони. С особенной охотой выписывает он людей, от которых веет «ядреной крепостью молодых ясеней». В «Разливе» весь мир как бы поделится на сильных, веселых и смелых, и на прочих, при чем разделение это (такова схема) совпадало с делением социально-политическим. Революционеры, те,

что за новое, — здоровы, крепки, жизне-радостны. Те же, что за старину, — более чем неприглядны. Само собой разумеется, преднамеренность автора должна была перегрузить центральный образ повести. Молодой Неретин, призванный играть главную роль в этом произведении, оказался наиболее бледным, начиненным мудростью, идущей от книги, а не от жизни.

Неретин — первоначальный набросок образа, позднее выросшего в Левинсона. Большевик, в сознании которого «личное» неотделимо от «общественного», «общественное» и есть «личное», как центральная фигура проходит с первого произведения Фадеева до последнего. Неудача этого образа в «Разливе» объясняется всецело неопытностью автора. «Общественное» миросозерцание Неретина введено в повесть извне, с помощью книги и газеты, не от подлинных столкновений с действительностью, а от литературы, — прием, о бессилности которого не стоит даже говорить. Столь же «литературны» разговоры о мелкособственнической природе крестьянина. Природа крестьянина действительно такова. Но ведь искусство требует не «рассказа» об этой природе, а «показа» ее.

Неудача не приходит одна. Не справившись с материалом, Фадеев не овладел в «Разливе» и языком. Тяжеловатое изложение иногда прерывается сказом — моменты лирического напряжения не находили иного оформления; врываясь же в инородную ткань повести, сказ не имел стилистического оправдания. Бросался в глаза также однообразный прием характеристики человека. «Был он узкий, светложелтый и сечный». «Были у почтара черные от спелой черемухи губы». «Был он сухой и строгий». «Был он» — назойливо проходит по повести. Иногда изложение становилось темным. «От того, что был он строг и уверен в себе, а воздух ленив и зноен, никто не знал, что нужно делать, и все молчали, пригибая к земле упрямые лбы». «Синие глаза его испепеляли липкую ночную полутьму» — звучало нехорошо, ибо тут испепелить нельзя даже в смыс-

ле метафорическом. «Река клохчет, как наседка» — плохо, ибо сравнение мельчит образ бурной многоводной реки, ломающей преграды. «Глазами он косил на Каню, а носом часто сморкался в изнанку подрясника». Сморкаться носом так же плохо, как, скажем, «облокотиться локтем» или «пригубить губами». Не была свободна повесть и от лягусов: «в знойном мареве плавали позолоченные купола деревенской церкви». «Знойное маревое» — поистерлось. Но суть в том, что деревенская церковь, да еще на крайнем севере, вряд ли могла иметь купола позолоченными. Это такая же ошибка, как если бы сказать, будто на фронтоне Большого театра — тройка людей.

Все это мелочь, конечно, но не случайно она засорила первое произведение Фадеева. С ростом мастерства вообще растет внимание к языку. Без этого внимания не может быть и мастерства. Таких недочетов мы не находим в позднейших вещах Фадеева¹).

V

Успехи Фадеева становятся заметными уже при сопоставлении «Разлива» со второй повестью его «Против течения». Перед нами та же тема борьбы старого с новым, поединок «неослабной воли» со стихией, но какая разница в уменьш отобразить существенное от незначительного, подчеркнуть главное, освободиться от лишнего.

Насколько неслаженность «Разлива» делала повесть рыхлой и малоубедительной, настолько сжатое повествование «Против течения» делало повесть стремительной и даже яркой. Образ «сильного человека», большевика, не удавшийся в «Разливе», получает здесь более удачное оформление. Суровая обстановка борьбы, где организованной, городской, пролетарской сти-

хии противопоставлена анархическая, крестьянская вольница, показана сдержанно и убедительно. Пафос повести — в неослабной воле, что двигает Собо-лем, Челноковым, Селезневым. Они показаны внешне, в действии, как бы с напряженной мускулатурой, в решимости идти «против течения» до конца, не сдаваясь. О внутреннем мире их читатель может догадываться по их внешней деятельности. Во внешности приема, с каким сделана повесть «Против течения», отличие ее от «Разлома». Здесь же причина ее сухости и схематизма, от которого не уберется автор. «Разлом» иначе, другими средствами, путем раскрытия внутреннего мира действующих лиц показывает то же преодоление препятствий, победу большевиков-организаторов над стихией, пытающейся подчинить себе или разбить суровую волю. Этот более глубокий подход обеспечил «Разлому» его художественные преимущества.

Для писателя другого склада, склонного к интеллигентской рефлексии, эпизод, положенный в основу «Против течения», послужил бы материалом для нудных размышлений в духе Мар-тына Баймакова из романа Бахметьева. Можно себе представить, какую томительную канитель затеял бы Баймаков, если бы ему пришлось в упор расстреливать отряд, лишенный начальника, состоящий из усталых, растерянных и обманутых людей. Но закон революции — высший закон. Ни сомнений, ни колебаний не было в Селезневе, когда он произносил: «пли». Перед нами не проблема для морализирования, для спора на раскольни-ковскую тему: имел он право убить или не имел? Здесь воля, которая не размышляет.

Но и эта повесть, подобно «Разливу», была этюдом. Ее смысл не в показе самого эпизода: гражданская война богата эпизодами более драматическими. Задачей автора был показ людей, делавших революцию. Но оказалось, что одними внешними средствами, без обнаружения их душевного мира, ограничиться нельзя. Преодолев композиционные недостатки первого своего произведения, Фадеев в «Про-

¹) В последнем, третьем, издании вещей Фадеева, которым я пользовался, указано, что произведения, вошедшие в него, просмотрены и переработаны. К сожалению, переработка «Разлива» ограничилась лишь разбивкой повести на главы. Это облегчает чтение, но, к сожалению, не устраняет недостатков, о которых говорилось выше.

тив течения» не сумел, однако, развернуть живого человеческого образа. Он дал не живописные портреты, но графический рисунок, силуэт. Герои повести заинтересовывают ум, оставляя холодным сердце,—если воспользоваться этими терминами для обозначения рассудочной и эмоциональной сторон человека. Повесть «Против течения», будучи раз прочитана, вряд ли будет перечитываться. Этого нельзя сказать о «Разгроме».

VI

В творческом пути его автора и в истории пролетарской литературы «Разгром» является значительнейшим достижением и вместе этапом развития. В пролетарской литературе Фадеев установил «рекорд», пока еще непреодоленный ни им самим, и никаким другим пролетарским писателем.

Фадееву, как и другим молодым, грозили две главные опасности: схема и штамп. В «Разливе» обе опасности давали себя знать. В «Против течения» схематизм еще бросался в глаза. Одно из больших и радующих достижений «Разгрома» заключается в дальнейшем преодолении этих опасностей. Все внимание автора, по мере роста его требований к своему мастерству, от эпизодичности событий, внешней их трактовки, от механического соединения отдельных личных историй,—передвинулось к раскрытию широкой и многообразной картины внутреннего мира его героев. Глубокий психологизм, которого лишены были первые его произведения, становится отличительной чертой «Разгрома». Вместе с тем выросли элементы живописи, изобразительные средства вообще. Рисунок, бывший графическим, приобрел краски, трехмерность, перспективу. В основе «Разгрома» эпизод,—также, как и в «Против течения»,—но как непохожа картина, развернутая здесь автором, как художественно ожил и вырос облик «большевика», намеченный в первых его вещах! Композиционная неуверенность сменилась твердой и сильной рукой: из повести, за малыми исключениями, нельзя ничего вынуть или передвинуть с одного

места на другое. Все части плотно прилажены и отшлифованы с завидной крепостью. Лейтмотив романа—прежний, но он обнаруживается не с помощью внедрения в ткань произведения разговоров о коммунизме, книжек, газет, заседаний и т. п. Герои не говорят о цели, ими двигающей, но идут к ней упорно, настойчиво, непрерывно.

Исключение представляет лишь глава «Груз». Разговорами «насчет мужика», которые ведут шахтеры, автор обнаруживает в них самих тяжелое «мужицкое» наследство. Прием, о слабости которого мы говорили выше. Он ненужен еще и потому, что «мужик» и без этих разговоров неплохо показан в Морозке, в Кубраке и других шахтерах. Эта рационалистическая глава звучит как комментарий. Она противоречит манере Фадеева показывать человека в действии и в переживаниях, где не остается места да и необходимости в авторских ремарках. Люди говорят сами за себя поступками, мыслями, чувствами. В «Разгроме» они захвачены борьбой, общественным делом, коллективной задачей—и это «общественное», переведенное в «личный» план, внедренное и в чувство и в рассудок, переплетается с навыками, взглядами, ухватками, воссанными с молоком матери. Эти живые внутренние противоречия героев «Разгрома» хорошо обнаруживаются Фадеевым на каждом шагу, и потому, что они обнаруживаются не в словах, а в делах, в живых столкновениях с действительностью, они убеждают. Одним из художественных достоинств манеры Фадеева и является это его умение показать внутреннюю противоречивость людей, душа которых вмещает борьбу старого и нового, общественного и личного, победу то одного, то другого начала. Переводя общественное в личный план, Фадеев показывает душевный мир персонажей, в котором общественное и есть личное. Борьба становится жизнью. Революция делается лирическим мотивом, сплетается с тончайшими переживаниями, входит в плоть и в кровь, пропитывает рассудок, чувство, захватывает человека без остатка, становится страстью. Даже любовные мотивы, занимающие по

традиции самостоятельное положение, — в «Разгроме» так вплетены в ткань произведения, что ощущаются как органическая часть, связанная с основным мотивом романа, так же точно, как, скажем, революционное честолюбие Метелицы, шахтерский патриотизм Дубова, юношеское героичество Бакланова. Именно поэтому революция могла послужить ценнейшим материалом для психологической картины. Но это не самодовлеющий психологизм, находящий удовлетворение в раскрытии внутреннего мира, в игре переживаний, в любовании их остротой и красотой. Это психологизм, непосредственно связанный с деятельностью, мотивировка, немисляемая без деятельности, не дополняющая, но раскрывающая ее подлинный смысл. Успехом своим «Разгром» обязан именно этой своей психологической стороне. Люди, чаще всего изображавшиеся приемами внешней характеристики, показаны в «Разгроме» с таким богатством и мягкостью душевных переживаний, с таким углубленным пониманием человека, связи воли с богатым чувственным своеобразием каждого лица, что значение «Разгрома», как произведения принципиального, психологического, неоспоримо. Психологический прием оказался наиболее соответствующим дарованию Фадеева. Его зависимость от Толстого, о которой мы будем говорить дальше, — не ослабляет непосредственного впечатления, оставляемого романом. Между «Разливом» и «Разгромом» — дистанция огромного размера. Чертежи и маски первых повестей сменились людьми, в подлинной живости которых сомнений нет. В искусстве есть какой-то мнимый очевидности, за которым смолкают споры. Такая очевидность имеется в «Разгроме». Пусть в приеме, каким сделаны Морозка, Метелица, Левинсон, Мечик и другие, чувствуется влияние — эти образы тем не менее волнуют, они возбуждают сочувствие, они живут, и в жилах их течет настоящая кровь. Такой эффект достигается настоящим искусством. Его обнаруживает Фадеев не только в обрисовке людей. После незабываемого «Холстомера» и даже купринского «Изумруда»

бедовый боевой Морозкин жеребчик Мишка — не новость, но ведь Мишка так же незабываем, как Холстомер и Изумруд. Есть, наконец, в романе облик поистине удивительный — шахтерка Варя. Автора упрекали за этот облик. Обвинительницы указывали на «низкий» характер Вари. Эти обвинения несправедливы. Автор, мне думается, и не намеревался дать примерную героиню. Дело не в том, соответствует или не соответствует Варя историческому образу революционерки-партизана. На такую роль Варя не претендует. Сила в том, что в «Разгроме»-то она живет, ее нельзя забыть, и судьба ее живо трогает читателя. Варю обвиняют в распустоте, но не замечают — странная вещь — ее целомудрия, ее душевной чистоты, как ни парадоксальным покажется это заявление суровым обвинительницам. У Вари есть большой порок: дефект воли. Она единственная, кроме Мечика, из крупных персонажей «Разгрома», в ком воля мягка, податлива, бескостна. Но это безволие гармонирует с ее добротой, с избытком дружеского участия, которым она дарит «братшек», с ее неудовлетворенным материнством, с ее жадной любви, которой жизнь дать ей не сумела. Я не знаю в современной литературе нашей другого образа женщины, в котором так мягко была бы обнаружена материнская способность любить, безвольная доброта и наивное, бергешное какое-то отношение к жизни. Вместе с тем это не отвлеченная «женщина», хотя «вечно-женственное» — дымчатые глаза, пушистые длинные косы (это в отряде-то!), теплые смуглые руки — в ней подчеркнуто. Варя — шахтерка с большими рабочими руками, с сутулой спиной, — «добрая и гулящая откатчица из шахты № 1»... Из всех обликов, созданных Фадеевым, — в облике Вари меньше других заметно какое бы то ни было влияние.

В этом облике обнаруживается черта, особенно любопытная в писателе, воспевавшем негнибаемую волю и суровую борьбу. В Фадеева чувствуется та самая «большущая любовь к людям», о которой он упоминает, говоря о Вале. О, разумеется, классовый враг —

есть враг. И нельзя в Фадееве найти «любовь» к врагу. Но та «любовь к людям», о которой мы говорим, есть особое отношение к человеку, без которого нельзя быть художником. Это — особая чуткость к человеческому естеству, внимательность к человеческой судьбе, интерес к тому, чем дышит человек. Ведь без такого отношения к человеку нельзя изобразить и врага. Он окажется схемой, марионеткой, куклой. У Фадеева такая «большущая любовь к человеку» есть. Оттого-то даже к Мечнику, показанному с презрительной правдивостью, даже к Мечнику Фадеев сумел подойти так, что в облике этого «истерзанного хлюпика» заблестали живые черты, спасшие его от схематизма. Эта особенность сообщает Фадееву зоркость и внимание к мелочам, подчеркивающим «человеческое» естество его персонажей. Он заботливо показывает нам детскость, почти ребяческую наивность Бакланова, отмечая его манеру мыть голову, пить молоко, молочный след на верхней губе. Он в Морозке, похабнике и матерщиннике, нашел тончайшую, грубовато-неловкую нежность в сцене примирения с Варей. Этим он вносит иногда в характеристики беззлобный, как бы подтрунивающий юмор и бросает мягкий свет на персонажи. Это, разумеется, гуманизм, но не сладенький, размягчающий волю, стирающий разницу между злым и добрым, сентиментальный и сюсюкающий. Это гуманизм, нужный нашему времени, суровый и нежный вместе, не отступающий перед жестокостью, когда нужно. Соединение суровости и мягкости характерно, напр., для Левинсона. Холодный, расчетливый и жестокий вожьд партизан, он глубоко внутри прячет нежность. И это не порок, воспитанный в нем мещанским его происхождением, но черта, повышающая его человеческую ценность. Даже в разговоре с Мечником, когда Левинсону открылось мелкое и дряблелое нутро этого случайного спутника революции, он испытывает «суровую и добрую жалость». Это согревает образ Левинсона и как бы облегчает ту общественную нагрузку, которая возложена на него автором: из всех образов,

созданных Фадеевым, — Левинсон самый трудный, потому что самый ответственный. Перед нами не случайный вожьд партизанского отряда, но образ, претендующий на некое обобщение — даже если бы этого не было в намерениях автора. В Левинсоне намечаются претензии быть литературным героем нашего времени.

В нем в самом деле имеются —юе-какие новые черты. Впрочем, черты эти отличают не одного Левинсона и не одних фадеевских персонажей. Об этих чертах можно говорить как о характере, диктуемом нашей эпохой. Это, в первую очередь, величайшая активность. Деятельность, борьба, строительство, — вот что привлекает внимание нашего писательства, близкого революции. Особенно ярко проявляется этот характер в произведениях Фадеева. Их пронизывает настроение величайшей активности. Симпатии автора постоянны и отчетливы. Неретин, Соболев, Селезнев, Челноков, Левинсон, Метелица, Гончаренко, Дубов, Сарл, Мартемьянов, непохожие один на другого, обладают общей чертой, делающей их людьми одного класса: они одержимы идеей непримиримой борьбы и победы. Пусть противное течение грозит смыть их, — они пойдут «против течения». Им угрожает индивидуальная гибель, — она не страшна: с их гибелью не погибает коллектив. Чувство класса, призывающего вести борьбу, нерассуждающее, не рассудочное, не рациональное, но коренящееся во всем существе человека, характерное для пролетарского революционера, — находит яркое выражение в героях Фадеева. Это именно обстоятельство и дает право Фадееву считать себя писателем пролетариата. Больше, чем в каком-нибудь другом произведении другого пролетарского писателя показана в «Разгроме» связанность с классом, ощущение класса, стоящего за спиной, дающего мощь и упорство. В «Разгроме» ни звука не произносят о коммунизме, о Третьем Интернационале, о рабочем, о революции, но на каждой странице — сквозь строки, поверх строк, в их глубине, — слышно дыхание могучей борьбы. Судьба отряда

Левинсона в ней — маленький и частый эпизод.

Ощущение коллектива и воля к борьбе даны в «Разгроме» и «Последнем из Удеге» не как рационалистический мотив, искусно вплетенный в повествование. Они показаны в психологии как нечто, данное в крови, в клетках мозга, не механически внедренное, но химически связанное, проясняющее себя не в рассудочном отношении к своим обязанностям, но в жизненности, в инстинктах, в сознательной и бессознательной природе.

Инстинкт, о котором мельком говорит сам Левинсон, обнаруживается не обнаженно, не схематически, — но одетый в плоть и кровь личных переживаний, облеченный художественной тканью. В одном лишь Левинсоне он получает словесную формулировку, но это потому, что в «вожде» инстинкт этот идеологически осознан. Стойкость Левинсона, его упругая воля, — несмотря на внутреннее иной раз замешательство и растерянность, — зависят от этого его понимания. Отсюда его спокойствие, внешняя невозмутимость, «правильность», так импонирующая подчиненным. Здесь лежит причина безропотного подчинения, на какое с готовностью идут партизаны. Но это, собственно, не подчинение. По существу, воля одна, — коллективная воля, — одинаково ощущаемая людьми отряда. Левинсон возвышался над отрядом, как личность, умевшая сознательно распоряжаться бессознательным, инстинктивным стремлением к борьбе и победе, объединявшая отряд, превращавшая его в организованное целое. При этом, чем органически ближе Левинсону были люди, тем подчинение было безмотивней, естественней. Оно встречало сопротивление, поскольку Левинсон сталкивался с элементами, обладавшими в меньшей степени инстинктом революционного класса.

К тем же выводам, но от обратного, мы придем, когда проанализируем образ Мечика. Это, так сказать, анти-Левинсон. Не пролетарский революционер, но случайный и кратковременный попутчик революции, мелкобур-

жуазный интеллигент. Знакомый образ, сделанный в традиционных тонах, гамлетик с тонкими пальцами и тонким нервами, сентиментальный плакса, безвольный неврастеник, занятый своей собственной персоной и мечтами о подвигах, лишенный чувства связи с коллективом. Отсюда его «одинокость». С большим искусством, пользуясь средствами психологической обрисовки, Фадеев показывает потенциальную враждебность его делу, куда он затесался случайно, провинувшись романтической мечтательности. Мечик пролил свою кровь так же, как проливали другие партизаны, — это доставляло ему горделивое наслаждение, — но даже кровь не спаяла его с людьми, чуждыми по духу и по задачам. Оттого-то кипучая жизнь отряда прошла мимо Мечика. Он не увидел главных пружин отрядного механизма и не почувствовал необходимости всего, что делается. Если для Левинсона и его соратников характерен «лад» ума и сердца — слиянность воли и чувств, — Мечика, наоборот, характеризуют разлад, дряблая воля, непонимание, неощущение общей воли, во имя которой сражались и погибали партизаны. Напротив, он мечтал о личной, одного его касавшейся жизни, думал о том, что кто-то должен увидеть его «новым», «сильным», «уверенным в себе человеком», хотя никому до него, Мечика, не было никакого дела. Как не похожи индивидуалистические мечты Мечика о новом будущем на мечту об общей победе, которая, не высказываясь, одушевляла каждого участника борьбы. Измена Мечика закономерно вытекала из его классовой чуждости движению, в которое забросил его случай — книжное влияние, интеллигентская мечтательность, пустое воображение. Мечик — романтик. В Левинсоне также сильна романтическая струя. Но в то время как романтика Мечика — индивидуалистическая, буржуазно-интеллигентская, мещанская, идущая от раздраженья мысли, от той «красивой птички», которую в детстве ждал сам Левинсон, романтика Левинсона — пролетарская романтика борьбы, не знающая сомнений и колебаний, не боящаяся жесточайшей правды, идущая

щая на индивидуальную гибель, если это необходимо. Поэтому революционный романтик Левинсон оказывается вместе с тем суровым реалистом, поклонником жизненной, неприкрашенной правды. Это соединение романтики и реализма помогает Левинсону преодолевать переходящую суровую, тяжкую действительность во имя еще не существующего, но завоевываемого «завтра». «Завтра» осмысливает сегодняшнюю суровость жизни, ее жестокость и лишения. «Видеть все так, как оно есть, для того, чтобы изменять то, что есть, и управлять тем, что есть» — говорит себе Левинсон, раздумывая о Мечике, его слабости, лени, безволии и о «той безотрадной стране», которая плодит таких людей, ничемных и нищих. Отрицательный тип, Мечик показан с тем распределением света и тени, с той мягкостью в обрисовке человеческих черт, которая обнаруживает в Фадееве большую высоту художественного беспристрастия. Это не избывило, однако, самый образ от традиционных черт, делающих его новым вариантом старого и порядком надоевшего знакомого. Но традиционные черты Мечика как бы «от противного» подчеркивают, что есть нового в Левинсоне и других героях новой нашей литературы.

Левинсоны — люди другого характера, другой жизненной установки, новой, не умозрительной философии. Они противопоставят героям старой русской литературы. Традиционной чертой русской интеллигенции, отразившейся в характере главнейших литературных героев, были философские искания, поиски смысла действительности, ее морального оправдания.

Наша эпоха по-иному ставит и решает проблемы. Она утверждает, что время размышлений о мире, его правде и неправде прошло. Надо не созерцать мир, а перестраивать его, не искать смысла, а утверждать смысл, не «переживать» а бороться, ибо в борьбе, в разрушении, в строительстве — смысл, оправдание и вся философия нашего времени. Нет нужды доказывать, как противоположны и непримиримы эти две установки. В современной нашей литературе и про-

исходит вытеснение старой установки новой. Созерцатели, мечтатели, индивидуалисты, романтики исканий уходят, отходят, исчезают. Их сменяют деятели, романтики борьбы, люди крепкой воли, сильного чувства, носители общественного начала.

В этой смене характера героя сказывается частично огромный, еще не ученный, переворот, происходящий на наших глазах. В литературной истории нашей есть эпоха, сходная с нынешними днями: появление разночинца. Он принес с собой новый взгляд на мир, новые вкусы, новые точки зрения. Грубоватая, шероховатая разночинская литература и стилистически, и психологически, и философски не походила на барски-дворянскую, помещичью, классическую нашу литературу. И герой этой литературы, демократ и реалист, не походил на дворянского переутонченного интеллигента. Плеханов в статье о Глебе Успенском мимоходом бросил превосходную, по обыкновению, характеристику разночинца, как типа, противоположного либералу, дворянину и помещику. «Жить зря, — писал Плеханов, — бродить «разочарованным», без всякого дела он не мог уже потому, что он не помещик, а пролетарий, хотя бы и дворянского происхождения. Он должен в поте лица зарабатывать хлеб свой. Отсюда черты разночинца, отличающие его от дворянина, его пристрастие к специальности, его активность, его практичность, его общественные симпатии, преобладание в его психике общественных настроений, его пренебрежительное отношение к чисто литературным вопросам, его презрение к «эстетике», тяга к народу и народным интересам. Разночинец — протестант и борец по самому своему положению. Его внимание поглощено борьбой — все равно мирной или революционной, законной или преступной. Ему просто некогда заниматься словесностью ради словесности, «боготворить красоту» и «наслаждаться искусством». Вместо «поэзии красоты» он увлекался «поэзией подвига».

Таков был новый человек, внесший в литературу новые черты. Социальное бытие разночинца отразилось в

искусстве и тематически и стилистически. Его вторжение в литературу сопровождалось вторжением и новой тематики, и нового героя, и нового взгляда на мир, и новых формальных образований. Наша литература также переживает вторжение нового человека, представителя уже не социальной прошлой, но нового класса. Наша эпоха, эпоха величайшей ломки социально-политических отношений, подготовила и частично уже провела величайшую ломку в литературе и искусстве, еще недостаточно оцененную нами и не проявившую себя в полной мере. Появление на сцене пролетариата в качестве класса-гегемона, постановка в порядок дня революционно-культурных задач в области литературы и искусства сказались прежде всего в виде вторжения нового материала и нового героя. Этим новым человеком оказался пролетарский революционер, большевик, рабочий или интеллигент равно, — но человек, качественно отличный от человеческого типа, господствовавшего в литературе предшествующего периода. Наиболее характерные, «эпохальные» произведения — именно те, в которых мы имеем новых людей и новые отношения. Это характерно для лучших произведений и попутнической и пролетарской литературы. Но именно в обрисовке характера нового человека сказывается внутренний антагонизм между пролетарской и попутнической литературой. В психологии героя попутнической литературы, в его реакциях на внешний мир, в его жизненной установке характерной чертой осталось преобладание созерцания и рефлексии. Наш попутчик отличается от разночинца, охарактеризованного Плехановым, прежде всего тем, что он менее утилитарен, эстетику презирать перестал и пофилософствовать не прочь. Он любит и революцию. Попутчик оказался союзником пролетариата в революции, но перестать быть интеллигентом, склонным к созерцанию и философствованию о мире, — не смог. Его, кроме того, нельзя упрекнуть в отвращении к красивой фразе. В нем рационализм и холодок Базарова совместились с эмоциональной взволно-

ванностью Аркадия Кирсанова. И попутчик был ближе к Кирсанову, чем к Базарову. Первые наброски нового человека, сделанные попутчиками, сохранили многие традиционно-интеллигентские черты: «кожаные куртки» занимают виднейшее место в творчестве Пильняка, Бабеля, Федина и Леонова, Иванова и Сейфуллиной и многих других. Фадеев с большей удачей продолжает построение нового типа нашей эпохи, «героя нашего времени». С большей удачей потому, что Фадеев, пролетарский революционер, в силу своей органической связи с рабочим классом и коммунистической партией оказался социально-психологически более способным не только понять, но и почувствовать; что нового принесла новая эпоха. Вторжение нового материала, нового взгляда на мир, новой психики ярко сказывается в его произведениях. Это заметно также в особенностях его психологизма.

VII

За Фадеевым, вероятно, будет закреплено место крупнейшего представителя пролетарского психологического романа. Сила «Разгрома» в убедительности психологических характеристик. Но психологический метод чреват опасностями. О них, дающих себя чувствовать в «Разгрома», не мешает сказать несколько слов. Не случайно «психологизм» имеет жестоких противников. Требуя исключительного внимания к раскрытию «внутренней» жизни, к всестороннему и детальному показу душевных движений, психологизм имеет тенденцию оттеснять на второй, а то и более далекий план жизнь «внешнюю», т. е. те акции и реакции, которые составляют, собственно, деятельность человека. Пролетариат, историей призванный перестроить мир, делает ударение на «перестройке», деятельности, на движении во-вне. Здесь рождается противоречие между последовательно проведенным психологизмом, стремящимся осветить преимущественно внутреннее движение, и потребностями времени, требующими активного разрешения внешних конструктивных проблем. Расцвет психологического романа в девятнадцатом веке, давшего такие

замечательные образцы, как «Мадам Бовари», «Анна Каренина» или романы Достоевского, объясняется характером эпохи и характером изображавшейся среды. Психологический прием давал изумительные результаты там, где вся душевная и умственная энергия уходила внутрь, расширяла и обогащала внутренний мир человека за счет его деятельности, направленной на общество. Особенности социально-экономического бытия русской интеллигенции, оторванность от действительной жизни, обреченность жить в мире умозрений и эмоций обусловили и обеспечили расцвет русского психологизма в литературе. Этим можно объяснить то обстоятельство, что в мировой литературе непревзойденными образцами психологического романа оказываются именно романы Толстого и Достоевского.

Другое дело — наша эпоха. Господствующим принципом нашего времени является не интроспекция, не смотрение внутрь себя но, наоборот, направленность всей энергии на деятельность, изменяющую мир. Само собой разумеется, что, противопоставляя деятельность, изменяющую мир, деятельности, направленной на внутреннее душевное самоустроение, я не говорю, что переключение энергии на внешнюю деятельность отрицает психологизм. Без внутренней, умственной и эмоциональной жизни нет и внешней деятельности. Отрицать «психологизм» значило бы отрицать внутренний мир человека, жизнь этого мира, без которого нет и деятельности во-вне, т. е. деятельности осмысленной, целеустремленной, страстной, окрашенной чувствами. Но старый психологизм делал ударение именно на мире переживаний, заслонявшем и даже отстранявшем мир фактов и борьбы. Рассуждая о психологизме наших дней, в особенности психологизме пролетарской литературы, необходимо в первую очередь помнить это. Внутренний мир человека нашей эпохи постольку и будет устроен, поскольку энергия направляется на мир внешний. Великий отрыв от этого мира обрекает человека на отрыв от своего времени, на уеди-

нение в пределах собственной души, на изоляцию от эпохи. При работе психологическим приемом необходимо соблюдение равновесия, чувства меры, некоего ограничения психологизма. При выдающейся способности анализировать душевные переживания, Фадеев, тем не менее, обнаруживает в «Разгроме» некий перегиб, избыток психологизма. Даже Левинсон иной раз «переживает» больше, чем это требуется его характером. О Мечике — не говорю. Он предан исключительно самонаблюдению. Но в Мечике это оправдано его природой, характером его облика. Другое дело, напр., Морозка. Он ни в какой мере не может и не должен походить на Мечика: это человек другой породы, другой культуры. В душевной жизни Морозки самонаблюдение, интеллигентские резиньяции сведены к минимуму активностью его натуры. Сам автор в начале романа характеризует цельную простоту его, действительную импульсивность следующими словами: «Жизнь казалась ему простой, немудреной, как кругленький мурманский огурец с сучанских баштанов». Деятельность Морозки показана в полном согласии с этой его характеристикой. Но вот позвольте привести следующие рассуждения Морозки, когда он после ссоры с Варей возвращался в отряд:

«Все те запутанные надоедливые мысли, которые впервые родились в нем, когда он жарким июльским днем возвращался из госпиталя, и кудрявые косари любовались его уверенной кавалерийской посадкой, те мысли, которые с особенной силой овладели им, когда он ехал по опустевшему полю после ссоры с Мечиком, и одинокая бесприютная ворона, сидела на повисшемся стоге, — все эти мысли приобрели теперь небывалую мучительную яркость и остроту. Морозка чувствовал себя обманутым в прежней своей жизни и снова видел вокруг себя только ложь и обман.

...Он с неведомой ему прустной, усталой, почти старческой злобой думал о том, что ему уже двадцать семь лет и ни одной минуты из прожитого нельзя вернуть, чтобы прожить ее по-иному, а впереди тоже не видно ничего

хорошего, и он, может быть, очень скоро погибнет от пули, ненужный никому, как умер Фролов, о котором никто не пожалел».

Признаюсь, у меня был соблазн в этой выписке имя Морозки заменить именем Мечика. Читатель ни на секунду не усомнился бы, что перед ним размышляющий сам с собою Мечик — так по-мечиковски дан здесь Морозка. Эта картина переживаний противоречит его облику, как он дан в романе. Гипертрофия психологизма, уместная в характеристике сентиментального интеллигента, делается излишней, а значит неправдивой в характеристике такой натуры, как Морозка. Можно было бы указать на ряд других психологических «излишеств» в характеристиках, например, Вари и даже Левинсона. Для Мечика, например, характерно было «свойство отмечать собственные мысли и поступки и расценивать их со стороны» — черта, присущая всякому интеллигенту, у которого воля к действию вся ушла в «переживание». Но странная вещь: иной раз представляется, будто то же свойство присуще и Левинсону, а ведь Левинсон не рефлектирующий интеллигент, по крайней мере, не должен им быть, и несколько не похож в этом отношении на Мечика. Очевидно, пользуясь психологическим приемом, Фадеев иногда не соблюдает чувства меры, увлекаясь в сторону избыточной психологизации. Речь идет не о том, что внутренний мир Мечика богаче, чем мир Морозки: они богаты оба, но по-разному. Качество их различно, темп и характер переживаний иной. Вот этой разницы темпа и характера переживаний иногда нет в психологии его героев. На одной из страниц мы читаем, что Мечик «развотид давнишнюю слежавшуюся пыль воспоминаний и обнаружил, что это совсем не веселый, а очень безрадостный, проклятый груз. Он чувствовал себя заброшенным и одиноким. Казалось, он сам плывет под огромным, вывороченным полом, и тревожная пустота последнего только сильнее подчеркивала его одиночество». Похоже это на Мечика? Похоже. А между тем, это переживание не Мечика, а того же

Морозки. Их решительное несходство здесь стерто. Чувство меры оказалось нарушенным не в пользу художественности. Получилась неубедительность, неправдивость.

К счастью для Фадеева, об этих психологических излишествах можно говорить как об исключениях. Недостатки эти редки и невелики. Достоинства — велики и постоянны. Из всех пролетарских писателей Фадееву больше, чем кому-нибудь другому удалось развернуть широкую психологическую ткань. Она не заслонила при этом и не сдвинула на далекий план революционную активность его персонажей. Они не только размышляют, колеблются, переживают. Они действуют. Психологизм «Разгрома» не самодовлеющ. Он мотивирует деятельность, поставлен на свое место. Это обстоятельство позволяет без особых опасений говорить о факте, являющемся основным при оценке творчества Фадеева; о его сильнейшей зависимости от Толстого.

VIII

«Зависимость» Фадеева от Толстого не оспаривается никем. Не отрицает ее и сам Фадеев. Он «учится» у Толстого. Он относится к Толстому, как Баклашов к Левинсону. С добродушной усмешкой Фадеев рассказывает про Баклашова: «Юнк: Баклашов старался во всем подходить на командира, перепиная даже его гнешние манеры». Учась у Толстого, Фадеев следует его методу психологического анализа. Это сказывается нередко и в аналогическом развертывании переживаний, и в повторении некоторых психологических схем, в композиции многих сцен и образов, даже в стилистических приемах. Иные периоды Фадеева построены точь-в-точь так, как это делал Лев Толстой. Примеров приводилось достаточно, — повторять их не будем. Прислушаемся только к обвинениям, которые были высказаны по этому поводу.

Наиболее резкую оценку этой зависимости дали «Новы Лефы» в статье Осипа Брика, картинно озаглавленной «Разгром Фадеева».

«Фадеев подошел к своей задаче чрезвычайно просто, — пишет Брик. — Его совершенно не интересует реальная

обстановка, в которой происходит действие его романа. Его, по самоучителю, интересует только внутреннее переживание отдельных героев».

Под внешним поведением следует, повидимому, разуместь борьбу партизан за советскую власть. Если бы это было так, как уверяет нас О. М. Брик, Фадеев пал бы жертвой опасности, о которой я говорил выше. «Психологизм» с'ел бы революционера без остатка.

Но О. М. Брик неправ. Неверно, будто Фадеева «совершенно не интересует реальная обстановка», в которой происходит действие его романа. Переживания героев «Разгрома» нельзя оторвать от «внешней обстановки» и «внешней деятельности». О Брик как будто не заметил, что содержанием переживаний героев «Разгрома» и являются также факты этой внешней обстановки и прежде всего — центральный факт — революционная борьба. Они размышляют не об устройении личного душевного благополучия, оторванного от борьбы и «внешней обстановки», но именно эти «внешние обстоятельства» находятся в центре их душевных, личных переживаний, окруженные, разумеется, множеством собственно личных мотивов. Это — во-первых. А во-вторых, они действуют решительно и интенсивно. Психологизм, оказывается, не обрекает их на бездеятельность и не превращает в пассивных людей. Брик замечает далее: человек для нас ценен не тем, что он переживает, а тем, что он делает,—и опять неправ. Сам по себе факт деятельности человека, оторванный от его «переживаний», не всегда правильно и исчерпывающее говорит о человеке. Деятельность может быть продиктована множеством скрытых мотивов: предатель, лазутчик, наемный убийца — совершают ряд действий, внешне ничем не отличающихся от действий, совершаемых подлинным революционером. Только из раскрытия связи между этими «внешними» действиями и внутренними переживаниями мы можем оценить по достоинству человека. Один показ «внешних действий» без психологической мотивировки недостаточно или не всегда достаточно убедителен.

«Действие фадеевского романа, — продолжает Брик, — могло бы быть с одинаковым успехом перенесено в любую страну, в любую эпоху; например, в средневековую Испанию. Вообразим только, что Левинсон — начальник отряда контрабандистов, удирающий с боем от правительственных войск».

И здесь неправ наш критик. Чтобы перенести действие «Разгрома» в любую эпоху и превратить Левинсона в вожда контрабандистов, надо забыть все то, что показано в Левинсоне как революционере, и прежде всего, отсутствие личной, корыстной заинтересованности, без которой нет контрабандизма; надо забыть затем ощущение связи с коллективом, во имя которого ведется борьба; надо игнорировать, наконец, ту незримую, но присутствующую и ощущаемую всеми участниками «Разгрома» — а также читателем — далекую цель, толкающую к этой борьбе. Если все это игнорировать, вычеркнуть из романа, тогда действительно можно вообразить что угодно. Но какая цена такому воображению?

Это не критика, а придирчивость брюзги. Да, «Разгром» Фадеева написан под большим влиянием Толстого. Да, влияние это в некоторых случаях переходит в подражание. Зависимость автора «Разгрома» от Толстого велика.

Но сам по себе этот факт зависимости не представляет ничего необычного. Литературные влияния — такой же законный факт литературной эволюции, как и борьба с влиянием, как и творчество новых форм. Вопрос следует ставить так: какую именно, положительную или отрицательную, роль играет влияние в данных, конкретных условиях литературного развития? Факт литературных влияний мы находим в развитии большинства крупнейших писателей. Разве были свободны от влияний Пушкин, Толстой, Достоевский? Из современников редкий писатель уберется от влияний. Пильняк или Бабель, Иванов или Сейфуллина, Олеша или Леонов — можно увеличить список имен — в большей или меньшей степени, в поисках своего стиля, в борьбе за мастерство проходили стадию подчинения чужой манере. На

влияние следует смотреть как на этап в развитии писателя. Другое дело, если несамостоятельность делается постоянной. Но ведь утверждать это по отношению к Фадееву нельзя. А надо сказать, что выучка у Толстого, на которую пошел Фадеев, принесла ему огромную пользу. После робкого и неумелого «Разлива», после схематического «Против течения» «Разгром» является таким большим шагом по пути овладения мастерством, что положительная роль «учебы» делается бесспорной.

Другое дело, если в лице Фадеева мы имели бы «ученика», не подающего надежд на полное освобождение от учительского влияния. Но этого-то и нельзя сказать. В том же «Разгроме», чтение которого заставляет постоянно помнить о Толстом, можно увидеть не только подчинение влиянию, но и отталкивание от влияния. Фадеев не только «следует» Толстому, но и борется с ним. Это не легкая задача, раз погнав «в лапы» Старика, уйти от него. Но ведь литературный путь Фадеева — в самом начале. Подождем новых вещей, посмотрим, что выйдет из нового романа его, где Толстой еще присутствует, но и борьба с Толстым растет. Фабулистическая бедность «Разгрома» не способствовала обострению этой борьбы. Да и кисть Фадеева была менее уверенной. В «Последнем из Удеге» перед нами картина с очень сложной фабулой. Здесь поэтому больше возможности для шагов в сторону от Толстого.

Толстой — хорошая школа. Пройти через эту школу, овладеть приемами великого реалиста, и, на первых порах, сделать такую вещь, как «Разгром», — это значит обнаружить не только прилежание, не только способность усваивать хорошие уроки, но и большие творческие задатки, которые, по самой природе своей, не могут остановиться на подражательной стадии. Есть писатели, с первых шагов проявляющие отталкивание от старых форм. Они редки. Их мы называем новаторами. Фадеев, очевидно, не принадлежит к их числу. Но путь к творчеству новых форм проходит чаще всего сквозь усвоение опыта прошлого и преодоление его. Первая часть этого пути, уче-

ническая, Фадеевым пройдена блистательно.

Споры о романе Фадеева напоминают споры вокруг романа Савинкова-Ропшина «То, чего не было». Роман этот был, как известно, написан под большим влиянием Толстого. Но Фадеева выгодно отличает от Ропшина, во-первых, то обстоятельство, что он не бросается от одного образца к другому, как то было с Ропшиным, а во-вторых, усвоив некоторые приемы Толстого, Фадеев оказался совершенно свободным от подчинения философии Толстого, которая, разумеется, была теснейшим образом связана с его приемами. В «Разгроме» Фадеева даже под микроскопом нельзя отыскать следов фаталистического мировоззрения Толстого, его взгляда на исторические события. Напротив, этой философии, несмотря на неоднократное подчеркивание значения бессознательного, интуитивного и инстинктивного моментов, Фадеев противопоставляет философию, не имеющую ничего общего с историческим фатализмом и преклонением перед «вышними силами, руководящими событиями и лежащими вне человеческого понимания. Усвоив психологические приемы Толстого, Фадеев не перестает быть материалистом-диалектиком, он своими глазами смотрит на мир, с точки зрения своей философии оценивает смысл происходящего, ведет своих героев по своему пути. Здесь, разумеется, лежит залог грядущего освобождения Фадеева и от «толстовской» манеры. В романе Ропшина было заметно сильнейшее влияние Толстого и не было заметно ничего «своего», кроме материала, почерпнутого Ропшиным из личного опыта, но освещенного светом толстовской философии истории. В романе Фадеева также заметно сильнейшее влияние Толстого, но сверх этого в нем имеется не только наличие нового материала, почерпнутого Фадеевым из личного опыта, но еще и много «своего», чего не имел Ропшин. Философия «Разгрома» отлична от философии Толстого. Не только отлична; но враждебна ей, отрицает ее. Здесь и заложено основное противоречие романа. Являясь носителем революционного, пролетарского

го мировоззрения, «Разгром» сделан с помощью приемов, разработанных и доведенных до высочайшего совершенства мастером, не имеющим ничего общего с революционным, пролетарским мировоззрением. Другими словами, то «новое», носителем чего является Фадеев, не нашло в «Разгроме» соответствующего стилистического, формального выражения. «Новое вино» влито в старые «мехи».

Очередная вещь Фадеева и призвана показать, насколько успешно будет идти освобождение его от толстовского плена.

Было бы недооценкой задач, стоящих перед пролетарской литературой, полагать, что революционность ее ограничивается лишь революционностью тематики и идеологической установки. Поскольку пролетарская литература является созданием нового революционного класса, стремящегося установить свою культурную гегемонию, постольку она должна быть революционной также и в специфическом литературно-художественном смысле. Другими словами — революционная тематика должна быть оформляема приемами, отличными от приемов всякой иной, не пролетарской литературы.

Новый класс приносит с собой не только новый взгляд на мир, не только новый материал, но и все те особенности художественного производства, которые создают понятие, именуемое «стилем». Буржуазный стиль отличался от феодального не одними тематическими особенностями, не только сменой литературных типов, своеобразием их психологии и идеологии, но также приемами художественной обработки, которые, будучи связаны с переменами в сознании, оформляли эти перемены эстетически, закрепляли их в специфически художественных формах. И стиль пролетарской литературы в развернутом виде должен быть отличен от стиля дворянского и буржуазного искусства. Это значит, что литературное новаторство, искание новых художественных приемов должно стать одной из существенных задач пролетарского литературного

движения. «Учеба» у классиков лишь приговорительный класс. Если совсем недавно, как признавался Либединский, некоторые пролетарские писатели, прежде чем приняться за писание романа, внимательно перечитывали Толстого или иного классика, теперь следует рекомендовать писателю вновь перечитывать классика, но уже после того, как роман написан, чтобы истребить всякие следы, навещающие на мысль о подражании. Приходит пора учиться не походить на учителей, противоречить учителям, бороться с ними. Если такая пора не пришла еще для многих молодых пролетарских писателей,—для Фадеева она наступила. Потому-то оправдан исключительный интерес, какой вызывает к себе новое его произведение.

Вопросы эти поставлены в порядок дня теоретиками и вождями пролетарской литературы. И прежде всего и полнее всего самим Фадеевым.

В его статье «Столбовая дорога пролетарской литературы» («Творческие пути пролетарской литературы», второй сборник статей. Гос. изд. 1929) он с полной ясностью высказал мысль, что вопрос о гегемонии пролетарской литературы есть вопрос о новом стиле пролетарской литературы. Правда, этот как раз вопрос оказался не рассмотренным в его статье. Статья защищает, главным образом, те многообразные приемы психологического, глубокого, реального, материалистического подхода к человеку, который позволил бы пролетарскому художнику воспроизвести его в живом многообразии, полнокровной жизненности, с минимальным схематизмом. Эта задача еще не выходит из границ ученничества. Но проблема пролетарского стиля поставлена, и не сегодня-завтра она передвинется к центру внимания. Эта проблема шире проблемы показа живого человека и всех тех вопросов о рационализме, психологизме, интуитивизме, и иррационализме, и т. п., которые занимают Фадеева. Он понимает это. По крайней мере, в заключительной части статьи имеется такое замечание: «... когда мы ставим вопрос об усвоении старого литературного наследства,

мы часто забываем о том, что ведь пролетарский художник должен будет сказать в литературе какое-то свое новое слово и по-новому показать жизнь, как ее не показали и не мог показать никакой другой художник старого времени» (разрядка Фадеева).

3. О ПСИХОЛОГИЗМЕ И „СТОЛБОВОЙ ДОРОГЕ“ 1)

А. Бек и Л. Тоом

1. Пролетписатель „в теории“ и на практике

В журнале «Октябрь» (№№ 11 и 12) опубликован доклад тов. Фадеева «Столбовая дорога пролетлитературы», прочитанный на 1-ом с'езде ВОАППа. Центральным моментом доклада является проблема роли, значения и соотношения сознания и подсознания в художественном творчестве. Доклад представляет значительный интерес и в основном, как нам кажется, приближается к правильной постановке данной проблемы.

Фадеев совершенно правильно отмежевывается как от «иррационалистов» (в роде Вс. Иванова), краеугольным камнем художественного «сredo» которых является положение, что «все происходит не по разуму, а по глупости, по бессмысленной случайности», так и от «рационалистов», в частности лефовцев, представляющих себе человека в виде голы мыслительной машины.

Отталкиваясь от тех и других, Фадеев приходит к мысли о том, что пролетарскому художнику несвойственен разрыв между рациональными тенденциями и интуицией, что у него отсутствует острое ощущение наличия чужеродных, противоположно направленных психологических устремлений, что разум и остальная область психики являет собой у него «целостное диалектическое единство».

Вряд ли можно сомневаться, что художник пролетариата теоретически является именно таким.

Однако, вместе с этим верным поло-

Это ценное замечание должно быть развернуто. Именно здесь и начинается тот новый путь в «завтра», на который еще не вступила пролетарская литература: путь литературного новаторства. Это — путь наибольшего сопротивления, но ведь только на этом пути и вырастает большое искусство высокого стиля.

женем мы встречаем у Фадеева другое, на первый взгляд, противоположное, но не менее верное утверждение. Фадеев несколько раз, хотя и мимоходом, замечает, что конкретные пролетарские писатели наших дней, не «теоретические», а такие, какими они даны историей, не совсем соответствуют этому теоретическому определению.

Он, например, пишет:

«Пролетарская литература настолько мало еще овладела правильным мировоззрением и потому настолько еще художественно слаба, что в очень большой степени подходит к изображению человека от политической книги, а не от окружающей художника конкретной действительности».

В нескольких иных выражениях о том же самом говорил другой докладчик по творческим вопросам на с'езде ВОАППа тов. Ю. Либедицкий: «У нас мирозерпание очень часто лежит только на одной, определенной полочке психики, в то время как оно должно охватывать всю психику»¹⁾.

Таким образом, с одной стороны, у «теоретического» — «диалектическое единство» разума и подсознания. С другой — у «конкретного» это единство отсутствует, рационалистическое представление о мире (заимствованное из «политических книг») сожительствует в его психике с какими-то иными, чужеродными элементами.

Эти чрезвычайно важные для понимания особенностей нынешнего этапа развития пролетлитературы признания

¹⁾ Доклад тов. Либедицкого напечатан в журнале «На Литературном Посту» №№ 19, 20 — 21.

высказаны докладчиками мельком, как бы между прочим, не развиты и не сделаны исходной точкой для анализа ее творческой продукции. При этом в докладе тов. Фадеева есть лишь один намек на объяснение этой двойственности в психологии конкретного пролетарского писателя. Фадеев подходит к констатированию того важнейшего факта, что пролетлитература в основном создается сейчас выходцами не из пролетариата, а из мелкой буржуазии.

«Представители основных кадров пролетариата,—пишет он,—не влились еще в так называемую большую, т. е. художественно зрелую литературу. Пролетарская литература, вернее та ее часть, которая находится на более или менее высоком художественном уровне, насчитывает отдельных, очень редких представителей рабочего класса в своих рядах... Те передовые элементы пролетарской литературы, которые мы имеем сейчас, принадлежат в значительной степени к коммунистической интеллигенции, выходцам из крестьян и служащих, связавших свою судьбу с рабочим классом и его авангардом»...

Этот факт Фадеев совершенно правильно считает основной причиной отсутствия «живого рабочего» в пролетлитературе и тяготения ее к изображению во множестве вариаций типа мелкого буржуа, переделывающего свою природу в процессе пролетарской революции. Однако, и это смелое и чрезвычайно важное положение о подавляющем преобладании выходцев из мелкой буржуазии среди «передовых элементов пролетлитературы» высказано Фадеевым мимоходом, теоретически недостаточно осмыслено, и в своих суждениях о пролетлитературе Фадеев сам как-то забывает об этом факте.

Таковы важнейшие моменты доклада Фадеева. Таковы, вместе с тем, основные проблемы, встающие ныне перед теоретической мыслью пролетлитературы.

Нетрудно заметить, что те же проблемы—о разуме и подсознании, о пролетарских и мелкобуржуазных элементах в психике передовых людей нашего времени,—которые Фадеев поставил в своем теоретическом докладе,

разрабатываются целым рядом художественных произведений, в роде «Преступления Мартына» Бахметьева, «Натальи Тарповой» С. Семенова, «Поворота» Ю. Либединского, «Лесозавода» А. Караваевой, «Брусков» Панферова, «Через отмели» Дайреджиева и т. д. Именно эти произведения имеют в виду Фадеев и его единомышленники, когда говорят о столбовой дорожке пролетарской литературы, и именно авторов этих произведений они в первую очередь подразумевают, говоря о пролетарском писателе вообще. Эти произведения составляют сейчас центральное ядро новой художественной школы, обычно называющей себя «школой пролетарского психологизма».

Нельзя понять художника иначе, как через его произведения. Нельзя найти ответа на волнующие его вопросы, помимо анализа его творческой продукции.

Поэтому нам неизбежно придется обратиться к анализу художественных произведений данной школы, чтобы понять ее художника и найти, вместе с тем, ответ на центральный вопрос, поставленный Фадеевым: является ли «школа пролетарского психологизма» «столбовой дорогой пролетарской литературы».

2. „Мы живем с двойниками внутри“

Какие основные черты присущи этому литературному течению? Первая черта, сразу же бросающаяся в глаза, заключается в наличии во всех произведениях этого течения единого, общего центрального героя. Герои всех перечисленных произведений похожи друг на друга, как родные братья,—все они представляют собой один и тот же социально-психологический тип.

«Мы живем с двойниками внутри, мы носим в себе запоздавшие чувства, чахленькие растеньица прошлого. Они то оплетают нас противоречиями, то оглушают радостями, которым через 2—3 десятка лет не будет никакой цены». Так характеризует себя Елена, героиня романа Анны Караваевой «Лесозавод».

А вот характеристика другого центрального героя романа, строителя завода—коммуниста Огнева:

«Тебя—двое, два Огнева: Огнев—гармония созидательная и Огнев—одинокий, домашний, у окошечка, у лампы. Милый ты мой, какая у тебя с тем Огневым бывает перепалка».

«С двойниками внутри» живут почти все герои нового романа Ю. Либединского «Поворот». Например, красный директор Вихров «издавна разделил себя на две части: в одной были мысли и чувства, достойные совершеннейшего человека-коммуниста, в другой—все остальное, и между этими двумя половинками своего существа Вихров разжигал постоянную борьбу, то оправдывая себя, то мучаясь и порицая, то торжествуя».

В романе Либединского великое множество персонажей, но писатель всех их построил—и большевиков, и меньшевиков, и рабочих, и интеллигентов—по одной схеме: все они «двойники», внутри каждого из них живут два различных, враждебных друг другу существа.

У героя романа Дайреджиева «Через отдели» (объявленного уже кое-чем новым «Цементом»), редактора газеты Ворохова, «путь постоянно выскакивает из чугунного ошейника разума и дисциплины». У него «день за днем маленькими крупницами оседала где-то глубоко в подсознании черная муть неудовлетворенности и злобы, с которой он боролся рассудком и знал, что, если он не вырвет ее со всеми корешками, она засосет, затянет его...»

Вариациями этого же психологического типа являются такие литературные персонажи, как бывший краском Кирьян Ждаркин, герой «Брусков» Панферова, мучавшийся в противоречиях между тенденциями коммунистического сознания и устремлениями собственнической стихии инстинктов, как семеновская Наталья Тарпова, которую подсознательные силы тащат к классовому врагу, а рассудок отталкивает от него; как Роман Симонов из «Дикого поля» Логинова-Лесняка; как герой «Февраля» Тарасова-Родионова и т. д.

В свое время образцом «пролетарского психологизма», наиболее ярким выражением «генеральной творческой линии пролетлитературы» был провоз-

глашен роман Бахметьева «Преступление Мартына».

Мартын, как и все прошедшие перед нами герои, разрывается надвое противоречивыми устремлениями рассудка, с одной стороны, и «нутра»—с другой. «Его голова хранила достаточный клад всяческих больших и малых, выловленных из книг истин, но за этим миром был несомненно другой мир», властный и неотвратимый, влекущий его далеко в сторону от рассудочно-книжных путей.

Раздвоенный человек, раздираемый надвое противоположными устремлениями своей психики, остро чувствующий этот внутренний разлад—таков центральный герой «пролетарского психологизма».

Психологические проблемы, встающие перед человеком подобного типа, и привлекают в первую очередь внимание художников этого течения.

Присмотримся, однако, поближе к нашему раздвоенному герою. Можно ли дать классовую характеристику чужеродным началам, сожителям и противоборствующим в его психике?

Классовое существо одного из них не вызывает никакого сомнения—это начало пролетарское. «Выловленные из книг истины», составляющие содержание «верхнего мира» Баймакова,—истины марксизма, истины пролетарского мировоззрения. «Чугунный ошейник», сковывающий «нутро» Ворохова, вылит из металла коммунистического разума и дисциплины пролетарской партии. «Нутро» Кирьяна Ждаркина тоже прикрито сверху пролетарской идеологией, привитой ему школой Красной армии.

Из двух половинок, на которые раскалываются герои Либединского, Караваевой, Семенова и др., одна несомненно отражает на себе идейно-политическое влияние рабочего класса и стремится идти в ногу с его авангардом. А другая?

Другая по своему классовому качеству чужда пролетарско-коммунистическим элементам психики героя. В другой половине своей психики наш

герой являет собой типичнейшего мелкого буржуа.

В его подсознании безраздельно властвует мелкобуржуазная стихия чувств, инстинктов, влечений. Эгоцентризм, собственнические инстинкты, ощущение своего социального одиночества, смутное чувство шаткости и неустойчивости своего положения в жизни—таков эмоциональный переплет, характеризующий второе «я» раздвоенных героев Бахметьева, Либединского, Караваевой, Панферова, Дайреджиева и т. д.

Мы видим, таким образом, что «баймаковщина» является не психологическим раздвоением вообще, а разладом между двумя классовыми стихиями в единой человеческой психике. Наш раздвоенный герой рвется надвое по классовому шву.

Но рвется он далеко не на равные части—из двух половинок одна оказывается чахлой, худосочной, слабосильной и малокровной,—она не имеет глубоких, разветвленных корней.

Это — пролетарское начало. Оно исключительно рационалистично. В нем живут истины, не выросшие из глубины, а «выловленные из книг». Оно сложилось «в пору короткой сознательной жизни», под влиянием эпохи идейно-политической гегемонии пролетариата.

А другое начало сидит в этой почве крепко, связанное с ней бесчисленным количеством корней и корешков,—его не отдерешь и силой. В нем «поет свою песню» социальная кровь человека, в нем—«скоп чувств, понятий, привычек, всосанных с материнским молоком»...

Еще год тому назад тов. В. М. Фриче отметил классовый характер психологической раздвоенности героя «школы пролетарского психологизма».

Анализируя произведения Бахметьева, Семенова и др., он писал:

«Как видно из приведенных примеров, это столь обильное вторжение в художественную литературу подсознательной стихии знаменует, в конце концов, не что иное как оживание в ней классов, вытесненных революцией или стоящих вне пролетариата. Торжество «биологического» человека и, в

особенности, прорыв «биологического» человека сквозь пролетарско-классовое сознание, что это, в конце концов, как не самопротивопоставление непролетарских социальных слоев сознательности пролетариата как класса, некий невольный протест против его рационалистического подхода к строительству жизни, против которых мелкобуржуазная стихия бунтует под маской «подсознательного» и «биологии», утверждая себя на фронте художественной литературы. (В. М. Фриче. «В защиту рационалистического изображения человека», «Красная Новь» № 1, 1929 г.)

В приведенной цитате правильные мысли сплетены с ошибочными.

Фриче совершенно прав, когда подсознательный мир героев Бахметьева и Семенова определяет как мир классовой мелкобуржуазной психологии; когда прорыв «подсознательного» сквозь рационалистическую оболочку их психики называет «бунтом мелкобуржуазной стихии против пролетарско-классового сознания». Он неправ, однако, считая психику пролетариата голо рационалистической и, тем самым, косвенно отрицая возможность существования классовых инстинктов, классового «чутья», классового подсознательного «нутра» у пролетариата. Ложным в его концепции является и отождествление биологического и подсознательного.

Совершенно справедливо его по этой линии критикует Фадеев, ссылаясь, между прочим, на Плеханова, считавшего, что область инстинктов в человеческой психике «несравненно шире области рассудка», и на Деборина, утверждающего, что «марксизм стремится об'яснить те или иные представления и идеи людей, даже их способ мышления из их переживаний, восприятий» и т. д.

Вряд ли можно оспаривать это положение марксизма, из которого, между прочим, вытекает разграничение общественной идеологии и общественной психологии и признание за последней определяющей роли по отношению к первой.

Фадеев прав в основном (хотя, как нам кажется, он склонен преуменьшать роль разума и недооценивать его значение) в своей критике рационалистических увлечений Фриче, но и в ложной концепции содержится порой ряд оригинальных истин. Надо уметь, полемизируя с противником, отделять эти истины от окружающей их шелухи и включать их в свой теоретический арсенал.

Мы принимаем вместе с Фадеевым тезис марксизма о том, что область инстинктов была и будет несравненно шире области рассудка, и устанавливаем вместе с Фриче, что в этой области у нашего раздвоенного героя царит «мелкобуржуазная стихия».

Это значит, что мелкобуржуазное начало играет чрезвычайно серьезную роль в его личности и постоянно угрожает из подчиненного превратиться в господствующее, деформировать его мышление, определить в основном его общественное поведение.

3. А каков писатель?

Таков герой, а каков писатель?

Центральный герой литературного произведения (и литературного течения) нередко бывает социально-психологически родственен и даже идентичен самому писателю. Как обстоит дело в данном случае? Читателю, наверное, уже бросилось в глаза подозрительное совпадение основных черт современного конкретного пролетарского писателя (каким он предстал перед нами в характеристике Фадеева и Либединского), с одной стороны, и рассмотренного нами литературного типа—с другой.

Вспомним: «у нас пролетарское мирозерцание лежит только на одной определенной полочке психики». Ведь это могли бы в один голос сказать о себе и Мартын, и Вихров, и Ворохов и пр. и пр. Но ведь это Либединский говорит о писателях «школы пролетарского психологизма».

Вспомним слова Фадеева о людях, которые настолько мало овладели пролетарским мировоззрением, что могут подходить к явлениям жизни по-пролетарски, отправляясь, главным обра-

зом, от политической книги, а не от непосредственных впечатлений действительности.

О ком он говорил? О Мартыне Баймакове с его «кладом выловленных из книг истин» и далекими от этих истин непосредственными впечатлениями? Нет, он говорил о писателе «школы пролетарского психологизма».

Кого подразумевал Фадеев, говоря о выходах из мелкой буржуазии, связавших свою судьбу с рабочим классом? Галлерей прошедших перед нами героев? Нет, нет! И на этот раз он говорил о той же «школе». Это совпадение поразительно, но еще не доказательно.

Доказать родственность писателя своему герою, доказать, что характеризованный нами раздвоенный герой является стержневым, автогенным, «организующим» образом данного литературного течения, можно лишь путем анализа конкретных литературных произведений.

Проанализируем с этой точки зрения несколько произведений данного течения.

Вот «Преступление Мартына». Можно ли сказать, что автор в этом произведении смотрит на мир глазами своего героя, что в стиле романа нашла свое выражение психология Мартына, что, одним словом, оно написано в основном так, как написал бы его Мартын Баймаков?

В одной из наших статей нам пришлось уже дать на этот вопрос утвердительный ответ.

На всем протяжении романа автор пользуется приемом «показа через героя». Он изображает все явления жизни, пропуская их сквозь призму восприятия двух центральных образов произведения,—Мартына и Зины Кудрявцевой. Только они чувствуют, волнуются, переживают, только они показаны «изнутри», а все другие персонажи романа даны лишь в их восприятии, эмоционально окрашены переживаниями «психологических» образов, составляя, таким образом, по сути дела, лишь часть их внутреннего мира.

Каковы же эти «переживающие» образы? Мы знакомы уже с типом Мартына. Что представляет собой образ Куд-

рявцевой, в каком отношении находится он к образу Мартына?

«Ты, Кудрявцева, сама маленько смаливаешь на Мартына, в вас есть что-то общее»—говорит один из персонажей романа.

Это совершенно правильно.

Анализируя психологию Зины, мы убеждаемся, что она представляет собой не что иное, как Мартына в юбке. В ее лице автор не создал нового характера, а дал бледную копию Мартына. Сравните их основные психологические черты. Вот, например:

МАРТЫН

«Кто бы ему повел, если он взял и открыл себя на одном из митингов. Оказывается, Мартын мог горячо говорить, подкреплять себя выдержками из Маркса и Ленина, и в то же время какой-то частицей сознания парить над людьми, случившимися в прокуренном зале, слушать свой рокошущий голос и глядеть сверху вниз на людей в нем и на себя—в центре всего».

Одинаковы у обоих и их сокровенные мечты: в мечтах они видят себя героями, спасателями революции и т. д. Эти мечты носят резко выраженный индивидуалистический характер—революцию каждый из них спасает обязательно в одиночку, опять-таки ставя себя в центре мира.

Сходство характеров настолько полно, что Зина совершает такое же «преступление», как и Мартын.

«Какая-то недумающая сила подхватила меня в последний момент, напругла мускулы моей руки, вложила в нее свою волю»—рассказывает Мартын о своем бегстве от порученного ему эшелона женщин и детей.

У Зины случилось однажды то же самое: «ее руки, жившие сами по

ЗИНА:

«Ведь никто, конечно, и не подозревает, что ей, Кудрявцевой, нравится, просто нравится роль секретаря губкома, особенно, когда ее замечают окружающие. Нравится мчаться в автомобиле рядом с кем-нибудь из губкомовцев, мчаться с холодным, жестким (неприменно жестким) лицом. Нравится слышать свое шопотом произнесенное имя. Нравится возвысить голос до окрика... Никто и не думает, что она мало чем отличается от самой обыкновенной мешаночки с Дворянской улицы».

себе, на одну коротенькую минутку держали Клапикова» (донжуана с партбилетом, пытавшегося овладеть Зиной). Долго после этого она «с испугом глядела на свои руки, как на что-то живущее само по себе, безобразное, угрожающее ей».

Мартын и Зина—единый тип в двух лицах. Это—психологические близнецы. Показывая действительность в восприятии то Мартына, то Зины, автор сохраняет единый угол преломления, показывает мир сквозь призму одной и той же психологии, т. е. в основном—психологии Баймакова.

У Мартына, как мы знаем, нет единой оценки явлений жизни. Он рассудком преклоняется перед тем, к чему испытывает эмоциональную неприязнь, он осуждает умом то, к чему неудержимо влекут его инстинкты и чувства. И каждый образ романа носит на себе печать этой психики, каждый образ романа построен так, как его построил бы сам Мартын.

Печать двойственной оценки лежит прежде всего на самом Мартыне. Он осужден рационалистически и утвержден эмоционально. С одной стороны, это—«прославленный русский интеллигент, облегчающий свою душу болтовней», а с другой,—это «диковатый и сильный человек», «героическая натура», «явление, выходящее из ряда вон».

Такой же двойственностью окрашены любые, даже самые незначительные и маловажные образы романа. Вот, например, рабочий-коммунист Туляков. Рационалистический замысел этого образа очевиден—в его лице автор хотел показать пролетария, проникнутого единым устремлением, лишенного двойственности, «действительно не думающего о себе». Этот образ автор как бы противопоставляет образу Мартына. Но вместо симпатии Туляков вызывает к себе неприязнь

Глаза у Тулякова «светятся злым белесым огнем», «губы его были тонки и темны, брови белесы и редки, как всходы на тощем поле»; в минуту волнения «мускулы в сером его лице подергивались, как у животного»; «походил этот человек на мешанина, приубравшегося к празднику»; «холодели на полу, как прах пережитого, окурки,

и было в них что-то общее с серым, помятым лицом Тулякова».)

Такими красками расцветивает автор портрет Тулякова. Он становится особенно выразительным по контрасту с «хрустальными родниками в глазах», ресницами, «что—рожь в цвету» и другими подобными черточками, которыми автор наделяет Мартына. Рационалистически-книжное отношение автора к Тулякову далеко не совпадает с эмоциональным: контур образа нарисован рассудочно, а расцветило его, облекло его плотью и кровью второе «я» художника.

Насквозь двойственен и образ «вождя», данный в романе,—Черноголового. Рассудком своим и автор и Мартын преклоняются перед Черноголовым, олицетворяющим руководящие кадры партии, и в то же время они чувствуют к нему непобедимую эмоциональную антипатию.

Черноголовый всегда прав—в нем говорит разум пролетариата, «его устами глаголет истина марксизма». И в то же время человек он «односторонний», «сухой», «холодный», живущий «без больших радостей», «губы его готовы всегда вытолкнуть очередной стереотип», «весь он бесстрастный, белая голова его, как снежная насыпь на могиле, хоронила все порывы человеческого сердца».

С одной стороны, преклонение («Черноголовый носит в себе какой-то чудесный ключ, отмычку к большим и малым событиям»), с другой—отрицание («человек с бесстрастным математическим характером—ложь и глупость»).

И на этот раз рука Мартына вычертила и разукрасила образ Черноголового.

Анализ художественной ткани романа можно было бы вести и дальше, но для нас уже ясно основное: психология социального слоя, создавшего данный роман, есть психология Мартына. Автор совпадает со своим героем¹⁾.

¹⁾ В своем анализе мы постарались обойтись без «биографического метода». Считаем не безынтересным все же привести следующую выдержку из сочинения Р. Пихметьева о романе «Преступление Мартына»:

Перейдем к роману Ю. Либединского «Поворот». Уже при беглом чтении этого произведения читатель испытывает странное впечатление: как-будто в одном романе заключены два романа, живущих самостоятельной жизнью и развивающихся в разных плоскостях по своим особым законам.

В первом—повесть о «повороте» партии от военного коммунизма к нэпу, о внутрипартийной борьбе и о взаимоотношениях партии и класса в этот поворотный момент.

Эпиграфом этого романа могли бы быть слова, принадлежащие тому же Либединскому: «У нас люди давались так: вот комиссар такой-то. Ему надлежит обладать определенными чертами. Мы и давали ему такие-то черты и пускали в действие. Дальше—буржуа: ему надлежит обладать вот такими-то чертами. Интеллигент—то же самое: определенный графафет и—идет в действие».

Первый роман в значительной степени написан по этому рецепту. Троцкист — пожалуйста! — вылощенный интеллигент, бюрократ и т. д.

Меньшевик—с удовольствием!—вот вам один: геометрически-точный мещанин, всю жизнь мечтающий о сытости и «парадной комнате»; а вот другой—начетчик, схематик, мозгляк.

Вот как мечтает последний, например, о будущем обществе: «Слово «демократия» скрывало у него мечту о таком совершенном обществе, в котором будет идти свободная борьба предпринимателей с рабочими: на одном полюсе все концентрируется, на другом все пролетаризируется, а когда все опролетаризируется и все сконцентрируется, тогда общество с точностью автомата перевернется и с головы встанет на ноги...»

«Основные события повести целиком взяты из действительности... Трагедия Мартына Баймакова, вставшего перед лицом партии со своим случаем в Липках, а затем погибшего из-за нигде негодного порыва (почти по Достоевскому: самому утверждать себя перед людьми),—не вымысел. Даже детали переживаний героя могут почитаться существовавшими в природе, так как многое здесь есть интимный продукт самого наблюдения автора в моменты, тождественные описанным в главах V, VI, VII, XIII и XIV... («Чип» № 36, 1928 г. Курсив наш).

Это не живая мечта живого меньшевика, а цитата из учебника политграмоты.

Красноармейцы, напротив, brave герои—на партийном собрании они все как один «думают о строевых занятиях и обо всем обиходе армейской жизни». Эта фраза режет слух своей нестерпимой фальшью.

Этот роман создан безукоризненным коммунистом: в нем свято соблюдены все тезисы и резолюции.

Но в это произведение, как в футляр, вставлено другое, написанное как-будто другим человеком. Сами по себе двигаются, действуют, разговаривают марионетки с ярлычками «большевика», «меньшевика», «рабочего», «интеллигента», движение рукой автора совершается поворот так, как о нем написано в лучших книжках, но независимо от этой рационалистической схемы живет своей жизнью второй роман, со своей особой идеей.

И там нет уже ни большевиков, ни меньшевиков, ни троцкистов, ни ленинцев, ни рабочих, ни интеллигентов — все люди во втором романе удивительно похожи друг на друга, все они скроены и сшиты по одной колодке.

Все они двойники. Внутри каждого из них живут два существа, одно—на поверхности, другое—в глубине. Эти существа почти всегда враждуют меж собой, при чем «глубинное», «темное», «стихийное», «подсознательное» лишь смутно чувствуется и ощущается человеком, неожиданно, однако, проявляет себя и является подлинным его хозяином.

«Что же это со мной происходит?», «что же это я сделал?», «как же это я?»—такие вопросы задают себе рабочие, красные директора, профработники, меньшевики, чувствуя свою беспомощность перед темной и властной стихией подсознания.

Все они страдают неодолимой страстью к самоанализу, все они постоянно прислушиваются к смутным и неясным движениям внутри себя.

«Он искал в себе чего-то, что он в себе чувствовал, но не мог назвать словами» (коммунист Шорохов).

«Она прислушалась к себе и оглянулась, точно ища исчезнувшее чувство» (работница Ольга).

«Варя слушала внутри себя смутные и неясные движения» (коммунистка Косихина).

«Он прислушался к себе и похоже было, что один человек, измотанный и усталый, перебивает другого, тупого и самоуверенного» (меньшевик Азриель).

«Какую-то неясность и неправильность чувствует в себе каждый» (рабочие на собрании). «Они сидели, точно прислушиваясь к себе» (партийцы на собрании).

Можно было бы без конца продолжать эти цитаты.

Далее лучший, идеальнейший человек в романе, старый большевик Зевелев, не лишен этой психологической извращенности: «он любил наблюдать за тем, как освобожденная от господства рассудка часть его личности начинала самостоятельно жить».

Не в ладу с самим собой живет человек Либединского.

«Всю жизнь преодолевая себя, он делал не то, что хотел».

«Он чувствовал неприязнь к заложенному в нем началу».

«Он почувствовал себя как человек, который изо дня в день двигал тяжелое колесо и вдруг обнаружил, что движение этого колеса идет вхолостую».

Этими словами характеризованы люди различные по фамилиям, по партийным и фракционным принадлежностям, но единые по своему внутреннему социально-психологическому складу.

Даже рабочий класс в целом совпадает в характеристике Либединского с образом человека, который «всю жизнь, преодолевая себя, делал не то, что хотел». Большевиком, по Либединскому, чуждое рабочему классу, «мешающее» ему начало. «Когда Румянцев (большевик) появился в цехе (после гражданской войны), ничего в нем особенного не заметили. Но потом получилось как-то так, что он начал всем мешать. Он встретил во все и свои несуразные мысли, преисполненные книжных и газетных слов, противопоставлял тому освященному временем, казавшемуся нерушимым складу

жизни, который лежал перед каждым как рельсовый путь перед паровозом, складу, смысл которого в формуле «каждый человек норовит в свой карман, о чем бы не брехал».

Подумайте—какая в данном случае разница между пролетариатом и мелкой буржуазией? Ее не заметишь и под микроскопом.

Либединский старательно и тонко рисует психологию своего «смутного» раздвоенного человека, прислушивающегося к самому себе, зараженного страстью к рефлексии, самоанализу и самобичиванию.

Представление о двойнике, как об универсальном типе человека, пронизывает весь стиль второго романа. Там ходят люди-призраки, тени, сотканные из неясных смутных, обескровленных ощущений, чувствований, влечений.

Даже пейзаж рисует Либединский соответственно психологии своего человека—у него всегда «призрачный полусвет комнатных сумерек», облачный день, когда «все призрачно и серовато», «отсветы заката», «пыльная полутьма клуба» и т. д.

Два романа—два стиля.

В одном все ясно, определенно... и рационалистически-книжно. В другом—люди, прислушивающиеся к смутной и темной стихии внутри, грустные думы о человеке, акварельные тона... и подлинная, живая душа художника.

На одной «полочке»—пролетарское мировоззрение, на другой—чеховские настроения, чеховские люди, чеховские краски.

Не распадается ли сам писатель, подобно своим героям, на две половинки?

Конечно, да! Раздвоенный художник создал два романа в одном: он же, ища ответа на вопрос «что такое человек», размышляет по сути дела над своей специфической психологией и наделяет ею всех людей; его второе «я» определило стиль второго романа.

Идентичность художника школы «пролетпсихологизма» со стержневым образом всего течения полностью подтверждается и на данном примере.

Рассмотрим с этой точки зрения еще одно произведение пролетарского психологизма, «Бруски» Ф. Панферова.

Что такое «Бруски»? Это повесть о земледельческой артели. Вот первый ответ, который приходит в голову по прочтении романа. Как заглавие, так и композиция произведения говорят о такой тематической установке автора. Строится артель, растет и, преодолевая сопротивление старой, косной части деревни, выводит ее (деревню) на путь коллективизации. Такова несомненно схема романа. Но, приглядевшись к роману ближе, мы скоро заметим одну странность: «Брускам», т. е. самой артели и ее участникам посвящено вряд ли больше одной десятой части романа—о ней говорится вскользь на немногих десятках страниц.

При этом все, что касается артели, крайне схематично. Как внешний рост артели, так и внутренний, духовный рост участников ее дан исключительно скупо и неубедительно. Нет ни одной живой, запоминающейся фигуры среди «артельщиков», кроме разве фигуры организатора артели, Степана Огнева.

О нем мы поговорим позже, теперь же упомянем лишь, что и образ Огнева дан главным образом внешне. Внутренний показ пружин его психологии, духовного его роста до степени убежденного коллективиста-организатора отсутствует совершенно. Степан Огнев дан, как некая сила, стоящая над деревней, как двигатель, кем-то заведенный и пущенный в ход. Понятно поэтому, что ни Степан Огнев, ни другие «артельщики» не являются центральными, стержневыми образами «Брусков».

Вместо них эту роль выполняет Кирька Ждаркин, который является подлинным «организующим» образом другого романа, подобно узнику в клетке, томящемуся в «чугунном ошейнике» романа об организации артели.

Кто такой Кирька Ждаркин? Это—бывший боец Красной армии, краском и краснознаменец, желающий и в деревне выполнить заветы Ильича. Но... в нем силен частно-собственнический инстинкт, мешающий ему войти членом в огневскую артель и, наоборот, толкающий на единоличное хозяйствование.

Женившись на дочери кулака и путем упорного труда, а отчасти и несомненно честными путями обзаведясь крепким хозяйством, Кирька на словах и даже в мыслях остается «почитателем» ленинских идей, но на деле он — сам крепкий хозяин, оплот кулацкой части деревни.

Перед нами опять наш старый знакомый, раздвоенный человек, у которого идеология находится в резком противоречии с инстинктами, с «нутром».

Понятно, что при условии такой раздвоенности Кирька не может спокойно наслаждаться своими хозяйственными успехами. Даже наоборот: чем больше растет его достаток, тем больше он чувствует неудовлетворенность и беспокойство. Он — на бездорожьи. Податься к Огневу мешает ему непреодолимый инстинкт собственности, жадность (Кирька чувствовал, что все — и коровы, и овцы, и дом, и лошадь «приросли к сердцу»): но и к кулацкой части деревни — к Плакущеву, к Быкову и др. он испытывает неприязнь.

Какова же проблема, стоящая перед Кирькой? Это — проблема частной собственности, сознающей свою неизбежную гибель, но не приемлющей путей к коллективизму.

Проблема эта частично стоит перед всей деревней, находящейся на переломе от частно-собственнического хозяйства к коллективизации. Но наиболее остро она стоит не перед бедняком, а перед крепким крестьянином.

В «Брусках» этот вопрос так и поставлен. На чем, помимо Кирькиной драмы, построен роман? На переживаниях Чухляева, Плакущева, Катаева Быкова и др. и мущих крестьян. В чем сущность переживаний этого имущего крестьянства, как оно дано в «Брусках»? Растерянность, недоумение, неловкость от новых порядков. Захар ли Катаев, до революции наживший несколько тысяч, а после революции — со своей политикой «кубышки» дохозяйничавший до того, что его «тысяч» хватило лишь на покупку пары котлов старухе; Плакушев ли, му-

чительно и напряженно думающий, «за какой бы сук покрепче теперь можно было бы ухватиться крестьянину»; Чухляев ли, потерявший весь аппетит к жизни и хозяйственное соображение от того, что в «доме перегородка» (отгородился сын, самовольно женившийся на дочери Огнева), — все эти переживания выражают тревогу имущего крестьянства, чувствующего, как зашаталась исконная устои.

Итак, проблема Кирьки Ждаркина — это проблема имущего крестьянства. Как, в конце концов, разрешается Кирькой эта проблема? Никак. Кирька, в конце концов, бежит из деревни, проклиная ее и отрясая ее прах от своих ног. Разрешением проблемы такой выход можно назвать лишь в узко субъективном смысле — это выход лично для Кирьки (да и то не окончательный), но не для того социального слоя, который он олицетворяет.

Представим себе теперь, что Кирька, ушедший в город, написал бы роман о деревне. Мы утверждаем, что он написал бы именно нечто подобное «Брускам».

Каков психический склад Кирьки? Он отличается крайней эмоциональной неуравновешенностью. Кирька подвержен резким переменам настроения, предчувствиям, припадкам раздражения и внезапным эмоциональным взрывам, близким к истерии.

Упрек соседки воспринимается им так, как будто «кто ножом полоснул под левое ребро». Простое предчувствие так на него действует, что он готов «не плакать, а ревмя-реветь, реветь так, как ревет корова при неудачном отеле».

На ряду с этой сверхэмоциональностью, мы видим полную стихийность Кирькиной душевной жизни.

Он то бежит из деревни, то возвращается обратно, «будто его кто арканом дернул». То кидается к умирающему Огневу, то «обессиленный, будто кто выколотил из него силы», опускается на землю.

Эта смятенность Кирькиной души ясно отпечатлелась в стиле романа: взорвался смехом, выкинул в смехе, метнулся, кинулся, взбулгачился, выкрикнул, выбросился, воткнулся, за-

трясся, сжался, извился, резанул, встрепенулся, ткнул, сунул, омахнул,—вот наиболее часто встречающиеся глагольные формы.

Эпитеты и сравнения носят на себе отпечаток подобной же настроенности.

На гумнах—«кукиши прошлогодней соломы», «зеленя тарашатся», «Волга вздулась волдырем», ночь—«торчит за окнами» (в другом месте—«ночь—лохматая шапка»), «тучи грызутся» и т. д.

Однако, не только природа, но и люди даны в преломлении мятущейся Кирькиной психики.

«Ровно кто пылающую головешку бросил в широковцев—дрогнули они, метнулись...»

«Кровью налились воспаленные глаза, затряслись от злости бороды, лохматые шапки, картузы».

«Злоба внутри колготила кипятком», «злоба кольями полетела в головы»—такими изобразительными средствами пользуется автор, показывая людей.

Крестьянство «Брусков»—взрывчатый клубок стихийных страстей, среди которых преобладает жадность и злоба собаки, борющейся за свою кость.

Именно такой и представляется Кирьке деревня в момент его «прозрения», приведшего к решению бросить деревню:

«Оборотни!»—кричит Кирька, обращаясь к деревне. «Оборотни! Корова их заела, лошадь, загон, кусок, вошь. Рвут друг другу глотки, грыжу наживают».

Панферову Кирьке все люди кажутся одинаковыми: точно таковы же и выведенные в романе представители города, коммунисты—Огнев и Жарков. Такие же, как у Кирьки, припадки злобы у Огнева; такие же неосознанные настроения и неудержимые эмоциональные порывы у секретаря губкома Жаркова. Последний на волостном съезде советов делает доклад, три чем, увлекаясь вместе со всеми, «как щепка в половодье», «бледнея», «испытывая нервную дрожь во всем теле», и прочие признаки крайнего волнения,—он в своей критике работы вика оказывается неожиданно для самого себя заодно с кулаками.

Для нас ясно одно: не только вся деревня,—весь мир воспринимается автором глазами Кирьки.

Таким образом, мы видим: второе я художника победило первое, ибо именно оно породило художественную ткань романа, именно оно вылепило его образы.

А как обстоит дело с идеологией? Для нас ясно, что идеология второго романа также противоречит идеологии первого. Первый утверждает: выход для деревни в коллективизме, второй—никакого выхода нет.

Особенно ярко это идеологическое противоречие вскрывается в классово-вой оценке кулака. По первому роману кулак—опасный и хитрый враг, по второму—несчастный, заблуждающийся, мятущийся человек, неразумное «дитя», одинокий «бобыль», по определению Огнева.

Если мы сопоставим фигуры Шленки и других бедняков, с одной стороны, и фигуры кулаков—с другой, то ясно: все атрибуты человечности—любовь к труду, любовь к детям, беспокойство мысли—все это «почиет» на кулаках.

Шленка отвратителен физически и нравственно. Даже собственную мать он подвергает нечеловеческим пыткам. Бывают такие бедняки? Возможно... Но нам невольно вспоминаются рассказы другого деревенского писателя—Подъячева. Он много писал о нравственном отупении и даже озверении бедноты, о мерзости ее жизни, о гнусных преступлениях, совершаемых ею чуть ли не ради стакана водки. И однако, Подъячев умеет показать вместе с тем безысходность и горе собственной ее нищеты—он не лишает человечности самых уродливых представителей бедноты и не отнимает у них права на сочувствие.

Этого совершенно нет в образе Шленки.

Чрезвычайно интересно сопоставить изображение Панферовым двух однородных преступлений, одно из которых совершает Шленка, а другое—Плакучев.

Вот описание покушения Шленки на убийство Ждаркина:

«Кто-то ударил Кирьфу сзади и крикнул:

— Вот те за все!

— А-а, вот как!

Кирька быстро вскочил на ноги, обернулся. Перед ним, взмахнув перед собой лопату и метаясь в голову Кирьки, стоял Шленка.

— А, сволочь! Мстить из-за угла!

Точно кутенка, он схватил за шиворот грузного Шленку и швырнул его в ноги озверевших мужиков.

Ни оправдания, ни снисхождения, ни даже элементарной психологической мотивировки не заслуживает Шленка. Просто «сволочь, метящая из-за угла».

Посмотрите теперь, как убивает Огнева Плакущев.

«Павел (дурачок, которого Плакущев натравил на Огнева) рычал.. И Илья Максимович увидел, что Павла кто-то сильно растревил, Павла не удержать... Тогда... Может быть, Илья Максимович этого бы и не сделал, может быть, в другое время его не могли бы даже через пытки заставить сделать то, что он сделал теперь. Но эти дни — это одиночество на отшибе, то, что Кирька за эти дни ни одного слова не сказал ему и все время крутился вокруг Степана Огнева, и то, что Степан Огнев постепенно и упорно забирает себе в руки всех широковцев, и то, что все рушится под ногами у Ильи Максимовича, — все это толкнуло Плакущева на то, в чем он потом тихо про себя не раз раскаивался...»

Никакой адвокат не мог бы лучше защитить Плакущева чем это делает Панферов. В конце концов, читатель жалеет не столько Огнева, сколько Плакущева, «придуманного его убить».

Вот этот «гуманизм» по отношению к кулаку, изображение его, в конечном счете, как заблудившегося и несчастного «бобыля», свидетельствует об определенном кулацком уклоне в романе Панферова, о том, что мелкобуржуазное подсознание автора, мир его инстинктов создал и свою идеологию, существующую на ряду с коммунистической и затмевающую последнюю.

Мы не имеем возможности разобрать здесь другие произведения «школы пролетарского психологизма», — но всякий внимательный и вдумчивый читатель без особого труда может разглядеть и в них идентичность худож-

ника со стержневым образом всего данного течения.

Нам кажется, что в своем докладе и Фадеев приближается к пониманию наличия двух классовых стихий в творчестве этой художественной школы. Он знает, что «пролетарское мировоззрение неглубоко проникло в психику художника, вышедшего из мелкой буржуазии, но связавшего свою судьбу с рабочим классом», что оно носит рассудочно-книжный характер, что оно «лежит лишь на одной полочке психики». И в то же время он подчеркивает, что творить одним лишь рассудком, мобилизуя силы одной лишь «полочки», — нельзя, ибо это приводит к схеме, к художественной фальши. «Художественное творчество, — настойчиво повторяет Фадеев, — есть преломление окружающей действительности через психику художника и выражение ее (действительности) путем величайшего напряжения всех психических сил. Без такого напряжения всех психических сил нет художественного творчества» (курсив наш.—Ав.).

Раздвоенный человек наших дней — с коммунистическим разумом и мелкобуржуазным «нутром», — берущийся за художественное творчество и напрягающий в нем все свои психические силы, неизбежно будет создавать двойственные, двухстихийные произведения.

4. Центральная проблема «пролетарского психологизма»

Мы упомянули уже выше, что «школа пролетарского психологизма» разрабатывает не проблемы психологии человека вообще, а специфические проблемы своего стержневого героя и своего социального слоя.

В одном месте своего доклада Фадеев говорит о необходимости сознательной, длительной, интенсивной работы писателя-попутчика над выработкой своего мировоззрения, о необходимости активного участия в общественной жизни и т. д., ибо только «таким образом происходит совмещение нутра с современностью» (курсив наш.—Ав.).

Это поистине крылатое слово! Эта же проблема «совмещения нутра с современностью» есть центральная пси-

хологическая проблема, проблема всех проблем «школы пролетарского психологизма». Над этой проблемой мучаются все герои этого литературного течения, ее на разные лады разрешают его художники.

Вспомните Мартына Баймакова. На каждом шагу перед ним встает проблема совмещения «нутра» и современности. Вспомните его отношение к Черноголовому, этому олицетворению руководящих сил революции, своего рода полпреду современности. «Нутро» Мартына испытывает к нему органическую неприязнь, но «современность», подчинившая себе рассудок, властно заставляет примиряться и «совмещаться» с ней.

Какими путями разрешают Мартын и художник эту проблему? Путем обожествления господствующей силы современности в лице Черноголового.

Черноголовый «сух», «односторонен», «стереотип». Раздвоенный человек не понимает его. И он заставляет себя «уверовать» в него, приходит к обожествлению чуждой и непонятной ему силы, впадает в своеобразное богостроительство. Слова и дела Черноголового даны поэтому в романе как чудодейственное «откровение», как «какой-то чудесный ключ к большим и малым событиям», как «чародейство» и магия.

Черноголовый, как и Огнев в «Брусьях», поставлен автором над жизнью, как сила, извне управляющая ею: «Жизнь неслась вскачь, напрямик, без дорог. Только кручи да пропасти вставали по сторонам и как ая-то сила всё этим, — грохочущим и буйным донельзя — управляла. И при том более искусно, чем машинист многочисленным своим паровозом... Белоснежная голова Черноголового несомненно вибела надо всем, как студеный, лунный лик в знойном мареве».

Подобные богостроительские тенденции очень характерны для всего данного течения.

Они явственно прощупываются в романе Дайреджиева «Через отмели». Герой этого произведения, колеблющийся между партией и оппозицией, одолеваемый упадочными настроениями, постоянно ощущающий тяжесть

«чугунного ошейника разума и дисциплины», находит выход из своих внутренних противоречий в обожествлении «простой и румяной» работницы Маньши, которой он вверяет свою судьбу.

«На ней, — пишет о Маньше автор, — не осело ни пылинки из вековых традиций, уклада, предрассудков; казалось, она свалилась с другой планеты...»

В этой идеализации явственно слышится иступленное «верую, господи, — помоги моему неверию!» Этим богостроительским путем приходит автор вместе со своим героем к вере в силы рабочего класса, к «совмещению своего нутра с современностью».

Богостроительские нотки отчетливо звучат в романе А. Караваевой «Лесозавод». На этот раз предметом обожествления является переделывающий деревянный завод.

Вот каков он: «Лесозавод пламенел радугами ярче и пышнее небесных. Высоко поднимались золотые румяные россыпи искр. Они источали силу, посылали благодетельные ожоги, зажигали мысль. «Он был прекрасен, непоколебим... Сотнеглазая крыша его превратилась в ослепительные скопления радуги, в их переливах была богатырская щедрость всех плодов земных и радостей человека».

В борьбе со стихиями — «не Вахирев, не Семочкин, и не Андрей Беркутов вели людей, а он — лесозавод!»

Глазами верующего, взирающего на животворящий крест и «уповающего» от него всех «радостей земных и небесных», смотрит писательница на завод.

Эту богостроительскую линию можно прощупать и в других произведениях «пролетпсихологизма».

Невольно вспоминается «богостроительство» Горького. У него и у наших «психологистов» оно имеет сходные социальные корни. Г. Горбачев в своей книге «Капитализм и русская литература» дал во многом правильную характеристику горьковского «богостроительства».

«Горький, — писал он, — в массы мог только верить, приглушив сомнения иступлением веры... Ему нужно

было создать из масс бога и кумира, так как просто стать в ряды этих масс он не мог. Для Горького личность способна подчиниться, ограничить свой размах, дисциплинировать свои запросы только перед богом, перед абсолютным идеалом, — никак не меньше... Социализм, как религия, т. е. нечто, насилующее разум, волю, ослепляющее блеском абсолютных ценностей, космических достижений, это — типично для тех, кто неизлечимо болен индивидуализмом.

Разрешение проблемы «совмещения нутра с современностью» школой «пролетарского психологизма» идет и по другим путям

Один из них — путь самоанализа. Либединский в одной из своих статей дал следующую формулировку: «Отсутствие у коммуниста действенного самоанализа не может быть подменено никаким иным психическим свойством: ни мужеством, ни преданностью революции». («На Лит. Посту», № 2 1928 г.).

Почти все герои «школы пролетарского психологизма» в той или иной степени путем «самоанализа» разрешают свою основную проблему

Это естественно. Если человек постоянно чувствует внутри себя своего врага, неизменно завладевающего им в минуту ослабления рассудочного контроля, — то постоянный, углубленный, ни на минуту не прекращаемый самоанализ неизбежно будет казаться чуть ли не единственным якорем спасения. Очень многое в самом стиле «психологизма» определяется этой настоящей потребностью в самоанализе.

Из проблемы совмещения нутра с современностью вытекает и мечта о «гармоническом человеке», тяга к внутренней гармонии.

Фадеев в своем докладе заявил, что Ермилов сделал ошибку, провозгласив лозунг «гармонического человека». Но разве здесь дело в Ермилове? Ведь все и не он является автором этого пресловутого лозунга.

Ведь слова «борьба за нового человека, за гармонию в нем знания и чувства» были написаны еще Бахметьевым в «Преступлении Мартына». И дело даже не в этих словах, выражающих отвлеченные по-

нятия. Дело в том, что мечта о гармоническом человеке пропитывает художественную ткань большинства произведений «пролетарского психологизма», что тяга к гармонии «знания и чувства», «рассудка и нутра» неотделимо вращается в систему художественных образов произведения.

«Ключи к неслышанному счастью — когда личные желания сливаются с желаниям масс» — в один голос восклицают Мартын Баймаков и Зина Кудрявцева. Эта мечта для них внутренне-закономерна: она вытекает из их характеров, она происходит из острого ощущения своей дисгармоничности.

Тягу к гармоническому человеку можно обнаружить и в «Наталье Тарповой», и в «Лесозаводе», и в «Через огмели» и т. д.¹⁾

Проблема совмещения нутра и современности объективно является проблемой приспособления раздвоенного человека к пролетарской революции. Субъективно же она ощущается им, как проблема внутреннего «душеустройства».

Субъективно раздвоенный человек ищет «ключей к неслышанному счастью», путей к внутреннему равновесию и спокойствию.

«Раньше в мозгу была пыль, от которой потускнели все предметы, а вот пришла Маньша, смахнула тряпкой этой серой слой, и вещи опять блестят матовым теплым блеском. Хорошо! На улице буран. В трубе гудит. Хорошо! Ясно было одно: раньше было плохо — стало хорошо!»

Так чувствует себя герой романа «Через отмели», путем «богостроительства» пришедший к внутренней гармонии. Он разрешил свою субъективную проблему, ему стало «хорошо». Искание путей к подобному состоянию составляет одну из основных движущих пружин психологических изысканий «школы пролетарского психологизма».

После всего сказанного нам становится

¹⁾ Совсем недавно стыдливо припущенное знамя «гармонического человека» вновь подняла Анна Караваева. В № 1 (1929 г.) «Печати и Революции» она пишет: «Проблему гармонического человека, нарощения нового человечества в силах сполна, до конца разрешить только эта молодая ветвь — пролетарские писатели».

ся ясно, что две классовые стихии в художественной ткани разбираемых произведений не существуют раздельно, — между ними проложены мостки. «Нутро» имеет тенденцию создавать и зачатки своей идеологии, которая, существуя рядом с идеологией «рациональной», и нередко в корне ей противореча, все же старается «примирить непримиримое»: связать два чужеродных начала психики.

Мы остро столкнулись с этим явлением в «Брусках»: коллективистическая «рациональная» идеология здесь положительно побивается «нутряной».

То же можно сказать и о богостроительстве. Что это, как не промежуточная, идеалистического толка, идеология «нутра», в корне противоречащая материализму, краугольному камню марксизма, и тем не менее пытающаяся примирить «нутро» с этим последним.

Наконец, поиски внутренней гармонии, тоска по-гармоническому человеку». Не заменяет ли этот магнит устремлений раздвоенного человека большевистской проблемы культурной революции?

Понятно, что эта «промежуточная» идеология воплощается не только в художественных образах. Она имеет тенденцию найти свое публицистическое выражение в трудах теоретиков этой школы. Пример: лозунг Либединского — в самоанализе спасение революции.

5. Кто же он — лишний человек или строитель социалистического общества?

В журнале «На Литературном Посту», одним из руководителей которого является Фадеев, не было до последнего времени полного единства мнений по вопросу о социально-психологической оценке раздвоенного человека.

Особенно ярко выявилось это несоответствие взглядов при характеристике образа Мартына Баймакова.

В образе Мартына, — утверждал Либединский, — автор дал пример «действенного большевистского самоанализа». Это подлинный герой нашего времени, строитель социалистического общества.

Нет, «Мартын — тип лишнего человека», он «чужой человек» — раздавался голос А. Зонина на страницах того же журнала.

Трудно понять, как могли столь противоположные мнения мирно уживаться, — хотя бы временно, — внутри единой теоретической группировки: ведь здесь лежит коренное расхождение по всем основным вопросам развития пролетлитературы

Ведь говоря о Мартыне, мы тем самым говорим не только о центральном герое всей «школы пролетпсихологизма», но и о художнике этой «школы», в основном совпадающем со своим героем.

Давая социальную характеристику Мартыну, мы тем самым нащупываем социологический эквивалент всей «школы пролетпсихологизма», характеризуем социальный слой, ее породивший. Где правда в этих противоположных мнениях?

Кто прав — Либединский или Зонин?

Положение Либединского не выдерживает серьезной критики. Весь предыдущий анализ показал нам, что стержневые герои произведений «пролетпсихологизма» — Мартыны, Вороховы, Вихровы, Ждаркины и пр. — являются раздвоенными выходцами из мелкой буржуазии, лишь рассудком близкими пролетариату, стремящимся одной ногой «догнать стальную рать, скользя и падая другой». Соответственно этому и вся «школа пролетпсихологизма», как таковая, может быть причислена к пролетлитературе лишь весьма условно, со многими оговорками, — она является пролетарской лишь по устремлению, но не по содержанию, представляя собой, во всяком случае, одну из ее боковых ветвей¹⁾.

¹⁾ Подчеркиваем, что мы говорили лишь о произведениях, а не о всем творческом пути писателей, составляющих нынешние кадры разбираемой «школы». Многие прежде произведения упоминаемых писателей (напр. «Неделя» Либединского или «Копейки» Семенова) должны быть отнесены к другим стиливым линиям пролетлитературы.

Конечно, более или менее исчерпывающий анализ «школы пролетпсихологизма» должен был бы осветить ее на деле предыдущего этапа истории пролетлитературы и в проти-

Смешно принимать охарактеризованный социально-психологический тип за героя нашего времени, за стержневой тип эпохи.

Но является ли он «лишним человеком»? Этот вопрос гораздо серьезнее. Нельзя отрицать, что основная психологическая черта «баймаковщины» — острое ощущение разлада между сознанием и волей, между принципами и социальными инстинктами, между разумом и подсознанием, — является одной из главнейших черт всей галереи лишних людей русской литературы.

Вот что писал В. В. Воровский о «лишних людях» в статье, посвященной этой теме:

«Основная психологическая черта лишних людей, это — разлад сознания и воли... Их половинчатость и раздвоенность по необходимости противопоставляет принципы и ощущения, долг и желания. И долг в силу этого является чем-то чуждым, внесенным извне, каким-то холодным, бездушным императивом, тяготеющим над человечеством, как злой рок. Он не вытекает органически из цельной психологии субъекта в полном соответствии с его волей, с его общим настроением, а является каким-то внешним, суровым законом, навязанным человеку какой-то высшей силой. И человек-раб стра-

вопоставлении основным линиям развития ее сегодняшнего дня. Совершенно необходимой является задача рассмотрения данной школы в связи с общим вопросом о кризисе роста пролетарской литературы, одним из частных проявлений которого является само возникновение и развитие данного литературного течения.

Настоящая статья не ставит себе этих задач.

Возможно, что это является одним из ее недостатков: у читателя может создаться ложное впечатление, будто бы авторы, не противопоставляя почти ничего разбираемым писателям, вообще подвергают сомнению существование пролетарской литературы.

Это впечатление будет ложным, ибо для нас пролетарская литература вовсе не ограничивается 7-8 разбираемыми авторами, а представляет собой огромное движение, с большим историческим прошлым, с глубокими корнями и разнообразными ответвлениями. Это движение насчитывает в своих рядах многие десятки определившихся художников, располагающихся по разным стилевым осям и массовую писательскую поросль, прибывающую к свету из глубин класса.

дает под гнетом этого закона, но подчиняется ему... Человек должен быть верующим (говорит один из чеховских лишних людей) или должен искать веры, иначе жизнь его пуста, пуста. Эта обязательность веры является очень характерной чертой психологии лишних людей, но вместе с тем она с логической неизбежностью вытекает из всех их позиций. У здоровых, бодрых поколений вера в будущее является неотъемлемой, органической частицей того общего настроения, которое толкает их на борьбу и заставляет выдвигать в борьбе известные цели и лозунги. Их цельные натуры не знают разлада между сознанием и волей, между убеждением и верой. Они и мыслят, и верят, и действуют под влиянием единого настроения, единой цепи ощущений. Не то падающие, отмирающие течения» (В. Воровский «Литературные очерки», статья «Лишние люди», стр. 63).

Мы извиняемся за несколько длинную выписку. Но она как-будто специально написана о наших раздвоенных людях.

Да, многие черты лишнего человека свойственны им. До известной степени им свойственно и самочувствие «падающего, отмирающего течения». Культурный рост пролетариата все больше оттесняет на задний план «выходцев из мелкой буржуазии, связавших свою судьбу с революцией». Недаром роман «Через отдели» имеет следующий эпиграф: «Интеллигенция, брат, погибла безвозвратно. Ее место занял актив рабочего класса — партийный и беспартийный». Не случайна, конечно, и литературная традиция этого течения, идущая от тургеневского Рудина, толстовского Пьера Безухова, чеховского Иванова¹⁾.

Мироощущение лишнего человека, как мы видим, в большой степени свойственно «школе пролетарского психологизма». Психология лишнего человека — таков один из полюсов, к которому стремится в своем развитии наш

¹⁾ Теоретики этого течения вполне последовательны, когда объявляют наиболее близким себе по творческому методу чеховский театр — МХТ I.

раздвоенный герой. Такова одна из тенденций его развития. Но эта тенденция существует на ряду с другой — на ряду с тенденцией превращения раздвоенного человека в иной психологический тип.

Наша эпоха — не эпоха Чехова. В чеховское время Мартыны, вероятно, полностью и безоговорочно были бы в стане лишних людей. Сейчас же то. Идеологически тесно связанные с рабочим классом, они имеют возможность развиваться и по другому направлению. Возможность коренной переделки и переработки их социально-психологической природы ни в коем случае не исключена.

Вот почему нам кажется ошибочным чрезмерно прямолинейное и категорическое зачисление Мартына (а вместе с ним и всей «школы пролетпсихологизма») по разряду лишних людей.

6. Заключение

Итак, пролетарская переделка природы раздвоенного человека — вещь вполне возможная и теоретически допустимая. Но... ничто, пожалуй, не может так этому помешать, как провозглашение его основным типом пролетарского революционера современности, и создаваемой им литературы — «столбовой дорогой пролетарского искусства». Меж тем, именно это проделывается сейчас на все лады чуть ли не на всех литературных перекрестках.

Больше того — от нас требуют отказа от классовой критики по отношению к этому литературному течению

В 1 номере (1929) журнала «На Литературном Посту» напечатано заключительное слово Ю. Либединского на 1-м съезде ВОАПГ. Там есть одно весьма примечательное место:

«Какие задачи ставило марксистское искусствознание эпохи завоевания власти?» — спрашивает докладчик и дает следующий ответ: «Марксисты-искусствоведы анализировали произведения и говорили, что такое-то произведение является продуктом определенного склада общественной действительности. Они разоблачали классовую сущность искусства». А теперь? Теперь «задачи марксистского искусство-

ведения уже другие. Оно должно показать произведение изнутри, должно раскрыть процесс его творческого созидания...»

Не угодно ли? Нам «уже» не надо «разоблачать классовую сущность «художественного произведения», «уже» не надо определять, «продуктом какого склада общественной действительности оно является». Во всяком случае, нам строго-настрога запрещается с этой точки зрения подходить к произведениям... самого Либединского и всей школы «пролетарского психологизма».

Это положение тем более ошибочно и вредно, что роль и значение классовой марксистской литературной критики никогда не были так велики, как в настоящий период обостренной классовой борьбы в стране. Та же школа «пролетарского психологизма» может стать вреднейшим явлением, поскольку она будет пытаться «замещать» собой всю пролетарскую литературу, или претендовать на центральное место в ней. Лишь прожектор марксистской критики может раскрыть ее подлинную социальную сущность и ее место в литературе. Тем самым он выявит и своеобразную историческо-литературную ценность этого течения.

Оно ценно именно как выражение психологии интереснейшей социальной прослойки нашего времени, — выходцев из мелкой буржуазии, вовлеченных революцией в орбиту идейно-политического движения пролетариата. Их духовная драма до известной степени отражает драму всего огромнейшего массива мелкой буржуазии, которая вопреки внутренне заложенным в ней тенденциям продвигается все же по социалистическому пути развития. Понятно, насколько велико значение этого литературного течения в условиях нашей страны.

Рассмотренные художественные произведения ценны именно потому, что они раскрывают внутренний мир этой социальной группы, знакомят с ее жгучими проблемами, дают возможность познать ее изнутри.

В этих произведениях много и подлинного искусства, поскольку в них

глубоко и искренне выражает себя данная социальная группа.

В докладе Фадеева имеются попытки приписать нам, левому крылу пролетарской литературы, стремление заставить всякого писателя обязательно выражать пролетарскую идеологию, отражать психологию рабочего и т. д.

Избави нас бог от таких рецептов! Литература раздвоенного человека потому и ценна, что она выражает психологию своего социального слоя. Заставь ее изображать внутренний мир рабочего, выражать мироощущение пролетария, и она будет нестерпимо фальшива, сера, казенна, потеряет весь свой вкус и аромат. Но ведь на то она и не «столбовая дорога пролетарской литературы».

Меньше всего мы хотели бы повернуть или возвратить ее на путь схематизма и рационализма. Не нужны нам «голые мыслительные машины», люди, лишенные психологии.

Мы знаем, что пролетарская литература будет отражать не только мысли, но и ощущения, переживания, инстинкты своего класса.

Конечно, разнообразные люди, составляющие этот класс, — не «гармонические человеки». Личность рабочего развивается в противоречьях. Это реальный земной человек, со многими пережитками и недостатками, которые порой мучительно ощущаются и преодолеваются медленно, с трудом, создавая острые внутренние коллизии.

Это не «идеальный пролетарий», — он не «сваливается с другой планеты», как дайреджиевская Маньша.

Пролетарская литература покажет внутренний мир рабочего во всем его богатстве и своеобразии.

Но это будет внутренний мир рабочего, а не больших и малых Баймаковых.

«Как строить новую жизнь, — мы совершенно себе не представляли. Мы в своих рассуждениях, в своих поступках большей частью руководились инстинктом» — говорит боль-

шевик - молотобоец, герой повести И. Жиги «Начало».

Было бы вредно и смешно, особенно в эпоху культурной революции, идеализировать низкий уровень интеллектуального развития героя повести «Начало». Перед ним в числе других стоит важнейшая задача — вооружить себя знаниями, овладеть культурным наследием человечества, подняться на вершину марксистско-ленинского мировоззрения, достичь преобладания «сознательности» над стихийностью.

Но в высшей степени важно подчеркнуть, что этому герою его основные социальные инстинкты не мешают, а помогают делать пролетарскую революцию. Внутренне присущие пролетариату тенденции развития совпадают с направлением развития всего общества (и именно поэтому он является ведущей и господствующей социальной силой). Внутреннее раскрытие этого класса в художественных образах не дано еще нашей литературой. Живой человек рабочего класса, живой рабочий для нашей литературы — и в особенности для «школы пролетарского психологизма» — еще книга за семью печатями.

В процессе переустройства мира (а не в процессе «самоанализа») он тоже изменяет свою собственную природу. На этом основании некоторые пытаются создать своеобразную «теорейку» — рабочий, мол, переделывается, крестьянин переделывается, интеллигент переделывается, — значит существует некий универсальный «всеклассовый» тип «переделывающегося человека», а этим универсальным типом и является как раз раздвоенный герой «школы пролетарского психологизма».

Этой ликвидаторской пошлостью хотят замазать стоящую перед пролетарской литературой задачу изображения всего процесса переустройства общества и основного субъекта этого процесса — живого рабочего.

Разрешая именно эту задачу, пролетарская литература и найдет свою «столбовую дорогу».

4. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ ГР-НА АДУЕВА

Д. Горбов

I

«Новый Леф» испустил последний вздох. Как и все, что дало это сугубо индустриальное, жизнестроительное существо, вздох оказался... литературой. На этот раз, однако, это — литература факта. Так называется сборник лефовских теоретиков, недавно выпущенный изд-вом «Федерация»¹⁾. И хотя на титульном листе значится: «Первый сборник материалов работников Лефа», но самый беглый просмотр убеждает, что сборник этот не первый, а последний.

В книге нет новых материалов. А ведь нового в праве мы ожидать от первой книги. Все статьи — перепечатка из журнала «Новый Леф». Что же касается «вводных статей во всех разделах», написанных заново, о которых говорит предисловие, — редактор сборника тов. Чужак, видимо, забыл включить их в книгу: никаких вводных статей к разделам там попросту нет.

Взамен этого дана заключительная ко всему сборнику статья С. Третьякова под выразительным заглавием «Продолжение следует», — что-то в роде классического «мы еще вам покажем», которое посылается удаляемой с литературной улицы группировкой прямо в лицо охочей до скандала толпе зевак.

Но первый или последний — сборник не лишен интереса. Он — тематический. Из всего новолефовского наследия выбрано только то, что трактует одну определенную тему. Ее-то считают экс-лефы основной в прошлом и единственно достойной разработки в будущем. Это «литература документа-факта» или «фактография». В сборнике своем покойные Лефы пытаются воскреснуть «фактовиками».

Звание «фактовика» обзывает к серьезности. Многие авторы сборника произносят, нахмутив брови и, как говорится, с выраженьем на лице, а то

и цедя слова сквозь зубы с ученым видом знатока.

«Главное — мы хотим быть полезными нашему советскому писательскому молодняку...» — с солидной скромностью и явным сознанием собственного достоинства заявляет Леф в коллективном предисловии («Об этой книге и об нас»).

Но вот — несколькими строками ниже:

«В статье «Литература жизнестроения» делается необходимым исторический пробег по русской литературе» (курсив наш. — Д. Г.).

Ох, уж эти пробеги — исторические и географические — «галопом по Европам!» Не была ли вся лефовская «индустриализация» таким вот словесным «пробегом» по идеям, волнующим нашу эпоху? И не к нему ли сведутся хлопоты лефов о новом лозунге: «фактография»? Эти опасения не лишены оснований. Мы уже не говорим об отдельных срывах в привычный эпатаж и дебоширство, в роде таких вот: «можно ли написать «элегию на смерть Дзержинского»? Можно, все можно, но это будет похабно и неприлично...» (Перпов. «Культ предков и литературная современность»).

Эти срывы сравнительно редки. Общий тон сборника более или менее серьезен. Но... гови природу в дверь, она влетит в окно. Богемский эпатаж и дебоширство, довольно тщательно убранные из словесного оформления, возвращаются к теоретикам Лефа в самом способе мыслить и ставить проблему. Перестав быть фактами литературного стиля, они тем ярче выступают как характерные признаки мыслительной походки. Более того, они входят здесь в самую мысль, становятся неотъемлемой частью ее существования. И — что совсем уже печально, — испытанные эти способы саморекламы накладывают свою печать даже на теоретические выводы сборника, целиком определяя самую позицию ее авторов.

Очень скоро становится ясным, что не столько о пользе «нашего советско-

¹⁾ Литература факта. Первый сборник материалов работников Лефа. Под редакцией Н. Н. Чужака. Изд. «Федерация», М. 28 г.

го писательского молодняка» пекутся фактовики, сколько об интересах своей группы. Ибо и на этот раз, на словах хлопоча о «литературе факта», Лефы протаскивают полуприкрытую отвлеченными рассуждениями литературную саморекламу. Факт или реклама? — вот вопрос, встающий перед читателем «Литературы факта». Наш советский писательский молодняк, к которому книга адресуется, должен дать себе ответ на него.

Сделать это не так-то легко человеку неискушенному. Ведь очень редко ложь выступает открытой и оголенной. В таком виде она — плохое средство рекламы. И лефы, заговорив о «литературе факта», не просто лгут. Нет, они... искажают истину. Сделав правильные наблюдения над некоторыми тенденциями в современной нашей литературе и словотворчестве в широком смысле слова, они спешно ретушируют собранный эмпирическим путем материал, тут положив погуще тень, там смазав четкую линию, всюду делая своеобразный монтаж из явлений действительности, — монтаж, который одним видом своим должен убедить читателя в правильности желательных для Лефа выводов.

II

В чем же соль выдвигаемого «фактовиками» лозунга?

«Отвращая от литературы праздной выдумки, преподносимой под флагом заповедного и раз навсегда мистически предначертанного (?) «художества», мы всячески обращаем внимание наших товарищей на новую, пробивающую уже себе дорогу литературу, — литературу не наивного и лживого правдоподобия, а самой всаде-лишной и максимально точно высказанной правды» — читаем мы в предисловии.

Из дальнейшего становится ясным, что под литературой «праздной выдумки» и «лживого правдоподобия» следует понимать немного-немало как всю художественную литературу как современную, так и классическую, как русскую, так и мировую. Из рассуждений «фактовиков», которым никак

нельзя отказать в цельности и последовательности, явствует, что не те или иные явления литературные отрицаются: отвергается самый принцип искусства.

Чем же плохо искусство? Прислушаемся к следующим словам:

«...Нам определенно не нравится это вредное, в плане последовательного разрезывания задач нашей эпохи, отвлечение... от... прямой работы над реальностью и столь же вредное натаскивание... внимания в сторону литературного вымысла».

Это журит своего романтического племянника русский бизнесмен, гончаровский Адуев?

Ничего подобного. Это Леф, устами т. Чужака, делает предсмертное напутствие пролетарской молодежи: поменьше фантазии, побольше дела.

За что обрушивается на художественную литературу «почтенный дядюшка», уважаемый делец, активист буржуазного накопления, ныне сменивший респектабельный сюртук на «лефу» толстовку?

«Праздная выдумка» — вещь вредная. Она изображает людей типа Адуева в неделовом виде, «голенькими». Получается чорт знает что. Вы подумайте только: «Выискивается какая-нибудь слабость в человеке, — например: неравнодушие к женщине чужого класса, усталость, момент сомнения, привязанность к семье, приступ стихийного малодушия и т. д. и т. п... и слабость эта выпирается во главу угла, частности искусственно раздуваются в целое, сложность большого комплекса упрощается до одной, нелепо доминирующей черты. Ясно, что в результате получается: человек-обманщик, человек-скупец, человек-ревнивец и т. д. и т. п... И ходит человек голеньким».

Случай, что и говорить, не из приятных. Гр-н Адуев в практике своей без обмана обойтись не может. Известное дело: не обманешь — не продашь. Но чтобы он был обманщик? Ну нет-с, извините. «Праздная выдумка». Поддавать на эксплуатируемых рабочих ради лишней копейки, — без этого дела тоже не сделаешь. Но при чем тут корысть, скупость? Опять-таки «выдумка праздная», «лживое правдоподо-

бие». Нечистоплотность в своем собственном личном быту гр-н Адуев компенсирует требованием безупречной верности, предъявляемой к жене: ведь это его собственность. К нарушению верности он беспощаден. Но — ревнивец? *Fi dopc...* Клевета. «Праздная выдумка» вредных сочинителей.

Понятно, чем искусство насолило гр-ну Адуеву. Эта «праздная выдумка» вредна бизнесмену в двух отношениях: во-первых, она говорит правду о нем самом, о его внутреннем мире, она хочет познать его не с фасада, не с внешней парадной стороны, как объект, а с внутренней, как субъект. Но субъект гр-н Адуев неказистый. Поэтому не пытайтесь проникнуть в его внутренний мир, потрудитесь трактовать его с точки зрения того, каков он в деле, ограничьтесь внешним, «объективным», описательным изображением его деловито-нахмуренных бровей или сладостной улыбки, которой он обдает нужного ему посетителя. Не пытайтесь проникнуть дальше.

III

Но искусство неприятно гр-ну Адуеву не только тем, что показывает его «голеньким». У искусства есть еще одна скверная претензия. Оно не только потрясает основы, разоблачая внутреннюю сущность бизнесмена. Кроме этой отрицательной роли, оно выполняет и другую, положительную. И эта положительная работа искусства в глазах гр-на Адуева не менее отрицательна.

Гр-н Адуев терпеть не может, когда эксплуатируемые им подчиненные читают Гоголя. Гоголь показывает им гр-на Адуева голеньким. Но и Пушкин у него не в фаворе. Ну, Пушкин-то чем ему вредит? Правда, есть у Пушкина эдакие стихотворения — «вольные», с вольтерьянским, карбонарским духом. Гр-н Адуев слышал про это. И не только слышал, а в молодости, когда был глуп, сам увлекался. Но ведь известно, что сам Пушкин под конец образумился и заявил, что поэты созданы «не для житейского волнения, не для корысти (эдакие чудаки!), не для битв»... Вот это самое главное — «не для битв!» Ну и бог с ними, и пускай поют.

Но вот, странное дело, не спится от этих песен гр-ну Адуеву. Не то чтобы «сладкие звуки» волновали ему кровь. До того ли деловому человеку. Избыток энергии, не ушедший в дело, находит у него выход в супружеских радостях и легких удовольствиях на стороне. Гр-на Адуева волнуют не «сладкие звуки» сами по себе, но власть их над другими «субъектами».

«Субъект», находящийся в подчинении у бизнесмена, не должен интересоваться «сладкими звуками». Это вредит делу, отвлекает энергию, которая должна идти целиком и полностью исключительно на обслуживание его, бизнесмена, коммерческих интересов. «Сладкие звуки» заставляют человека задуматься, заглянуть в свой внутренний мир, почувствовать в себе личность, уделить внимание ее запросам и, в конце концов, переоценить заново тот общественный порядок, в котором господствуют бизнесмены, а человеческая личность превращена в орудие производства звонкой монеты. И все это «сладкие звуки» делают потому, что обращаются к субъективному миру человека, не позволяют ему поверить, что он является только объектом, только орудием буржуазного производства, властно напоминают ему, что в нем жив субъект, т. е. личность, права которой могут быть до времени обойдены, но не уничтожены.

«Праздные выдумки!» «Живое правдоподобно!» — твердит встревоженный гр-н Адуев. Он вырывает Пушкина у своего племянника и сует ему в руки приходо-расходную книгу.

Праздные выдумки! И не только праздные, но и вредные!

«Жизнестроение... или же пропускание уже построенного через призму осознания (не говорим уже — «прекрасного»)? Вся правда подлинно реальной жизни, — или же правдоподобие идеалистического «реализма»? Столк науки и литературы в обработке факта, или же праздная выдумка не вежественных имитаторов жизни, если не классовых врагов? (Чужак. «Литература жизнестроения»).

Вот альтернатива, перед которой гр-н Адуев ставит своего племянника. Ведь

он хочет ему добра, он стремится вооружить его до зубов. Искусство, отвлекающее от дела, не является ли «врагом», перестраивающим сознание, углубляющим и усложняющим его в тот самый момент, когда сознание, по убеждению гр-на Адуева, должно быть простым и плоским, как червонец?

«Собрать все книги да сжечь!» Книга — враг, если только она не является техническим руководством к приобретению звонкой монеты. Таков окончательный вывод, к которому приводят нас рассуждения гр-на Адуева.

Впрочем, оговоримся. Сближение гончаровского буржуа с «фактовиками»-лефами не совсем справедливо... по отношению к первому. Так далеко в отрицании искусства, как это делают лефы, гр-н Адуев не заходил. Он еще умел совмещать Пушкина и наживу. Человеческое было вытеснено в нем индустриальным не до конца. «Делу время—потехе час» было его лозунгом. Благодушная натура эта, еще не вполне изжившая остатки патриархальности, не умела видеть в искусстве враждебное начало. И это потому, что она брала искусство не совсем всерьез. Утонченным удовольствием, культурной потехой представало искусство его незавершенному в своей классовой ограниченности сознанию. Искусство уже не было для него «сладким лимонадом», но это было еще шампанское, приятное и невредное в умеренных дозах.

Только усовершенствованный, законченный в своем типе, индустриализованный гр-н Адуев дошел до того, что понял, наконец: искусство есть яд. Именно к этому сводятся все рассуждения Лефа об искусстве.

Искусство, и в частности художественная литература, вообще говоря, мыслимо лишь в двух формах, из которых обе едва ли не в равной мере неприемлемы!

I. Литература (и искусство) стабилизации: она отмечены «печатью большой отобразительской успокоенности (классицизм), прославления разумно сущего задним числом (натурализм) и откровенного отрыва от конкретной злобы дня (монументальный реализм)».

II. Литература (и искусство) умирающая. Их характерные черты: «мистикомечтательные настроения, тревога, худо прикрываемая псевдо-героической бравадой, жажда забыться в изощренностях и всяческое бегство от реальности вообще (романтизм, модернизм, декаденство, психологизм и т. д.).

Этими двумя категориями, в сущности, исчерпывается все искусство и худ. литература. Правда, автор схемы, тов. Чужак, противопоставляет им третью категорию, сторонником которой Леф себя и объявляет. Это —

III. Литература (и искусство) становления. Они отмечены: «классово-заостренной установкой писателя; увязкой каждого произведения с непосредственными злобами дня; изобретением максимально ударяющей в цель революционной формы».

Но если прислушаемся к дальнейшим высказываниям и тов. Чужака и других авторов сборника, станет ясным, что искусство в собственном смысле слова целиком укладывается в первые две рубрики, а третья представляет собой нечто совершенно особенное, никакого отношения к искусству не имеющее, преследующее совершенно другие цели, почему и остается непонятным, как может оно его заменить. Из дальнейшего выясняется, что в рубрики отвергаемого попадают Толстой, Достоевский, Жуковский, Эд. По, Безыменский (а он отвергается не за то, что его искусство плохое, а за то, что оно все-таки претендует на то, чтобы быть искусством), М. Горький, Тургенев, Чехов, Бунин, Вербицкая, Надсон, Гаршин и т. д., разумеется, все попутчики и большая часть пролетарских писателей.

Одно это перечисление показывает, что речь идет не о разделении между произведениями удачными и плохими, между писателями гениальными и бездарными, между подлинными художниками и людьми, на искусстве спекулирующими. Речь идет о принципе. Все искусство, — плохое или хорошее, — целиком вредно. Оно либо стабилизирует жизнь в образах ложного правдоподобия, либо попросту лжет, давая читателю не познание жизни, а

мертвые продукты праздной выдумки. С этой точки зрения не так уж важно, удачно или неудачно проделана имитация жизни: «Ключи счастья» Вербицкой равноценны «Войне и Миру» Толстого, лирика Пушкина стоит стихов Безыменского. Два салоба пара!

Все это эстетика, художество, вещь вредная, — Александр Иванович Адуев обстоятельно разъяснил нам это. Вредно отвлечаться от дела, от жизнестроения, вредно все, что отрывает мысль и волю человека от буржуазного накопления. Вредно и опасно...

IV

Клевета! — раздается над нами громовой голос. — Я отвергаю искусство, эту праздную выдумку, не ради буржуазного накопления. На этом меня не поймаете. Я очень хорошо знаю, что у нас идет социалистическое накопление. Это ради него ополчаюсь я на искусство, как на классового врага. Я теперь очень даже левый. На мне демократическая толстовка, а не буржуазный сюртук. И я знаю, каким языком надо говорить с эпохой. У меня на каждой странице сказано: «буржуазный», «пролетарский», «революционный», «контрреволюционный», «упадочный», «восходящий». А ежели вам подозрительна моя левизна, то вот неудобно ли: «для меня сам Плеханов — только буржуазное охвостье».

И гр-н Адуев (куда девались бывалые его благодушие и солидность) сует нам в руки «Литературу факта», развернутую на стр. 12—13, где напечатано следующее:

«Строительство путем представленный (воображения тож) было уделом не одного поколения наших предков. Вся теория так называемого «художественного творчества», от Чернышевского до Бельтова-Плеханова, построена на этом несчастье».

«Так называемый реализм (так называемый потому, что был он в действительности идеализмом) — так называемый реализм был для них (для целого ряда поколений) определенно условным языком, который позволял им обходить противные рогадки их времени, а между тем, ведь вся наша

критика, не исключая и Плеханова, построена на этом языке, и никто еще до сих пор не вскрыл его условности».

Итак, гр-н Адуев, когда-то уделявший все же минуты досуга идеалистическому чтению Пушкина, теперь, обогнав Плеханова слева, начинает крыть самого основоположника марксистской критики фланговым огнем за идеализм. Признаемся, мы смущены. Таких маневренных возможностей от почтенного и солидного бизнесмена не ждали. Так-таки проглядели эту возможность. Попросту мы забыли, что он не отстал от века. Гр-н Адуев... индустриализировался. И даже сверхиндустриализировался: в сравнении с ним и Плеханов выглядит теперь таким захоластным старосветским помещиком, по-старинке любящим прочесть на сон грядущий стишок из Пушкина или страничку Толстого...

Но одно соображение выводит нас из того состояния прострации, в которое мы были повергнуты неожиданным ходом весьма деловито настроенного сверхиндустриального гр-на Адуева: почему же, столь решительный и «революционный», остановился он на полдороге?

Ведь, если память не изменяет нам, непрерываемые свидетельства говорят о том, что не только Чернышевский и Плеханов повинны в идеализме). Рядом с этими «лже»-материалистами, ныне окончательно разоблаченными перед нелюбимым судом Лефа, на одну скамью с ними должен быть посажен... Ленин. Ведь и он грешил большой и глубокой любовью к русской классической литературе, а о всех видах богдановщины и пролеткультовщины дерзал отзываться не весьма почтительно. Более того, в статьях своих о Толстом этот известный каждому рабочему и крестьянину СССР «идеалист» заявил, что в произведениях гениального писателя-помещика он видит зеркало (т. е. источник познания) русской революции.

Почему же «идеализм» Ленина остался неразоблаченным? Отчего т. Чужак, совершая свой «исторический пробег» по русской литературе «с 60-х, примерно, годов» до наших дней, обошел его примечательное обстоятель-

ство? Оно, конечно, с «пробега» какой спрос. «Пробег» есть пробег. Страна медленно, но верно индустриализируется. И Лефу некогда. Он тут же — «петушком, петушком». Семена коротенькими ножками, пыхтя, отдуваясь, не поспевая, стремится гр-н Адуев итти «с веком наравне». И даже, где возможно, забежать вперед. Все, что давит, тяжелит бег — с плеч долой. Легко ли гр-ну Адуеву поспеть за эпохой! Пушкина за борт современности. Искусство? Туда же. Что там еще? Чернышевский? Плеханов? Какой в них прок. Только мешаются, идеалисты старые. Кинуть их и дело с концом. Только факт нужен неспешающему за эпохой сверх-индустриалу. Только факт. Никаких Чернышевских, Плехановых и других «идеалистов».

Так совершает гр-н Адуев свой «исторический пробег» в царство социализма.

Не поспеете, уважаемый делегата! Забываете одно, почтеннейший. Продвижение к социализму идет не по гладкому пространству, не на ровной плоскости фактического. Действительность, которую нужно перестроить, чтобы социализм осуществить, — много сложнее. Эту сложность не преодолеть, разгрузившись от «идеализма» Чернышевского, Плеханова и Ленина (Ленина Леф обязательно должен включить в свой список устаревших идеалистов, — надо же быть последовательным!)

У

Разгрузившись от Чернышевского, Плеханова и Ленина, придешь не к социализму, а совсем в другое место. О нем красноречиво повествует С. Третьяков в статье «Продолжение следует», подытоживающей сборник:

«Коллективизация книжной работы кажется нам прогрессивным процессом. Мы представляем себе работу литературных артелей, где функции расчленены на сборание материала, литературную обработку его и проверку работы вещи». Материал поступает от «специалистов внелитературного труда» и от «фиксаторов». «Монтаж полученных материалов... это работа лите-

ратурных оформителей». «Научно-техническая концепция проверяется знаками».

«Проверка общественно-политического эффекта — ведь это та работа, которую сейчас в зачаточном виде выполняют наши Гублиты и Главлиты».

И самое главное: «Из скупщиков писательского самотека издательства должны превратиться в заказчиков, знающих, какие и какого качества книги им нужны. Сращенные с артелями, которые станут настоящим их рабочим аппаратом, эти издательства смогут планомерно выполнять задания социалистических пятилеток в области литературы».

Насчет социалистических пятилеток, — это явно для красного словца, гр-н Адуев! Вам ли хлопотать о «социалистических пятилетках». Ведь это «идеализм», о котором заботятся, по вашей же схеме, наши Гублиты и Главлиты. До социалистических ли пятилеток вам, озабоченному прежде всего основным фактом вашего, адуевского, бытия, фактом возможно полного, интимно-близкого срачивания с заказчиком, т. е. с издательством.

Когда-то гр-н Адуев сам был работодателем. Миновали прекрасные дни Аранжуэца. Заказчиком гр-ну Адуеву уже не бывать. И теперь все его помыслы — сраститься с теми, кто стал хозяином и сохраняет право заказа за собой.

И вот гр-н Адуев выдумывает новую теорию (надо же чем-нибудь выделить себя из толпы, иначе работы не получишь, ему ли не знать законов конкуренции). Он создает «литературу факта». Эта теория «приятна во всех отношениях»: во-первых, она может рассчитывать на временный успех, ибо индустриальна (если не «фактически», то в «представлении») и, следовательно, может похвалиться словесным совпадением с лозунгами нашей эпохи. Во-вторых, она позволяет гр-ну Адуеву растолкать локтями других работников по специальности, об'явив их интеллигентскими хлюпиками, подзрительными любителями подозна-

тельного, классовыми врагами. Обвинение, опять-таки, имеющее шансы на временный успех. Потом, правда, разберутся. Но гр-ну Адуеву и этого довольно: за это время он успеет «сраститься». А это и значит «осуществить социализм» в том виде, как его понимает деловой человек гр-н Адуев.

Оговоримся. Если буржуазный спец хочет сраститься с советским аппаратом в том смысле, чтобы быть ему полезным своими специальными знаниями, — в этом нет, разумеется, ничего плохого, кроме хорошего. Такого спеца можно только приветствовать. Такой спец заслуживает не только того, чтобы быть оплаченным, — он имеет право на общественное уважение. Его знания должны быть оценены по достоинству, личная и общественная порядочность поставлена в пример. Более того, такой спец должен быть признан законным участником борьбы за социализм. При подведении итогов этой борьбы заслуги его не могут быть позабыты. Рабочий класс и его авангард умеют ценить преданных делу специалистов.

Но ежели специалист этот не ограничивается своей деловой работой, а строит некую дельческую, адуевскую теорию, согласно которой весь смысл социалистической индустриализации заключается в том, чтобы превратить человека в придаток машин, ежели специалист этот требует зачеркнуть всю работу по перестройке внутреннего человека и свести социалистическое строительство к производству материальных ценностей, а об идеологии пусть заботятся Гублиты и Главлиты, ежели он хочет, чтобы пролетариаткнул за борт современности всю культуру, которая досталась ему в наследство, при чем по точному смыслу этого требования за борт летят не только Пушкин, но и Чернышевский, и Плеханов, и Ленин (хотя бы специалист наш, по вполне понятным причинам, этого не договаривал); ежели этот специалист требует рассматривать свою буржуазную, направленную к духовному обеднению пролетариата, к превращению его в говорящего раба теорию, как последнее достижение социалистической мысли, и на этом основании на-

стаивает на признании его, специалиста, идеологом культурной революции в стране, строящей социализм, — то может ли такой способ срастивания остаться без отпора?

VI

Леф, как литературная организация (безотносительно к характеру личностей, в ней участвующих) стоит на специфических позициях литературного специалиста. Леф имеет к этому данные. Его работы над литературной формой — над очерком, фельетоном и т. п. — любопытны и полезны. Мимо очерка того же С. Третьякова «Сквозь непротертые очки» не пройдем: серьезная (и честная именно в силу своей серьезности) работа над словом, которая в нем видна, не может не привлечь внимания. Есть нужные и острые замечания об отдельных промахах у современных беллетристов и достижениях у очеркистов в статьях П. Незнамова, В. Перцова, В. Шкловского и Н. Чужака. Нередко замечания эти, сделанные специалистом своего дела, бьют прямо в цель. Справедливо и общее требование, адресуемое «фактовиками» «беллетристам»: в обобщениях своих отрываться от наблюдения над действительностью, от познания конкретных фактов.

Эти и многие другие рассуждения авторов сборника таковы, что, выслушав их, художник, «взяв тотчас кисть», должен «исправиться».

Но соль-то всех рассуждений о факте у лефов, — не в этом. Чувствуя, что они в состоянии дать нужные указания в области приема, наши специалисты-фактовики этим не удовлетворяются. «Подбочась», начинают они рассуждать о смысле искусства, культурной революции и социалистического строительства, отлучают и благословляют, намекают, что не мешало бы кой-кого, переоцененного, разоблачить, как классового врага, а кой-кого похвалить за истинно социалистический дух и воздать ему должное, срастив... если не с социализмом, то хоть с Госиздатом, на худой конец. Словом, факт почтительно уступает место самой беззастенчивой саморекламе.

И вот что любопытно. Как только гр-н Адуев выходит за пределы специальности, как только пускается в свой «исторический пробег» к социализму, так даже элементарная грамотность, необходимая не только специалисту, покидает его. Ведь это действительно факт, что С. Третьяков пишет, напр., такие назидания:

«Не надо забывать, что идеалистическое искусство (по терминологии Лефа, мы знаем, всякое искусство — идеалистично. — Д. Г.) уходит корнями в феодализм, где правящей является фигура бездельно-барствующего привилегированного рантье (стр. 67). Не нужно говорить о том, что искусство существовало задолго до феодального общества, притом именно как явление эстетического («идеалистического», по терминологии Лефа) порядка, а отнюдь не как «литература факта». Все это можно узнать у Плеханова, впрочем, разумеется, лишь в том случае, если не считать этого «фео-

дального» мыслителя окончательно выброшенным за борт современности.

Но как вам нравится третьяковский рантье, заправляющий делами в феодальном обществе? Не кажется ли вам, что буржуазный образ мыслей гр-на Адуева вносит довольно существенную поправку в рассуждения о феодальном обществе... ну, скажем, Маркса? Впрочем, какое дело гр-ну Адуеву до этого закоренелого «идеалиста»?

Но у нас есть до него дело. Мы не теряем надежды, что он «нетерпеливо прервет» исторический пробег гр-на Адуева и, подозвав к себе старого проказника, потребует от него, чтобы впредь в диссертациях своих о природе искусства и социализма он «судил не свыше сапога».

Социализм от скромности гр-на Адуева ничего не потеряет.

А гр-н Адуев от нее выиграет немало.

Книжное обозрение

1. ИВ. СОКОЛОВ-МИКИТОВ «Повести и рассказы». Н. Замошкина. —
2. ИВАН ЕВДОКИМОВ «Заозерье», кн. 1 и 2. Ник. Богословского. —
3. ЛЕОНИД ГРАБАРЬ «Семейная хроника». Мих. Рудермана.—4. АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ «На мосту». Арк. Глаголева.—5. М. УШАКОВ «Борьба». Бориса Гроссмана.—6. БОРИС ЛАПИН «Повесть о стране Памир». Виктора Гольцева.—7. А. ПЕСТЮХИН «Тундра». И. Поступальского. —
8. ЛИНАРД ЛАЙЦЕН «Взывающие корпуса». Я. Фрида.—9. ЛЕОНИД ГРОС-СМАН «Достоевский на жизненном пути». И. Сергиевского.—10. И. М. КРАС-НОПЕРОВ «Записки разночинца». М. Клевенского.

Ив. Соколов-Микитов.—«Повести и рассказы». (Собр. соч. том II). Изд «Федерация». М. 1929. Стр. 322. Ц. 2 руб. Переплет 30 коп.

В произведениях Соколова-Микитова, написанных спокойно-выразительным, исключительно правильным и звучным языком, есть черты некоей запоздалости, архаизма. В чем эта запоздалость выражается?

Прежде всего в сугубом, нередко традиционно-литературном, внимании к безысходности деревенской жизни вообще. Мужики хитры, буйны, расточительны, безрассудны. Деревня сама себя пожирает. Иногда кажется, что писатель пишет о бытовых особенностях, присущих временам капиталистического разорения, а не советской деревни («Сын»). Рецидивы этого быта и попадают прежде всего в поле зрения Соколова-Микитова. Он необычайно скуп на слова и даже молчалив, но щедр на образы, питает отвращение к словесной жестикюляции, предпочитая быть бесстрастным и внешне спокойным при изображении беспокойных явлений жизни. Это художественное разноречие, вместе с тематической приверженностью к «первобытству», напоминает, — иногда до буквальности, — строгую манеру Бунина, верным последователем которого, вне всякого сомнения, Соколова-Микитова можно считать.

Когда девушка Тонька, подобно тургеневской Лукерье, умиротворенно и желанно встречает неизбежную гостью — смерть («Медовое сено»), — архаика как бы вновь начинает оживать и цвести. Но неужели эта жертвенная, аскетическая покорность характерна для современной деревни, пережившей так много именно в борьбе за все живое и земное, исключительно и принципиально земное? Или вот

гордящаяся своей нищетой и плебейством гимназистка Ава... Не принадлежит ли вся ее героиня к давно отошедшему, и разве не характерно, что Соколов-Микитов остановился именно на этого рода героизме, запоздалом даже для годов смежных с революционными («Ава»? Когда бывший барин Алмазов, пришедший в образе странника повидать свое пепелище, спокойно начинает сознавать себя «пылью» придорожной, то и здесь заметны явственные следы сдержанной и печальной покорности дворян тех далеких времен, когда вступали в их имения не крестьяне (как в замечательном рассказе «Пыль»), а Лопухины...

В повести «Чижикова лавра», очень однообразной, неудачной и непохожей на другие вещи писателя, мытарства одного маленького человека (изложенные в необычной для писателя форме полуисповеди) — «пацифиста» не по убеждению, а по всему складу своей природы — настолько «человечны», что вызывают жалость, смешанную с отвращением к судьбе этого «героя» не нашего времени. С точки зрения социальной, такой житейски-реальный тип похож на слепца, ошупью и тоскливо бредущего по взбаламученной дороге жизни («Мрак»). Вариаций этого типа, к счастью, нет в других произведениях Соколова-Микитова.

От психологического и социального пессимизма Соколова-Микитова, однако, не остается и следа, когда он, в классически простой и многоцветной манере живописует природу. Здесь писатель как бы переводит дыхание, здесь и «Мрак» начинает блистать и переливаться всеми цветами полноты. Изредка, впрочем, встречаются у него и черты общественного критицизма, — таков образ сельской «всем и всему чужой» колокольни и др.

Соколов-Микитов вполне равнодушен к «аналитике» поведения своих героев. Трагедия Авы, например, не показана им, как происходящая именно в ней, а заменена изображением объективных степеней обстоятельств. Он предпочитает характеризовать людей простым развертыванием действия, как такового, и тогда герои его превращаются в поразительно верные, как бы самостоятельно живущие тени событий.

Н. Замошкин.

Иван Евдокимов. — «Заозерье». Роман в шести частях. Книга первая. — «Гнездо». М.—Л. ЗИФ. Стр. 542. Ц. 3 р. 75 к.

Его же. — «Заозерье». Книга вторая. «Грозные облака». М.—Л. ЗИФ. Стр. 286. Ц. 2 р. 25 к.

Нередко приходится наблюдать, как критики и рецензенты с увлечением пересказывают содержание никуда негодных книг, горячо обсуждают правильность или неправильность общей установки того или иного автора, долго спорят между собой о «типах», выведенных в произведениях, не интересуясь вопросом, а можно ли вообще этого автора называть писателем, т. е. творцом литературных ценностей, и заслуживают ли его произведения той разъяснительной работы, какую им (критикам) приходится проделывать? Одни делают это от полноты души, другие из желания прослыть снисходительными. Некоторая снисходительность полезна и хороша по отношению к молодым авторам, не получившим еще литературной выучки, но вредна и совершенно неуместна по отношению к маститым обладателям «полных собраний». Чем была обусловлена возможность выхода собрания сочинений И. Евдокимова? Успехом «Колоколов»... Но роман был явно не отделан, рыхл и примитивен, подлежал жестокому уплотнению и тщательной обработке. Посредственная книга имела, как говорится, «отличную прессу». Никто не указывал Евдокимову на его бесчисленные промахи, большинство же критиков захваливало автора «Колоколов» без всяких оснований и

доказательств. Результаты сказались быстрее, чем можно было ожидать. Следующий роман Евдокимова («Чистые пруды») стоял уже вне литературы. Это была просто грубая попытка приспособиться к вкусам любителей занимательного чтения. В сравнении с «Чистыми прудами» даже «Заозерье» можно считать успехом на пути Ивана Евдокимова. Здесь, по крайней мере, чувствуется серьезность авторских намерений, широта неосуществимых для автора планов и замыслов... Евдокимов задался целью развернуть в романе панораму жизни русского севера, показать деревню и город в дореволюционное время и в наши дни¹⁾. Беда только в том, что автор не учел свои силы. Средства, с которыми приступил к выполнению этой грандиозной задачи последний из «могикан» «натурализма», оказались, — скажем прямо, — никуда негодными. Перед нами роман, а нечто совершенно бесформенное, разросшееся до немыслимых размеров и подавляющее своей тягучей однотонностью. Отсутствие движущей идеи, — вот что бросается прежде всего в глаза при чтении «Заозерья». Многие главы просто выпадают из романа, ничем не будучи связаны между собой. События и действующие лица накапливаются без всякого отбора, без всякой цели. Поэтому Евдокимов повторяется на каждом шагу. Поэтому неизменно варьируются одни и те же сюжетные мотивы (сколько здесь любовей и влюбленностей), мелькают одни и те же сцены попок и драк, одинаково будно и утомительно разглагольствуют по любому поводу все герои романа.

Евдокимов не только не изжил, но, наоборот, развил, усилил свои основные недостатки. Композиция романа из рук вон плоха. Бедности творческого вымысла, беспомощности фабульного искусства соответствует и скудость изобразительных средств. Порой Евдокимову нехватает живых слов для самого простого описания. Смотрите: «Весь кабак сорвался, заплясал, загалдел, завизжал». «Все вскочили, засуетились, заорали». «Все задвигалось,

¹⁾ Третий том «Заозерья», посвященный нашим дням, еще не вышел.

застучало, зазвенело, заворчалось». «...Все шевелилось, передвигалось, переступало, говорило, звенело, брнчало». «Все это слилось, смешалось, завертелось, закружилось, взболталось»... Цитаты, взятые почти наудачу, показывают исключительную неряшливость евдокимовского стиля. И, действительно, Евдокимову ничего не стоит сказать «рыбный бульон из разной рыбы! или: «колокола как серебряные и медные певчие переливались в нескончаемых переборах и переливах». Это называется переливать из пустого в порожнее...

Образы Евдокимова большей частью нелепы, вычурны и тяжеловесны, а иные из них вовсе не поддаются контролю нормального восприятия, напр.: «Лафтаков пленился Никанорихой, купался у нее в глазах и будто плавал в них, дрожа золотой бородой». Вот она, изысканность провинциального Уайльда! «Александр припомнил страдающие глаза Феофана, почти кричавшие от ужаса, убежавшие от него в стороны. Словно, если бы они могли свободно двигаться, они бы спрятались от него под диван (!), под кресло (!), забились в щель». Попробуйте представить себе глаза Феофана под диваном!

«Игумен Феофан не понравился Мише. Он отдал бы трехсвечник диакону высокому и красивому, с длинными и пушистыми, как у мамы, волосами, когда она расчесывает их на ночь, сидя в кровати, а он любит нырять в них руками и головой».

Напрасно Евдокимов истощает свою изобретательность в выискивании этих корявых нелепиц.

Я привел здесь так много цитат не только для того, чтобы обосновать упреки, брошенные автору, но и для того, чтобы ярче иллюстрировать манеру и приемы всей «евдокимовской школы».

Порочность этой манеры и прямолинейная грубость этих приемов особенно резко сказываются в описаниях страсти. Тут искусство Евдокимова не идет дальше постоянного поддержания «высокой температуры» (излюбленный прием «любовных» романистов).

Позевывая, мы читаем о звероподобных урядниках, «несворотимых» жан-дармах, вырождающихся помещиках, распутствующих монахах и т. д. Это заезжено и уже не доходит до читателя.

Немногого запоминается в романе — две-три жанровые картинки (особенно удачно описание ярмарки), смерть Степана... вот, пожалуй, и все, а прочитано около тысячи страниц.

Ник. Богословский.

Леонид Грабарь. — «Семейная хроника». Книга 1-я. «Прибой». 1929 г. Стр. 259. Цена 1 руб. 90 коп.

В современной беллетристике есть сюжетные схемы, кочующие от одного писателя к другому, обрастающие событиями, людьми, фактами, но редко оставляющие впечатление новизны. К числу таких схем с солидным стажем принадлежит «Семейная хроника» Грабаря — повествование о типичной интеллигентской семье Бобровых, расшеянной революцией. Показав одну из сестер Бобровых — Марианну, погибшую на фронте, автор переносит остальных героев в обстановку нэпа, развертывая достаточно трафаретную коллизию. Ответственные работники губернского города — Сергеев и Александр Бобров — «разлагаются» под косвенным влиянием Петра Боброва — нэпмана. События нарастают и разрешаются, как в провинциальных драмах на современные темы: Сергеев женится на дочери «частника» Ляльке, в городе поднимается переполох, и «ответственным» приходится переменить место работы.

Грабарю, увлечемому сомнительным драматизмом событий, не удалось дать подлинных людей. Вне своего служебного положения каждый из них невыразителен, бледен и мыслен только на фоне чисто административного «натюрморта»: трестовского кабинета, телефонной трубки, курьера и т. д. К тому же и Сергеев и Александр Бобров обезволены и обезличены тем, что по поводу каждого своего поступка советуются с руководителем местной партийной организации т. Сальником.

Наоборот, другая сюжетная линия «Семейной хроники», рисующая второстепенных героев, заслуживает внимания. Здесь хороши — Рабинович, трудом и упорством ставший талантливым инженером, и старик-правдоискатель Влас, организующий при заводе детские ясли. Его правдоискательство носит все черты здорового оптимизма, и если он уходит от жизни, то лишь исключительно благодаря склочнической атмосфере на заводе.

«И мне, глупому старику, не хочется умирать бродягой и прихлебателем. Просить за себя, ходить по генералам я не могу. Итти с сумою, снова за прежнее — не хочу. Пробовал жить по-человечески. Много не желаю. И ужоу я от вас, милые вы мои ребятки, потому, что и умереть хочу человеком».

Люди, подобные Власу, более убедительны, чем «ответственные» носители сюжетной интриги. Поэтому хроника перестает быть хроникой, становится сборником расплывчатых, неравноценных набросков, написанных бойким, но стилистически неряшливым языком. Неудобно, в самом деле, автору нескольких книг писать так:

«Из картонных, будтобных (?) домиков выглядывали седобородые старцы и качали головами... Многоэтажный Манхэттэн О. Генри за к и да л Сергеева перегаром бензина, угольной копоть и чужими людьми» и т. п.

Автор другой «Семейной хроники» поморщился бы от подобных ляпсусов. И читатель от них морщится.

Мих. Рудерман.

Александр Дроздов. — «На мосту». Роман. «ЗИФ». М.-Л. 1929 г. Стр. 240. Ц. 1 р. 80 к.

Предмет повествования Дроздова — середняцкая буржуазно-обывательская интеллигенция накануне революции и в первые дни ее.

Ничего художественно нового и интересного книга Дроздова читателю не дает, — общественное ее значение ничтожно.

Совершенно пустое место представляет для современного читателя, например, центральный персонаж романа, врач Борис Ильич Бадаев. Его любов-

ные злключения (неудачная любовь, отравление собственной жены, уход любовницы), тягучие сердечные переживания, душевная истерика, поданные в стиле давно отжившего свое время дореволюционного буржуазного «психологического» романа, навевают сейчас на читателя нестерпимую скуку. Несмотря на явную социальную ничтожность Бадаева, А. Дроздов усиленно занимается сим персонажем, делает его стержневым образом романа и, без всяких попыток на подачу Бадаева в плане какой-либо сатиры, подробнейшие «живописует» его нудные переживания.

Беспредельно нудны и все диалоги Бадаева и его любовницы Ксении.

Разумеется, автор «Маруси — золотые очи» не мог обойтись и в данной своей вещи без «опьянения запахом юбки», «покачивающихся бедер», «сладкой теплоты», «острых колен» и «обнаженных локтей» и т. п.

Некоторых из персонажей («революционеров» из кадетского лагеря — Безменникова, Дротика, Кирилла и др.) романист как-будто бы хочет противопоставить Бадаеву, однако, прогрессивные элементы их психоидеологии выявлены столь бледно и неясно, что у читателя нет никаких сколько-нибудь прочных оснований резко отделять их от Бадаева, к тому же, повторяем, не они, а именно последний является стержневым образом романа.

Арк. Глаголев.

М. Ушаков. — «Борьба». Роман. Изд. «ЗИФ». 1929 г. Стр. 290. Ц. 2 р. 25 к.

Трудно сказать новое слово о партизанах. Надо располагать, помимо фактических, большими художественными данными.

Их не обнаружил автор «Борьбы». Плохая публицистика, провинциальная газета, — вот что определяет стиль «Борьбы». Если не на каждой, то дважды и трижды на одной и той же странице вы встретите ярлыки: «золотопогонник», «белопогонник», «белоголовик», «бело-чех» или просто «белая сволочь». Возмущение убийством командира подается так: «Но предательский выстрел сделал свое дело» (стр. 182). Ис-

черпав все свои возможности для изображения ужасов, автор прибегает к разительным эпитетам: «смертельный», «дикий», «жуткий», «мучительный», «зверский», «жестокый» и — особенно — «страшный», «ужасный».

Большинство партизан — крестьяне. Естественно, что и речь их крестьянская. Не умея фиксировать последнюю, но желая приблизить воспроизведение к первоисточнику, М. Ушаков вульгаризирует ее. Партизаны (даже рабочие) обязательно говорят: «командер», «энтот», «беспременно», «в таком разе», «одним минтом», «прощай» «требуется» и т. п.

Сюжет «Борьбы» напоминает «Разгром» Фадеева. Есть сходство и в типаже (Николай Мурашев—Левинсон, Васька Косой—Морозка). Фабула усложнена бравой шпионкой Ольгой Прохоровой, — как позже выясняется, сестрой красного командира Леонида Терентьева. Ольга находится то среди белых, то среди красных, и, в результате, конечно, получает заслуженное возмездие: гибнет от гранаты.

Как ни мелодраматична Ольга, интрига получилась занимательная. В сущности, на этой интриге автор играет, но разработана она дешево.

Описания белогвардейского стана, пьянства, разврата чрезвычайно шаблонны. Светотени распределены безвкусно. Много неоправданных, надуманных, либо плохо мотивированных положений. Автор часто повторяется.

Нельзя сказать, что в романе нет ничего приемлемого. В нем встречается несколько характерных деталей, и — даже — волнующих страниц. Хорошо выписан иногда пейзаж.

Но общая бесстыльность романа убивает материал и поглощает хорошие места.

Борис Гроссман.

Борис Лапин. — «Повесть о стране Памир. От верховьев Пянджа к верховьям Инда». Изд. «Федерация». М. 1929. Стр. 187. Ц. 1 р. 40 к. в переплете.

За последние годы Памир привлекает своим своеобразием и дикостью не только путешественников, открывающих неисследованные области, но и беллетристов. Вслед за интересным ро-

маном С. Д. Мстиславского «Крыша мира», за очерками Н. В. Крыленко и других появилась «Повесть о стране Памир» Б. Лапина («Пограничника»).

Собственно говоря, повестью произведение Лапина можно назвать лишь условно. В основу книги положены впечатления, полученные автором во время его работы по переписи населения Горно-Бедакшанской области. Надо, однако, думать, что не все описанные приключения в полной мере соответствуют действительности. Повидимому, некоторые факты автор дополнил и расцветил литературной выдумкой.

Но так или иначе — произведение молодого писателя читается с большим интересом.

У Лапина читатель найдет сравнительно не так много «эффектных» описаний природы Памира, его снеговых вершин, грандиозных ледников и стремительных горных потоков. Лапин — не спортсмен, не турист в узком смысле этого слова. Его не очень прельщает альпинистская сторона путешествия.

Пейзаж нередко дается автором в сжатой и художественной форме, но все-таки он не имеет в книге самостоятельного значения и служит лишь необходимым фоном для описаний этнографического порядка.

Внимание Б. Лапина обращено в первую очередь на людей, на примитивный и своеобразный быт различных горных племен, населяющих «крышу мира». Его интересует, как живут эти племена, какими способами обрабатывают они землю, как пасут скот, какими путями ведут торговлю и т. д. Живым и образным языком повествует Лапин об устройстве семьи горцев, об архаических пережитках, о различных социальных прослойках, о политико-просветительной роли красноармейских постов. На ряду с этим он стремится находить следы древних народов, когда-то побывавших на Памире, улавливает отзвуки былых времен.

Но, разумеется, книга Лапина не может претендовать на роль серьезного и углубленного «исследования». Ни на чем определенном автор не останавливается подолгу пристального взгляда.

В композиционном отношении «Повесть о стране Памир», несмотря на ее несомненные достоинства, страдает некоторыми погрешностями. Приведенные автором «Рассказы, написанные комвзводом Золотухиным и гидрографом Н.», несколько нарушают стройность повествования. Напрасно также Б. Лапин поместил в самом конце «Историю одного Ивена». Этот вводный эпизод, отнюдь не лишенный интереса, имеет самостоятельное значение и не может служить заключительной главой всей книги.

Совершенно напрасно даны в виде приложения случайные сведения о таджикской поэзии. Читатель, незнакомый с нею, все равно ничего конкретного и определенного из этого очерка не почерпнет.

Виктор Гольцев.

А. Пестюхин. — «Тундра». Стихи. Изд. «Федерация». М. 1929. Стр. 104. Цена 1 р. 25 к. Папка 10 коп.

О доброй половине сборника необходимо писать только с осуждением. Многие вещи «Тундры» тематически наивны. Полной любви к слову у поэта покамест нет. Сплошь и рядом он довольствуется бледным, статическим рассказом. Неказисты его размеры и рифмы («а гармоника звенела и солдаты песни пели...»). Героический пафос у А. Пестюхина неглубок (охота, гибель кораблей, общепринятые мотивы революции...). Однако, появление у молодого поэта циклических замыслов, усваивание в последних стихах какой-то основной, родственной ему, литературной линии, намечающееся умение концентрировать внимание на определенном материале и наличие в сборнике ряда заголовочных строчек и нескольких целиком интересных стихотворений разрешает бесстрастно отметить и некоторые достоинства «Тундры».

И этот сборник наглядно доказывает законную живучесть акмеистической традиции, которая ощущается у А. Пестюхина преимущественно как влияние лирики Гумилева (стихи которого предваряют «Тундру» и эпиграфически) — вплоть до излишне откровенных повторений (Гумилев: «дома ждет его в большой постели сонная и теплая жена»;

А. Пестюхин: «спит в углу на меховой постели самоедская моя жена»). Традиция эта толково еще не осознана, поэтому А. Пестюхин способен свой восточный цикл (странно выглядящий в северной «Тундре»), называть «Ковром Узбекистана», злоупотреблять некогда «красивыми», словечками, а в отделе «Вино веков» писать о своей связи с пещерными предками и т. п. Но стих А. Пестюхина в этой, более отрадней, части сборника довольно культурен и естественно предметен:

Как прозрачный кровавый камень
Солнце падает в глубину,
Где расплавленными песками
Вечер слушает тишину.
.....
И разбитые караваны,
Утопающие в пыли.

(«Бархань»).

А. Пестюхину беглое изучение акмеизма дало покамест только это. В дальнейшем выяснится, насколько полезным оказалось для него обращение к поэтической дисциплине.

И. Поступальский.

Линард Лайцен. — «Взывающие корпуса». Перев. с латышского. Э. Я. Сильмана. Собр. соч. т. III. Изд. «Прибой». Л. 1929. Стр. 232. Ц. 1 р. 50 к. Тир. 3.000 экз.

«В одном месте крупными, бросающимися в глаза печатными буквами было написано: «Берегись Грендорфа из 38-ой!» Таким образом, оказалось, что безмолвная одиночка обладала способностью говорить. Она рассказывала, просвещала, поучала, выкрикивала лозунги... Весь корпус выкрикивал своими стенами лозунги и звал к борьбе». Зарисовки Л. Лайцена посвящены жизни рижских тюрем, набитых после 1905 г. политическими заключенными. Местечковый арестный дом, уездная тюрьма, губернская тюрьма, централ. Отделения для подследственных, одиночки, общие камеры, карцер. Участники революционных событий 1905 г., конюрады, воры, шпики. Взаимоотношения между политическими и уголовными. Столкновения между двумя группами политических — пролетарской и «фракцией усадьбовладельцев». Тюремный бунт, голодовка, не покидающая революционеров воля к борьбе...

Не отличаясь значительными художественными достоинствами, книга Лайцена является очень неплохим материалом очеркового характера, дающим представление о тюремном режиме политических заключенных в царской России. Невольно вспоминаешь все, что знаешь о тюремном режиме политзаключенных в фашистских странах Запада; это сопоставление может навести на мысль, что Лайцен сознательно льстит царским тюремщикам, — настолько с тех пор шагнули вперед техника и тактика культурных европейских книг палачей.

Книга снабжена вступительной статьей Р. Пельше, сообщающей необходимые сведения о Линарде Лайцене, с юных лет связанном с революционным движением. В настоящее время Лейцен состоит членом рабоче-крестьянской секции сейма Латвийской республики. «Взывающие корцуса» — одно из его последних произведений.

Я. Фрид.

Леонид Гроссман. — «Достоевский на жизненном пути». Вып. I. Молодость Достоевского. 1821—1850. Изд. «Никитинские Субботники». М. 1928. Стр. 225. Ц. 2 р. 25 к.

С точки зрения построения, конструкции, монтажа Гроссмана о Достоевском представляет собою довольно обычный образец этого, широко развернувшегося в наши дни жанра. В подборе компануемого материала автор честно следует традиционным приемам прагматической, описательной биографии, не подчиняя его никаким заранее устанавливаемым схемам, не ограничивая его рамками какой-либо определенной концепции жизни и творчества Достоевского и сосредоточивая свое внимание, главным образом, на его полноте и систематичности.

Эти две последние задачи выполнены автором безусловно успешно. Прекрасная осведомленность в литературе вопроса, естественно подбабочающая знатоку Достоевского, давно и успешно работающему над его изучением, учет забытых, малоизвестных журнальных и газетных сообщений, наконец, частичное использование материалов неопубликованных, вводимых здесь в науч-

ный обиход впервые, — все это делает книжку в достаточной степени серьезной и значительной. В особенности — наличие в ней до сей поры неизвестных архивных документов: эпистолярных, мемуарных, официально-юридических и т. д. Здесь монтаж уже перерастает те популяризационные тенденции, которые присущи этому жанру по самой сути его, и становится явлением, заслуживающим внимания в плане научно-исследовательском.

Возражать, таким образом, придется лишь по поводу некоторых частностей и мелочей, в значительной мере второстепенных и мало существенных. Следовало бы, пожалуй, некоторыми источниками пользоваться с большей критической осторожностью, если и не отказываясь от них вполне, то хотя бы как-то оговаривая их спорность. Воспоминания дочери писателя, например, выпущенные ею в 1921 г. в Германии, являются материалом во всех отношениях дефектным и подзрительным. Гроссман, пользуясь ими довольно широко, оговаривает их сомнительность только однажды, указывая на «чрезмерно подчеркнутую тенденцию» мемуаристики в вопросе о нерусском происхождении Достоевского. Можно было бы указать и кое-какие другие примеры.

Затем — использование литературно-публицистических писаний самого Достоевского в качестве автобиографических свидетельств: «Петербургские сновидения в стихах и прозе», недавно разысканная «Петербургская летопись». Не стоит повторять здесь в сотый раз азбучных истин о той деформации, которую претерпевает реальный житейский материал, становясь элементом литературной конструкции. Скажем только, что даже в «Дневнике писателя», также в досталь поэкоплатированном автором, вполне очевидна эта установка на литературность, на определенный писательский жанр.

Наконец, — не всегда точно обозначение того или иного свидетельства. Ссылка на такой-то номер «Вечерней Москвы» за такой-то год вряд ли может быть признана достаточной, вдобавок в таком социологически существенном моменте как материальный быт семьи

Достоевских. Пример опять-таки не единственный.

Исключительно важное значение имеет хронологическая канва, данная в конце книжки, первый набросок еще не написанных, но, конечно, стоящих на очереди «трудов и дней» Достоевского. Краткий список использованных работ дает первоначальную ориентировку в мемуарной литературе о писателе, в частности—о его молодых годах. В общем остается только желать скорейшего продолжения этого удачно и интересно начатого труда. В особенности—при условии устранения отмеченных выше мелких недочетов и погрешностей.

И. Сергиевский.

И. М. Красноперов. — «Записки разночинца». Предисловие Б. П. Козьмина. Изд. «Молодая Гвардия». 1929. Стр. 149. Тир. 3.000 экз. Ц. 1 р. 25 к.

Воспоминания И. М. Красноперова были первоначально напечатаны в разных журналах («Мир божий», «Минувшие Годы», «Вестник Европы»). Автор их, неизвестный провинциальный статистик, в 1863 г., студент Казанского университета, был арестован, привлечен по делу так наз. «казанского заговора» и просидел больше 4 лет в тюрьмах.

«Казанский заговор», как известно, представлял попытку вызвать крестьянский бунт в Казанской губ. с целью отвлечь часть правительственных сил от подавления польского восстания. По этому делу было расстреляно 5 поляков, и довольно много молодежи, преимущественно казанских студентов, членов местного революционного кружка, поплатились тюрьмой. Воспоминания свои Красноперов доводит до момента освобождения из тюрьмы в августе 1867 г. Собственно о «заговоре», т. е. о деятельности казанского революционного кружка и о сношениях его с поляками, автор сообщает отно-

сительно мало. О многом Красноперов умалчивает, кое-что передает неточно, определено проявляя тенденцию по возможности умалить все казанское дело и, в частности, свою роль в нем.

Однако, вводная статья Б. Козьмина и прекрасно составленные примечания дают возможность читателю составить себе ясное представление о всем том, чего автор не договаривает, или что он представляет в несомненно верном свете. Очень ценный корректив к тому, что рассказывает Красноперов, представляют некоторые его собственные показания следственной комиссии, помещенные в примечаниях. Главный интерес воспоминаний Красноперова заключается не в рассказе его о казанском революционном кружке, а в описании жизненных условий «разночинца» 60-х гг., выходящая из низов, пробивавшегося кверху. В том, как проходила юность Красноперова, очень много типичного для его общественной группы и для той эпохи, когда «разночинцы» усиленно и бурно стали выходить на общественную арену. Красноперов учился в Вятской духовной семинарии тогда, когда и до этого глухого угла дошли новые веяния, когда захолустные, достаточно дикие, бурсаки стали жадно хвататься за книгу, за последний номер журнала, с благоговением произносить имена Чернышевского и Добролюбова, стремиться в университет, к общественной деятельности.

Мемуары пожилого уже Красноперова насковзь проникнуты восторженной благодарностью к эпохе 60-х гг. с ее общественным подъемом. Последние главы посвящены тюремным мытарствам Красноперова. В приложениях к книге помещены два документа: прокламация к крестьянам, которую распространял в 1862 г. казанский кружок, и подложный манифест 1863 г., шедший от поляков.

М. Клевенский.

М А Й

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, СТИХИ:

М. ПРИШВИН. — Журавлиная родина, повесть (продолжение). Н. АСЕЕВ. — Необычайное, стихотв. АЛЕКСЕЙ ПЛАТОНОВ. — Макар, карающая рука, рассказ. В. СОЛОВЬЕВ. — Революция, стихотв. Г. ОБОДЗУЕВ. — Стихотворение. Г. ШТОРМ. — Повесть о Болотникове (продолжение). В. ГУСЕВ. — Выдающийся город, стихотв. Н. НИКАНДРОВ. — Руда, рассказ. М. РУДЕРМАН. — Рынок, стихотв. Р. БЕРШАДСКИЙ. — Струя, стихотв.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ:

ЛЮДИ И ФАКТЫ, Д. КРЕПТЮКОВ. — Из книги «Степные восходы», очерк. А. АГРАНОВСКИЙ. — Хутора безыменные, очерк. Н. ШКЛЯР. — Телеграмма, очерк. ЗА РУБЕЖОМ. Э. Э. КИШ. — За кулисами статуи Свободы, письма из Америки (продолжение). С. ГАЛЬШЕРИН. — По всему свету (международный обзор). ИЗ ПРОШЛОГО. — Незаданные письма М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА к Н. А. НЕКРАСОВУ (с предисл. и примеч. В. Евгеньева-Максимова). ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. — Очерки современной литературы. Преодоление «Зависти». Л. ГРОССМАН. — Исторический фон «Выстрела». А. ЛЕЖНЕВ. — Критика «криляков» (статья вторая). Л. БЕРЕЗИН. — О стихах М. Зенкевича. С. ПАНТРЕЙТЕР. — Не затягивайтесь, из цикла «Халтуроведение».

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

И Ю Н Ь

Н. ОГНЕВ. — «Фабзаяц и смерть», рассказ. МИХ. ПРИШВИН. — «Журавлиная родина», повесть, (продолжение). ГЕОРГИЙ ШТОРМ. — «Повесть смутного времени о Ивашке Болотникове», окончание. А. ДОЛГИХ. — «Неукротимость», рассказ. ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ. — «Яблоневый цвет», рассказ. СТИХИ: ВЛ. ЛУТОВСКОГО, НИК. БЕРЕНДГОФА, Я. ШВЕДОВА, МИХ. ГОЛОДНОГО, ВЛ. КИРИЛЛОВА.

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ:

Проф. Г. Я. ГУРЕВИЧ. — «Об отравленных органах». МИХ. НИКИТИН. — «Ханьчар-река». ЛЕВ АЛПАТОВ. — «Нефть». БОРИС АНИБАЛ. — «На отдыхе». OUTSIDER. — «Итоги «разоружения». ЭГОН ЭРВИН КИШ. — «За кулисами статуи Свободы» (письма из Америки). Г. САНДОМИРСКИЙ. — «Экзотический фашизм». А. ЛЕЖНЕВ. — «Молодежь о молодежи». Н. ЗАМОШКИН. — «Личное и безличное». АРК. ГЛАГОЛЕВ. — «Пост-стеклянный» (Е. Е. Нечаев). М. ЗЕНКЕВИЧ. — «Обзор стихов». Ф. РОГИНСКАЯ. — «Тяни будней». П. МАРКОВ. — «Из литературы о театре».

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:	12 мес.	9 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.	ЦЕНА ОТДЕЛЬН. КНИГ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ
	10 р.	8 р.	5 р. 50 к.	3 р.	1 р. 10 к.	

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.

1) Главной К-рой „Известий ЦИК“, Страстная пл.; 2) всеми отделениями и под-отделен. Главной К-ры „Известий ЦИК“ на местах, 3) всеми почтов. контор. и письмомосцами и 4) контраг. по распротр. период. печати.

НОВАЯ КНИГА

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛА В КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ

Вяч. ПОЛОНСКИЙ

ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕСТВО

СБОРНИК СТАТЕЙ.

1. О теории социального заказа. 2. Художественное творчество и общественные классы. 3. На путях к марксистскому литературоведению. 4. Лев Толстой и марксистская критика. 5—7. К теории прототипа. Бакунина и Достоевский. 8. Ставрогин и роман „Бесы“. 9. К вопросу об интеллигенции. 10—14. Из заметок об эмигрантской литературе.

Изд. „ФЕДЕРАЦИЯ“. М. 1929 г. Стр. 402.

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

„О СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ“

критические статьи. С портр. работы Нат. Альтмана. Издание ВТОРОЕ, дополненное. Госуд. Издательство. 1929.

Стр. 270.

Ц. 2 руб.

„ОЧЕРКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ“.

издание ВТОРОЕ, исправл. и дополненное. Госуд. Издательство. 1929 г.

Стр. 340.

Ц. 3 руб.

Цена 1 р. 40 к.

Изд-во „ИЗВЕСТИЯ ЦИК СССР и ВЦИК“
МОСКВА 37, Страстная площадь, проезд имени И. И. Скворцова-Степанова

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА АВГУСТ МЕСЯЦ И ДО КОНЦА 1929 г.

7-й год
издания

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

7-й год
издания

КРАСНАЯ НИВА

под редакцией А. В. ЛУНАЧАРСКОГО и Вяч. ПОЛОНСКОГО.

КРАСНАЯ НИВА освещает в художественном слове, статьях, очерках и иллюстрациях рост и развитие социалистического строительства СССР, успехи индустриализации и коллективизации сельского хозяйства, пути культурной революции.

КРАСНАЯ НИВА освещает революционную борьбу мирового пролетариата, знакомит с важнейшими явлениями во всех областях мировой культуры.

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ читатель найдет отображение всей текущей жизни искусства как советского, так и европейского.

В отделе критики литературы, театра и кино—наиболее крупные явления советского и европейского театра и литературы.

Каждый номер «Красной Нивы» дает фотообраз мировых событий.

МНОГОКРАСОЧНЫЕ ОБЛОЖКИ журнала «КРАСНАЯ НИВА» воспроизводят рисунки лучших современных советских и европейских художников.

Объем журнала установлен в 28 страниц большого журнального формата: 24 страницы текста и иллюстраций и 4 страницы обложки в красках.

Все подписчики газеты „Известия ЦИК“ могут получать журнал „Красная Нива“ (без обложки) в качестве приложения к газете по **Льготной** цене, т. е. вместо 60 к. только за **40** к. в месяц.

Условия подписки на 1929 г. на журнал „КРАСНАЯ НИВА“:

12 мес.	9 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.
6 р. 75 к.	5 р. 10 к.	3 р. 40 к.	1 р. 75 к.	60 к.

Условия подписки на „КРАСНУЮ НИВУ“ для подписчиков газеты „Известия ЦИК“:

12 мес.	9 мес.	6 мес.	3 мес.	1 мес.
4 р. 80 к.	3 р. 60 к.	2 р. 40 к.	1 р. 20 к.	40 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 1) Гл. Конторой „Известий ЦИК“, 2) всеми отделениями, подотделениями и штабными представительствами Главной К-ры „Известий ЦИК“ на местах; 3) всеми почтовыми конторами и письмоносцами и 4) контрагентами по распространению периодической печати.